РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

А.В. Кравченко (Иркутск). Естественнонаучные аспекты семиозиса 3
Т.А. Майсак (Москва). Грамматикализация глаголов движения: опыт типологии 10
Ю.Н. Панова (Видное, Моск. обл.). Форма будущего категорического времени в современном персидском языке: значение и сфера употребления..... 33
А.Н. Баранов, С.И. Юшманова (Москва). Отрицание в идиомах: семантико-синтаксические ограничения..... 46
Л.М. Савосина (Москва). Трансформационная парадигма предложения и ее соотнесенность с актуализационной парадигмой..... 66
С.В. Князев (Москва). К вопросу о механизме возникновения аканья в русском языке..... 75
Г.М. Богомазов (Москва). Сосуществование двух фонологических систем в языке ребенка..... 102
А.М. Кузнецов (Даугавпилс, Латвия). Глаголица: между греческим и латинским 111
Г.П. Нещименко (Москва). Несколько мыслей по поводу новых грамматик чешского языка..... 121
Н.Р. Добрушина (Москва). Исследования средств выражения обратной связи в американской лингвистике 135

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А.В. Барандеев (Москва). Терминоведческая проблематика в трудах Э.М. Мурзаева (1908–1998)..... 141

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

И.Г. Добродомов (Москва). *Е.С. Отин.* Избранные работы..... 147
М.В. Раевский (Москва). *L.N. Zybatow.* Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka..... 150
Н.С. Бабенко (Москва). *D. Dobrovol'skij.* Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung.....

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), *М.М. Маковский* (отв. секретарь), *А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (зам. главного редактора), *Ю.В. Откупщиков, В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев* (главный редактор), *А.М. Щербак*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 2000 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. А.В. КРАВЧЕНКО

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМИОЗИСА

Естественный человеческий язык является знаковой системой, при этом знаковость как совокупность определенных свойств материального (форма) и идеального (содержание) характера присуща не только слову как типичному представителю языковых знаков, но и единицам более высокого уровня, или полным языковым знакам, иерархической вершиной которых являются высказывание и текст. Одним из принципиальных положений структурализма является постулат о зависимости значения языковой формы от системы языка как таковой: "*В языке нет ничего, кроме различий.* ...В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу" [Соссюр 1977: 152 и сл.]. Однако сколько бы лингвисты ни пытались постичь суть этой системы, их усилия не принесут нужных результатов до тех пор, пока внешний мир и знание о нем – для отображения и репрезентации последних, собственно говоря, и служат различные знаковые системы – будут исключаться из предмета лингвистики и лингвистической семиотики. Ведь любой знак сам по себе является объектом реального мира, и его изучение невозможно в отрыве от той среды, в которой он существует.

Особым видом знака является знак языковой – материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности [ЛЭС 1990: 167]. Следует сказать, что не все разделяют эту точку зрения. Так, в работах представителя философского позитивизма Р. Карнапа, оказавших заметное влияние на лингвистические знаковые теории, знак рассматривается как односторонняя сущность, поскольку значение языковой формы исключается из научного анализа как препятствующее процессу формализации и математизации синтаксиса естественного языка. Здесь можно заметить, что даже самая успешная формализация и математизация языка (в возможность которых, впрочем, сегодня мало кто верит) вряд ли может способствовать пониманию его природы, так как знак без значения, вложенного в него интерпретатором, перестает быть знаком.

В.З. Панфилов считал знак не двусторонней, а односторонней единицей, аргументируя это следующим образом: "Идеальная сторона билатеральных языковых единиц, имея ту же онтологическую природу, что и содержание абстрактного, обобщенного мышления, формируется в связи с отражением объективной действительности, является образом (в гносеологическом смысле). ...Идеальная сторона языковой единицы, будучи образом тех предметов объективной действительности, с которыми она соотносится, в отличие от ее материальной стороны не является произвольной и, следовательно, знаковой по своей природе. Этой природой обладает лишь материальная сторона языковой единицы, ввиду чего языковым знаком следует считать не языковую единицу в целом, а лишь ее материальную сторону, т.е. языковой знак представляет собой не двустороннюю, а одностороннюю сущность" [Панфилов 1983: 79 и сл.]. Как видим, эта аргументация основана опять-таки на той предпосылке, что языковой знак по своей природе произволен – что, в общем и целом, в лингвистической семиотике убедительно никем доказано не было. Более того, тезис о непроизвольном характере

идеальной стороны знака как образа некоторого реально существующего объекта представляется малоубедительным.

Термин "образ" в том виде, как его употребляет В.З. Панфилов, предполагает, как минимум, три возможных интерпретации: 1) образ в смысле "икона" как тип знака, обнаруживающего сходство со своим объектом (ср. значение слова *образ* в русской христианской культуре), 2) образ в смысле "внутренний (в отличие от внешнего) эмпирический объект", или п е р ц е п ц и я, т.е. образ, возникающий в воображении человека, 3) образ как абстрактное содержание (= концепт), понимание которого является необходимым условием адекватного употребления языкового знака; поскольку концепты обеспечивают отождествление и различение объектов, их можно рассматривать как "целостные совокупности свойств объекта" [ЛСД 1994: 91] в виде определенных информационных структур (иногда в этом значении употребляется термин "гештальт"). Очевидно, "образ в гносеологическом смысле" надо понимать как некую структуру представления знания, отражающую содержание опыта, т.е. как концепт – но тогда необходимо учитывать ряд важных факторов, связанных с сущностными характеристиками концептов.

Во-первых, не каждый образ, вызываемый в сознании воспринятым знаком, является отображением чего-то, реально существующего в действительности – напомним широко обсуждавшиеся (и потому хорошо известные) примеры таких языковых единиц, как *кентавр, единорог, русалка* и т.п. Во-вторых, как совершенно справедливо указывает Б.М. Гаспаров [Гаспаров 1996: 284], "образ, вызываемый тем или иным выражением в представлении того или иного говорящего субъекта, отражает индивидуальный жизненный опыт и уникальные перцептивные способности именно этой личности и никогда не бывает тождественен тому образу, который это же выражение вызовет в сознании любого другого говорящего субъекта", т.е. образ с у б ъ е к т и в е н по своей природе. В-третьих, противопоставление произвольности материальной стороны знака непроизвольности его идеальной стороны строится на допущении, что тело знака (знаконоситель) в той форме, в которой оно существует в данном конкретном языке, есть результат волюнтивного акта со стороны пользователей языка, тогда как структура образа (концепта) не является результатом какого-либо соглашения (конвенции). О логическом противоречии, заключенном в соссюровском постулате о конвенциональной природе языка, нужно говорить отдельно, но даже если принять (с большим допущением) этот постулат как отражающий социальный аспект языка, то тогда точно так же его следует распространить и на концепт, поскольку концепты способствуют "обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные в ы р а б о т а н н ы е о б щ е с т в о м (разрядка моя. – *А.К.*) категории и классы" [КСКТ 1996: 90]. В обоих случаях, т.е. когда речь идет о роли о б щ е с т в а в формировании материальной либо идеальной стороны языкового знака, эта роль гипостазируется в нечто вневременное и внепространственное (в духе Платона), хотя на самом деле эта роль заключается в том, что общество выступает всего лишь с р е д о й, в которой живет и функционирует язык. В противоположность соссюровской характеристике языка как социального продукта, совокупности необходимых условностей, принятых коллективом, следует признать справедливым замечание Р. Барта о том, что "язык – это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства, это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей... социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора" [Барт 1983: 309]. В этом смысле роль общества в семиозисе носит такой же характер, как роль природных условий, скажем, в формировании и развитии системы водоемов в какой-то географической местности: с одной стороны, нельзя отрицать влияния этих условий на общее количество и характер рек, озер, болот и т.п.; с другой стороны, это влияние не определяется наличием какого-либо замысла (интенции) с чьей бы то ни было стороны, а формирование и функционирование водных элементов среды не определяется каким-либо планом. Это, однако, не мешает тому, чтобы водоемы использовались человеком

для удовлетворения различных потребностей – в той мере, в какой они оказываются для этого пригодными.

Обычно, когда говорят о материальной стороне языковых знаков, вопрос о виде материи, его образующей, не является предметом специального рассмотрения: действительно, всем известно, что слова состоят из звуков (колебательных движений воздуха или другой среды), которые могут быть графически (т.е. зрительно) репрезентированы в виде письма. Но почему материей, из которой "слеплен" естественный язык, должны быть звуки (точнее, звуковые цепочки, или синтагмы), а не какие-то другие материальные сущности? Свыше 80% информации в мозг человека поступает через зрительные анализаторы, а поскольку язык является средством хранения и передачи информации, естественно было бы ожидать, что в роли языковых знаконосителей должны выступать зрительно воспринимаемые сущности. Это естественное ожидание приводит, в частности, к тому, что – и здесь с Соссюром нельзя не согласиться – "изображению звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому этому знаку. Это все равно, как если бы утверждали, будто для ознакомления с человеком полезнее увидеть его фотографию, нежели его лицо" [Соссюр 1977: 63]. Соссюр призывал не забывать, что язык и письмо представляют собой две различные системы знаков, из которых вторая существует лишь для того, чтобы служить для изображения первой (хотя, конечно же, это не совсем так – но об этом чуть позже), поэтому предметом лингвистики должно быть не слово звучащее и слово графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово. Таким образом, рассматривая материальную сторону языкового знака, мы должны ответить, как минимум, на два вопроса: 1) Почему естественный человеческий язык является звуковым, т.е. случайность это или определенная закономерность? и 2) Какое место в семиозисе занимает графическая репрезентация звуковых знаков, или письмо – в частности, в аспекте информационно-репрезентативной функции языковых знаков?

На первый вопрос можно попытаться ответить, если отвлечься от идеи "конвенциональности" языка и рассматривать его как особую среду, являющуюся, в свою очередь, частью естественной среды, в которой протекает жизнедеятельность человека. Учитывая, что звук является практически универсальным средством общения также и в животном мире, следует предположить наличие объективных предпосылок к тому, чтобы звуковая материя служила универсальным строительным материалом для языковых знаконосителей. Очевидно, что сущность, выступающая в (конвенциональной) знаковой функции, должна обладать следующими прагматическими характеристиками: легкодоступность, стабильность (или легковоспроизводимость), мобильность, компактность. Остановимся на них подробнее.

Легкодоступность и стабильность. На первый взгляд, эти требования могут в равной мере распространяться как на натурфакты, так и на артефакты, выступающие в знаковой функции. Действительно, если некоторый тип натурфакта является постоянным элементом среды, окружающей пользователя знаков, т.е. он всегда под рукой, почему не использовать его как знак? Например, такую функцию могли бы выполнять мелкие камни особой формы или цвета, морские раковины, перья птиц и т.п. – и в некоторых культурах натурфакты такого рода на деле используются как неязыковые знаки, но их потенциальные знаковые возможности все равно крайне ограничены по ряду причин, а потому они не могут выполнять функцию языковых знаков.

Одной из таких причин является то, что для выполнения знаковой функции материальная сущность должна быть включена в общий опыт интерпретаторов, в котором внешняя форма этой сущности (тело знака, или знаконоситель) должна сохранять стабильность (неизменность), благодаря которой обеспечивается ее "узнавание" и, соответственно, адекватная интерпретация. Это значит, что если какой-то натурфакт наделяется значением и начинает выступать в знаковой функции, он с необходимостью должен являться всем возможным пользователям в более или менее неиз-

менном виде, т.е. каждый э к з е м п л я р такого знака должен быть тождественен любому другому экземпляру этого же знака. Следовательно, для того, чтобы какой-то натурфакт смог выступать в функции (языкового) знака, должно существовать практически неограниченное количество его экземпляров. Вместе с тем, случаи, когда два (не говоря уже о большем количестве) однотипных натурфакта хотя бы на первый взгляд обнаруживают тождественность друг другу, в природе крайне редки.

Понятие "легкодоступности" включает в себя не только идею "подручности", но и идею "чувственной данности", т.е. сущность, выступающая в знаковой функции, должна быть а) в наличии, б) доступной нормальному (в смысле "не связанному с проблемой идентификации") восприятию. Другими словами, реакция на раздражитель (знак) не должна быть затруднена, т.е. знак должен быть ч у в с т в е н н о я в н ы м. (Отметим попутно, что на эмпирическом уровне понятие "наличия" напрямую связано с чувственной явленностью: то, что воспринимается, – есть, и наоборот, того, что не воспринимается, – нет.)

Другая причина невозможности использования натурфактов в функции языковых знаков проистекает из того обстоятельства, что язык, будучи средством приспособления человека к окружающей среде (частью которой язык одновременно является как продукт такой приспособительской деятельности), не может быть чем-то чисто внешним по отношению к приспосабливающемуся организму, он должен быть о н т о л о г и ч е с к и с ним связан, чего о подавляющем большинстве натурфактов сказать нельзя. Это условие онтологической связи накладывает ограничение и на возможность использования в знаковой (языковой) функции артефактов, которые могут удовлетворять как условию легкодоступности, так и условию стабильности.

М о б и л ь н о с т ь. Это условие (т.е. способность знака беспрепятственно, или почти беспрепятственно, перемещаться в пространстве-времени) является важным фактором, определяющим возможность для материальной сущности выступать в роли знаконосителя. Объясняется это тем, что а) человек (пользователь языковых знаков) ведет активный образ жизни, постоянно перемещаясь в пространстве-времени, б) передача информации (а именно этой цели служат языковые знаки), как правило, связана с преодолением определенных пространственно-временных пределов, разделяющих отправителя и получателя. Таким образом, мобильность как свойство знаковой сущности подразумевает двоякую способность: перемещаться и быть перемещаемой в пространстве-времени. В свою очередь, эта способность напрямую связана с тем, насколько знаконоситель отвечает требованию компактности.

К о м п а к т н о с т ь. Материальная сущность тем мобильнее, чем она компактнее. Это общее свойство объектов действительности, наблюдаемое в природе, однако не следует понимать абсолютно, применительно к знакам оно должно трактоваться как ограничительная зависимость. Ограничения на эту зависимость накладываются факторами прагматического характера: уменьшение физических размеров знаконосителя (как по параметру пространственных измерений, так и по временному параметру) сверх определенных пределов ведет к нарушению условия легкодоступности, и может получиться так, что физические характеристики предполагаемого знаконосителя окажутся за сенсорным порогом чувственных анализаторов, ответственных за восприятие знака. Таким образом, критерием компактности выступает опять же прагматический фактор.

Роль прагматических факторов в семиозисе отнюдь не случайна или второстепенна, как это может показаться на первый взгляд. Рассмотренные нами условия, которым должен удовлетворять языковой знак (точнее, знаконоситель), находятся в тесной взаимосвязи (когда то или иное условие является причиной либо следствием другого) и отражают практический аспект языковой деятельности человека как процесса непрерывного оперирования знаковыми сущностями. В ходе такой деятельности человек все время оказывается перед необходимостью решать двуединую задачу объективации опыта посредством языковых знаков и категоризации опыта самих этих знаков, являющихся "важнейшим и неотъемлемым компонентом жизненного опыта, в

котором протекает существование говорящего субъекта" [Гаспаров 1996: 241]. Будучи одновременно средством и продуктом целенаправленной деятельности, языковые знаки прагматичны по своей онтологии, что, в общем и целом, блестяще показал в своих трудах Ч.С. Пирс.

Итак, что же должен представлять собой знаконоситель, чтобы отвечать необходимым прагматическим условиям, обеспечивающим успешное функционирование языкового знака? Во-первых, он всегда, независимо от меняющихся условий внешней среды, должен быть "под рукой" у пользователя; во-вторых, он должен иметь онтологическую общность с организмом, целям приспособления которого к среде служит языковой знак; в-третьих, его основные сущностные характеристики не должны зависеть от индивидуальных биологических (морфологических) особенностей организма; в-четвертых, должна существовать возможность оперирования практически бесконечным числом экземпляров каждого отдельного знака, а это значит, что важнейшим свойством знаконосителя должна быть его воспроизводимость в любом месте и в любой момент; в-пятых, знаконоситель должен иметь сложную структуру, формируемую сочетанием конечного относительно небольшого набора составных элементов, так как "дурное" дублирование мира в знаках, обладающих названными характеристиками, просто невозможно. Все это подводит к мысли, что идеальным (т.е. отвечающим всем перечисленным условиям) телом знака должно быть материальное образование, являющееся продуктом функционирования организма в естественных условиях. Таким продуктом может быть лишь структура, состоящая из членораздельных звуков – а это значит, что, во-первых, характер материальной субстанции, легшей в основу естественного языка, не случаен, а во-вторых, эта материальная субстанция накладывает ограничения на разрешающие способности знаковой системы, используемой в качестве языка.

Одним из наиболее явных ограничений, которые звуковая субстанция накладывает на разрешающую способность естественного языка, является ограниченное время существования звукового знака. С одной стороны, волновая природа звуковых колебаний (и, соответственно, одновекторная направленность их воздействия на орган слуха воспринимающего знак человека) обусловливает их преходящий характер, с другой стороны, источник этих колебаний (в нашем случае – голосовые связки человека) не может служить этаким "вечным двигателем": человек может устать от долгого говорения, охрипнуть, осипнуть, вообще потерять голос; наконец, он может просто умереть – и вместе с ним умрет знание (т.е. не будет сознания), которым он располагал, но которое некому теперь представить в форме звуковых знаков языка.

Другим ограничением – хотя не столь явного характера – является порог чувствительности органов слуха человека. В частности, существенную роль при пользовании звуковыми знаками играет расстояние между отправителем и получателем информации: для того, чтобы обмен информацией проходил успешно, участники этого процесса должны находиться на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга. Именно этот фактор послужил на определенных этапах развития человеческого общества стимулом к созданию искусственных знаковых систем, основанных на зрительном восприятии знаконосителей (например, различные виды семафоров). Но как только естественная (биоантропогенная) звуковая субстанция как материальное тело знака приносится в жертву узкопрагматическим целям и заменяется субстанцией иного рода, знак перестает быть естественноязыковым, а система, которую такие знаки образуют, усилив один аспект своего функционирования (например, способность передавать информацию на некоторое расстояние), значительно ослабляет, а порой и просто сводит на нет, другие аспекты (например, объем информации, которую способен нести знак вообще, и объем информации, который можно передать в единицу времени, в частности); и все это вызвано тем, что искусственно созданные знаки лишены, как правило, нескольких сущностных характеристик, которыми должен

обладать языковой знак, чтобы быть оптимальным средством хранения и передачи информации (см. выше).

Тем не менее, осознание ограниченных возможностей звукового знака языка привело к тому, что в ходе эволюционного развития человеческого (= информационного) общества было найдено средство, позволяющее преодолеть ограничения, накладываемые звуковой субстанцией на разрешающую способность языка как знаковой системы, и при этом с наименьшим для нее ущербом. Таким средством стало величайшее изобретение человечества – письмо, особенно алфавитное.

Язык – информационная знаковая система, а информация существует во времени и пространстве; следовательно, возникает проблема ее сохранения и во времени, и в пространстве. Как уже говорилось выше, звуковой язык не позволяет в полной мере решить эту задачу. В его распоряжении находится лишь такое средство, как устный миф или предание, существование которых напрямую зависит как от мнемонической способности человека, так и от непрерывности цепочки, по которой мифы и предания передаются от поколения к поколению. Оба эти условия сами по себе являются ограничивающими в той мере, в какой речь идет о выполнении языком его главной функции – сохранения и передачи информации. Во-первых, не все люди обладают одинаково развитой памятью, позволяющей удерживать в более или менее неизменном виде некоторый массив информации на протяжении длительного времени (в идеале – на протяжении всей сознательной жизни человека). Во-вторых, развитие цивилизации на протяжении всей человеческой истории всегда сопровождалось ростом накопленной информации, объем которой в последние годы XX в. фактически удваивается каждые несколько лет – а так как язык есть специфическая (информационная) среда, вне которой не может существовать homo sapiens как биологический вид, возникает необходимость сохранения и поддержания этой среды; биологические (нейрофизиологические) возможности человека этого сделать не позволяют. В-третьих, нарушение преемственности поколений (природная катастрофа, эпидемия, война и т.п.) ведет к утрате "связи времен" и, соответственно, к невосполнимой потере значительного объема информации. Этим в немалой степени объясняется тот факт, что современная наука располагает относительно небольшими сведениями о жизни человека в так называемую "доисторическую" эпоху, да и те большей частью носят гипотетический характер. Собственно говоря, само понятие "доисторической эпохи" связано с отсутствием исторических свидетельств о том или ином периоде времени, а историческое свидетельство – это не что иное, как информация, сохранившаяся во времени.

Таким образом, для того, чтобы общество нормально функционировало и развивалось, необходимо, чтобы информация сохранялась полностью и без изменений, вызванных действием временного фактора, поэтому путь мифа и предания не может быть достаточно эффективным средством достижения данной цели. Необходимо такое средство хранения и передачи информации, которое бы сохраняло свою сущность как материальный объект вне зависимости от времени, т.е. необходим языковой знак иной материальной субстанции, нежели звуковой. Таким знаком является графическое слово. Следовательно, вопрос о соотношении слова звучащего и слова написанного приобретает несколько иной смысл, чем у Соссюра; более того, в свете вышеизложенного, цели и задачи лингвистики как науки о естественном языке также предстают в ином ракурсе, имеющем естественно-научную гносеологическую ориентацию.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня лингвистика выходит на новый этап в своем развитии, связанный с кардинальным переосмыслением общей концептуальной парадигмы, в рамках которой предстоит развиваться науке о языке в обозримом будущем. Важнейшее место в этой парадигме знания должно по праву принадлежать семиотике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барт Р. 1983 – Ненулевая степень письма // Семиотика. М., 1983.

Гаспаров Б.М. 1996 – Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

КСКТ 1996 – *Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.

ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

ЛСД 1994 – Логический словарь ДЕФОРТ. М., 1994.

Панфилов В.З. 1977 – Философские проблемы языкознания. М., 1977.

Соссюр Ф. де. 1977 – Труды по языкознанию / Пер. с франц. языка под ред. А.А. Холодовича. М., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. Т.А. МАЙСАК

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ: ОПЫТ ТИПОЛОГИИ*

Разделение языковых значений на два класса – лексические и грамматические – является важнейшим и общепризнанным; вместе с тем, столь же бесспорной считается невозможность проведения строгой границы между двумя этими классами. Здесь исследователям языка приходится, быть может, в большей степени, чем где бы то ни было, иметь дело с явлением континуального, а не дискретного характера; с явлением, более адекватно описываемым в рамках модели "нечетких категорий", важность которой начинает все больше осознаваться в лингвистике в последние годы.

Для разграничения двух типов языковых значений предлагались и предлагаются различные критерии: так, можно говорить о том, что лексические значения образуют открытое множество, тогда как грамматические – закрытое; лексические значения составляют большинство в инвентаре значений, тогда как инвентарь грамматических всегда на несколько порядков меньше, и т.д. (см., например, обсуждение этих и других критериев разграничения лексического и грамматического в [Мельчук 1997: 241–246]).

С другой стороны, имеет смысл говорить об определенном, эмпирически установленном списке грамматических значений, составить который можно, ориентируясь на универсально-типологический подход. А именно, те значения, которые являются бесспорно грамматическими хотя бы в каких-то языках (в которых они формально выражаются морфологическими средствами), признаются значимыми для любого языка, даже если в нем нет отдельного средства для кодирования данного значения[1]. Значения, грамматически выражающиеся хотя бы в одном языке, составляют своеобразный "у н и в е р с а л ь н ы й г р а м м а т и ч е с к и й н а б о р" – закрытый список минимальных семантических грамматических значений, или "грамматических атомов" (подробнее см. [Плунгян 1997; 1998в]; из числа недавних работ, аналогичная идея прослеживается в [Bybee, Dahl 1989: 52–53; Bybee et al. 1994: 2–3] и др.). В этом смысле значение 'начать Р' является "в принципе" грамматическим, хотя в том или ином конкретном языке существуют, возможно, лишь лексические средства его выражения; с другой стороны, значение 'ситуация повторяется в течение одного года ровно 5 раз' в Универсальный грамматический набор внесено быть не может, поскольку оно, как кажется, ни в каком из описанных на сегодня языков мира не может считаться бесспорно грамматическим.

Не менее важен (особенно для настоящей работы) и характер взаимосвязи двух основных типов языковых значений в диахроническом плане. Речь идет о том, что историческая эволюция языка включает постоянное п р е в р а щ е н и е л е к с и-

* Пользуясь случаем, автор выражает свою искреннюю признательность А.Е. Кибрику, В.М. Алпатову и Ю.Д. Апресяну, без советов и поддержки которых данная работа могла бы и не увидеть свет. Особую благодарность хотелось бы выразить В.А. Плунгяну, замечания которого к первоначальному варианту статьи способствовали ее значительному улучшению.

[1] Так, в английском языке существует особая форма перфекта, что дает обоснованной постановку вопроса о том, как выражается перфектное значение в русском языке, не обладающем для его выражения отдельными формальными средствами. (В этой связи см., например, работу [Князев 1983] о средствах выражения перфекта в русском языке; из недавних работ см. также [Падучева 1998].)

ческих единиц в грамматические; лексика выступает в качестве главного источника грамматики. (Перефразируя известное высказывание Р. Пенна Уоррена, можно сказать, что грамматика получается из лексики, "потому что иначе ее неоткуда было бы взять".) Так, в русском языке предлог *благодаря* и союз *хотя* восходят к формам деепричастий глаголов *благодарить* и *хотеть*, соответственно; в английском языке источниками форм будущего времени *will do, shall do, is going to do* явились конструкции с модальными глаголами со значением 'хотеть' и 'быть должным', а также глаголом движения 'идти'.

В этих случаях мы имеем дело с процессом **грамматикализации**, процессом превращения лексической единицы в грамматический показатель[2]. Процессы грамматической эволюции являются в последнее время (приблизительно с начала 80-х годов) предметом интенсивного теоретического обсуждения в западной лингвистике. Ключевыми работами в рамках так называемой "теории грамматикализации" являются прежде всего монографии К. Лемана, Б. Хайне, П. Хоппера и Э. Траугот [Lehmann 1982; Heine, Reh 1984; Heine et al. 1991; Hopper, Traugott 1993], а также работы Дж. Байби и Э. Даля по типологии грамматических категорий в языках мира [Bybee 1985; Dahl 1985; Bybee, Dahl 1989], в особенности [Bybee et al. 1994] (см. также обзоры данных исследований в [Сумбатова 1994; Плунгян 1998б]).

В своем понимании процесса грамматикализации мы в целом следуем указанным авторам; тем не менее, нам представляется полезным кратко охарактеризовать некоторые важные понятия, используемые в настоящей работе.

Будем говорить о каждом конкретном случае эволюции лексического элемента в сторону грамматического как о некотором пути грамматикализации (ср. английские эквиваленты – *path* или *channel of grammaticalization*). В идеальном случае путь этот можно представить себе как имеющий начало и конец: будем, соответственно, говорить об источнике грамматикализации (которым является лексическая единица или, точнее, конструкция) и ее результате (грамматическом показателе). Грамматикализация является процессом градуальным, так что существуют "более" и "менее" грамматикализованные показатели. Кроме того, не следует забывать и о возможности деграмматикализации или лексикализации ставшего было грамматическим показателя; эти процессы не будут предметом нашего обсуждения (см. о них, например, [Greenberg 1991: 301; Matisoff 1991: 445; Ramat 1992; Auwera, Plungian 1998] и пр.].

1. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ

Известно, что грамматикализации подвергаются не произвольные лексемы; круг лексем-источников грамматикализации достаточно ограничен (ср. [Traugott, Heine 1991: 7–8; Bybee et al. 1994: 5, 9–10]). **Определенные лексические единицы** в разных языках особенно часто подвергаются грамматикализации: так, источниками предлогов часто являются слова, обозначающие части тела, источниками артиклей – указательные местоимения, источниками видо-временных показателей – бытийные глаголы, глаголы движения и пр. (см. подробнее [Lehmann 1982; Heine, Reh 1984; Hopper 1991: 19–20] и т.д.). Следовательно, при исследовании процессов грамматикализации в каком-либо языке (или языках) имеет смысл более внимательно взглянуть именно на слова определенных лексических групп.

---

[2] При более широком понимании, грамматикализация представляет собой процесс создания грамматических категорий, грамматической системы языка в целом [Traugott, Heine 1991]. В связи с этим можно говорить, например, о таких феноменах, как "грамматикализация порядка слов" или "грамматикализации топика в подлежащее" и т.п. (т.е. о тех случаях, когда некоторый прагматически обусловленный порядок слов начинает использоваться для выражения грамматических отношений). Для нас в настоящей работе достаточно будет более узкого понимания грамматикализации как эволюции лексических единиц в грамматические показатели.

В настоящей работе в качестве объекта такого "пристального" рассмотрения берется группа глаголов движения, и рассматриваются значения, которые встречаются в результате грамматикализации этих глаголов в языках мира.

Следует сказать, что слова с пространственным значением во многих языках являются в принципе основными "кандидатами" на грамматикализацию. Причиной тому служит тот факт, что метафоризация пространственных понятий в целом имеет чрезвычайно важное значение: человек стремится к тому, чтобы осмыслить нефизическое в терминах физического (то есть нечто менее конкретное – в терминах более конкретной сферы опыта), в силу чего концептуализация пространственной, физической сферы опыта выступает в качестве базовой[3]. Грамматикализация же содержательно представляет собой, говоря упрощенно, частный случай семантических изменений, в каком-то смысле – развитие полисемии у определенной лексемы. При этом нас в данном случае интересуют не все пути семантической эволюции, а лишь те, при которых итоговое значение попадает в Универсальный грамматический набор, и тем самым представляет интерес для грамматической типологии[4].

Глаголы движения относятся к лексическим единицам, которые наиболее часто подвергаются грамматикализации в языках мира. В качестве наиболее простых и известных примеров можно упомянуть английскую конструкцию *to be going/gonna*, значение которой традиционно характеризуется как "будущее время" (ниже об этом еще пойдет речь), или французскую форму *vient de + inf.*, обозначающую "недавнее прошедшее".

Для рассмотрения в настоящей работе выбран сравнительно немногочисленный подкласс глаголов, выражающих основные смыслы, связанные с перемещением (человека) в пространстве; русскими эквивалентами этих глаголов являются *идти, ходить, уходить, приходить, входить, выходить, подниматься, спускаться, переходить, проходить, возвращаться, следовать*. (Далее названия глаголов даются прописными буквами: ИДТИ, ПРИХОДИТЬ и т.п.). В рассмотренных языках учитывались глаголы, значение которых описывалось в грамматиках и/или словарях при помощи одной или нескольких из указанных единиц[5]. Не рассматривались каузативные глаголы (типа *вести*, *бросить* и пр.), а также глаголы, специализированные по признаку "способ передвижения" (типа *лететь*, *бежать*, *катиться*)[6].

Сами по себе глаголы движения, конечно, не раз выступали в качестве объекта изучения в лингвистике. Ими в первую очередь интересовались лексикографы, ко-

---

[3] Именно поэтому столь большое значение в языке играют так называемые ориентационные метафоры, представляющие собой способ организации абстрактных понятий в терминах пространственной ориентации [Лакофф, Джонсон 1990: 396].

[4] Другое ограничение касается того, что о грамматикализации некоторого элемента мы можем говорить лишь в том случае, если он может использоваться как модификатор при каком-либо классе слов. Так, мы не вправе говорить о грамматикализации русск. глагола *подниматься* со значением 'начать', поскольку он таким модификатором не является, хотя и употребляется с несколькими словами для обозначения начала, возникновения ситуации: ср. конструкции типа *поднялся шум, поднялась буря, поднялось волнение* и пр. Подобные употребления можно отнести лишь к так называемым "фразеологически связанным глаголам", ср. аналогичные примеры типа *пришел в восторг* 'начал восторгаться' в работе [Недялков 1987: 181].

[5] Как показано в работе [Wilkins, Hill 1995], оперирование подобными семантическими ярлыками в типологическом исследовании не всегда оправдано, поскольку лексема, которая в некотором языке кажется, например, эквивалентом англ. *come* или русск. *приходить*, может весьма существенно отличаться от этих глаголов по семантике. Тем не менее, нам представляется, что для предварительного исследования путей грамматикализации учет лишь ядерной семантики глагольной лексемы уже достаточно надежен.

[6] Следует отметить, что нам не встретилось ни одного случая грамматикализации глагола из этой второй группы, что подтверждает тезис о том, что грамматикализуются лишь слова с достаточно общим значением (ср., например, [Bybee et al. 1994: 5]).

торые описывали значение глаголов в конкретных языках[7]. Авторы грамматик писали о глаголах движения в той степени, в какой эти глаголы используются для выражения грамматических или частично грамматикализованных значений в том или ином конкретном языке. (Ср., например, описание конструкций с глаголами движения среди "глагольных перифраз" в романских языках [Rojo 1974; Васильева-Шведе, Степанов 1980; Никонов 1981] или "видовых" аналитических форм глагола в тюркских языках [Юлдашев 1965].)

Исследование же типологии грамматикализации глаголов движения в качестве отдельной задачи не ставилось. Пожалуй, единственным родом работ, в которых грамматикализации глаголов движения уделялось внимание, были исследования, посвященные происхождению показателей будущего времени – поскольку среди важнейших лексических источников этой категории встречаются как раз глаголы движения (а именно, ИДТИ и ПРИХОДИТЬ: см., например, [Ultan 1978; Emanatian 1992; Bybee et al. 1994] и пр.).

Единственной известной нам работой, посвященной собственно типологии грамматикализации трех глаголов движения (а именно, ИДТИ, ПРИХОДИТЬ и ВОЗВРАЩАТЬСЯ), является статья [Lichtenberk 1991], написанная на материале океанийских языков; ее результаты были учтены в нашей работе.

2. ХАРАКТЕР НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование, основные результаты которого обсуждаются ниже, имело своей задачей рассмотрение путей грамматикализации глаголов движения на материале нескольких десятков разноструктурных языков.

Были рассмотрены глаголы, обозначающие основные ситуации перемещения и отличающиеся по способу ориентации начальной и/или конечной точки движения: приближение к или удаление от дейктического центра (ПРИХОДИТЬ vs. УХОДИТЬ), движение вверх или вниз относительно исходной точки (ПОДНИМАТЬСЯ vs. СПУСКАТЬСЯ), движение внутрь или изнутри замкнутого пространства (ВХОДИТЬ vs. ВЫХОДИТЬ) и т.п.[8]

Был привлечен материл чуть более 100 языков. В максимальном количестве представлены языки Евразии (порядка 70-и): из индоевропейских были рассмотрены романские, индо-арийские и иранские языки; достаточно полно охвачена тюркская семья, а также крупнейшие дравидийские языки; языки юго-восточной Азии представлены тайскими, сино-тибетскими и аустроазиатскими; афразийские языки представлены фрагментарно. Рассмотрены также некоторые языки Африки (порядка 25 языков); источником сведений о них послужили главным образом обобщающие работы [Heine, Reh 1984; Аксенова 1997]. Океанийский ареал представлен 13 языками (источником информации по большинству из них послужила работа [Lichtenberk 1991], а американдский – двумя.

В самом общем виде результаты, полученные в ходе исследования, суммированы в таблице, помещенной в конце статьи.

Дальнейшее изложение посвящено обсуждению основных закономерностей грамматикализации глаголов движения, а также характеристике путей грамматикализации по типам итоговых грамматических значений.

---

[7] *Описанию семантики глаголов движения в типологическом аспекте посвящен ряд работ Л. Талми,* прежде всего [Talmy 1975; 1985]; из отечественных исследований отметим [Иоанесян 1990; Рожанский 1992]. О значении и употреблении русских глаголов движения см., в частности, [Битехтина, Юдина 1985: 29–51; Апресян 1995б; Копорская 1996], а также [Апресян 1995а: 72, 136, 252–254].

[8] Глаголы типа русск. *идти* можно назвать чистыми глаголами движения, поскольку они обозначают перемещение как таковое, не ориентированное относительно точки отсчета.

3. ПУТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ

3.1. Основные закономерности

3.1.1. Пределы семантического варьирования

Рассмотренные нами пути грамматикализации глаголов движения позволяют сделать вывод о том, что в разных языках мира грамматикализация этой группы глаголов происходит по сравнительно небольшому набору возможных линий эволюции (путей грамматикализации). Действительно, хотя разнообразие результатов грамматикализации глаголов движения достаточно широко – среди итоговых значений можно назвать и обозначение ориентации движения, и значения "ядерных" глагольных категорий (аспект, время, модальность), а также обозначение залоговых отношений и синтаксической зависимости – тем не менее, обнаруживается, что пределы варьирования результатов грамматикализации глаголов движения отнюдь не безграничны. Во многих, в том числе типологически несходных и генетически не близкородственных языках, мы наблюдаем повторяемость итоговых значений, что лишний раз доказывает, что "языки как бы заново открывают одни и те же элементы смысла" [Кибрик 1992: 12–13], выбирая в данном случае именно конструкции с глаголами движения для выражения тех или иных значений из семантического универсума.

Мы вполне допускаем, что дальнейшие исследования языков мира (лишь ничтожно малая часть которых рассмотрена в нашей работе) пополнят этот список и расширят наши представления о пределах варьирования при грамматикализации. В целом же представляется, что, не указав всех принципиально возможных случаев грамматикализации глаголов движения, мы по крайней мере смогли очертить некоторый круг наиболее важных случаев такого рода, определить ядерную область данного явления.

3.1.2. Общая характеристика результатов грамматикализации глаголов движения

Результаты, приведенные в таблице, позволяют ответить на вопрос, с какими именно грамматическими категориями в целом связана грамматикализация глаголов движения.

Прежде всего результаты грамматикализации глаголов движения связаны с грамматическими категориями глагола, и в особенности с его семантическими категориями. Это обстоятельство не кажется удивительным, если принять во внимание тот факт, что исходно в процесс грамматикализации вступают, как правило, глагольные аналитические формы с глаголом движения в роли вершины: таким образом, в результате грамматикализации подобных конструкций глагол движения вполне закономерно превращается именно в глагольный модификатор[9].

Показателями синтаксических отношений глаголы движения становятся значительно реже. В качестве же примеров использования конструкций с глаголами движения как не-глагольных модификаторов отметим показатели временной референции и временной дистанции в океанийских языках (функционирующие как модификаторы имени); показатели, маркирующие эталон сравнения (в этих же языках) [Lichtenberk 1991], а также случаи превращения глаголов движения в предлоги (в изолирующих языках Юго-Восточной Азии [Matisoff 1991: 434] и Западной Африки [Маянц 1982: 97]).

3.1.3. Частота случаев грамматикализации конкретных глаголов

С точки зрения того, какие глаголы наиболее часто вступают на путь грамматикализации, иерархия глаголов движения выглядит следующим образом:

- "чемпионами" грамматикализации являются глаголы ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ (представлены более чем 80-ю случаями каждый);

---

[9] Ср., например, анализ процесса превращения аналитической конструкции в глагольный аффикс в [Heine, Reh 1984: 140].

• с большим отрывом от них располагаются ХОДИТЬ (вместе с 2 случаями 'бродить'), ПРОХОДИТЬ/ПЕРЕХОДИТЬ и ВОЗВРАЩАТЬСЯ, представленные более чем 10-ю случаями;

• далее (уже с относительно небольшим отрывом) идут глаголы СПУСКАТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ, ВХОДИТЬ, СЛЕДОВАТЬ, ПОДНИМАТЬСЯ.

Эти наблюдения позволяют, в частности, сделать вывод о приоритете при грамматикализации основных дейктических глаголов движения – ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ: они и грамматикализуются чаще всего, и характеризуются наибольшим разнообразием результатов грамматикализации.

Не лишена интереса постановка задачи о возможных и м п л и к а т и в н ы х з а к о н о м е р н о с т я х, которые могут существовать между разными случаями грамматикализации глаголов движения в конкретном языке (например, "если в языке L грамматикализован глагол V_1, то грамматикализован и глагол V_2"). Рассмотрение этого вопроса в целом выходит за рамки настоящего исследования; отметим лишь, что наиболее бесспорной кажется следующая закономерность (выполняющаяся в 97–98% случаев):

(1) Если в языке L имеет место грамматикализация каких-либо глаголов движения, среди них имеются глаголы **идти/уходить** и/или **приходить**.

3.1.4. Разброс значений результатов грамматикализации для конкретных глаголов

Пределы варьирования результатов грамматикализации различны для разных глаголов движения. Для глаголов, стоящих на первом месте по частотности грамматикализации, разброс результирующих значений весьма значителен: данные глаголы движения превращаются в показатели пространственного дейксиса, в показатели с видовыми, временными, модальными значениями, в синтаксические показатели.

Закономерность, имеющуюся в данном случае, можно сформулировать следующим образом:

(2) Чем чаще подвергается грамматикализации некоторая лексическая единица, тем большее число разных путей грамматикализации ей свойственно.

Утверждения о п р е д п о ч т и т е л ь н ы х путях грамматикализации для конкретных глаголов носят исключительно вероятностный характер: так, наиболее вероятными путями развития глагола ВОЗВРАЩАТЬСЯ является его превращение в показатель *рефактива* (со значением 'действие совершается повторно'), а также *рефлексива*; вместе с тем, в тайском языке данный глагол используется как вспомогательный элемент с модальным значением 'делать вопреки ожидаемому' [Морев 1991: 156].

Выводы о предпочтительности тех или иных путей грамматикализации для конкретных глаголов могут выглядеть следующим образом:

(3) Конструкция с глаголом **приходить** в результате грамматикализации с наибольшей вероятностью (≈33%) приобретает значение из "имперфективной" аспектуальной области (*градатив*, *дуратив*, *хабитуалис*). Также вероятны значение *проспектива / будущего времени* и значение *комплетива* (≈ по 17,5%), в меньшей степени – выражение *временной близости* (в прошлом), *возможности*, *относительного следования*, использование в *пассивной* конструкции.

(4) Наиболее вероятным путем грамматикализации глагола (конструкции с глаголом) **ходить** является приобретение им значения *дуратива* и/или *хабитуалиса*.

(5) Наиболее вероятным путем грамматикализации глагола (конструкции с глаголом) **входить** в качестве глагольного модификатора является приобретение им значения *инхоатива*, а в качестве именного – значения *инлатива* ('внутрь').

Для формулирования более строгих закономерностей представляется необходимым знакомство с более обширным языковым материалом.

3.2. Характеристика основных путей грамматикализации

Данный раздел посвящен краткой характеристике основных путей грамматикализации конкретных глаголов движения и организован по принципу "от значения – к конструкциям, которые могут приобретать данное значение в ходе грамматикализации". Мы ограничиваемся рассмотрением глагольных категорий, последовательно разбирая те семантические зоны, в которых были обнаружены результаты грамматикализации глаголов движения. Эти три зоны таковы[10]:

- темпоральная (абсолютное время, относительное время, временная дистанция),
- аспектуальная (широкое и разнородное пространство значений, включающая в себя несколько частных видовых категорий; о ее структуре с типологической точки зрения подробнее см., например, [Плунгян 1997]),
- модальная (также довольно обширная область, объединяющая категории так называемого "модального континуума", т.е. категории, связанные с выражением определенных отношений говорящего или субъекта речи к описываемой ситуации, а также с обозначением степени реальности ситуации).

Отдельные области представляют собой обозначение пространственной ориентации (а именно, локализации и направления) и категории, связанные с актантной структурой (актантная деривация, залог), а также согласовательные категории типа класса, числа, лица.

3.2.1. Категории пространственного дейксиса

Прежде всего, во многих языках мира глаголы движения используются как чистые показатели направления и локализации, как **директивы**. В данном случае глаголы движения образуют сложные конструкции, в которых они сочетаются в первую очередь с др. глаголами перемещения или изменения состояния (типа *бежать* или *лететь*) и обозначают направление, в котором развивается ситуация.

Глаголы движения в директивной функции могут образовывать сериальные конструкции (см., например, [Givón 1991: 83 и сл.]), либо выступать как финитные компоненты аналитических форм (в дравидийских, тюркских языках); могут, наконец, превращаться в аффиксальные показатели с пространственным значением (океанийские языки).

В простейшем случае в директивной функции используются только глаголы ПРИХОДИТЬ и УХОДИТЬ, выступающие как своего рода дейктические антонимы: в этом случае происходит ориентация ситуации относительно местонахождения говорящего ('сюда' ~ 'отсюда'). Ср. в тайском *ʔaw maa* 'приносить = брать + + приходить' vs. *ʔaw paj* 'уносить = брать + уходить' (см. ряд примеров в [Matisoff 1991: 439]).

В случае развитой системы директивов другие глаголы движения также используются в функции пространственных модификаторов, ср. кхмерское *хаэ тьоːль мэːк* 'влететь сюда = лететь + входить + приходить' [Горгониев 1984: 940–941]. Тем самым, глаголы движения служат для обозначения всевозможных типов пространственной локализации и ориентации ситуации (об этих категориях см. подробнее [Мельчук 1998: 48–60]).

Конструкции с дейктическим пространственным значением являются первым шагом на пути к грамматикализации глаголов движения; такое использование данных глаголов является наиболее предсказуемым и широко распространенным.

В директивном употреблении глаголов движения мы имеем дело с практически полным сохранением исходного пространственного значения данных глаголов. Су-

---

[10] Ср. объединение этих трех семантических зон в термине "TMA categories" (= Tense-Mood-Aspect categories), часто фигурирующем в западных работах по грамматической типологии.

ществуют, однако, и случаи большей "продвинутости" директивных показателей по степени грамматикализации: так, для ряда океанийских языков отмечается превращение глаголов УХОДИТЬ и (что более нетривиально) ПРИХОДИТЬ в показатели **пространственной дистанции** со значением 'ситуации происходит в месте, удаленном от дейктического центра' [Lichtenberk 1991: 483–484, 495–496].

(6) вангуну [Lichtenberk 1991: 495][11]

Riqa	lavata-na	i-ni	ko	**la**	pa	sule	pia.
потоп	большой-его	FOC-он	имеется	**уходить**	в	река	тот

Там на реке большое наводнение (река находится далеко от говорящего и слушающего).

Здесь, тем самым, речь идет лишь о местоположении, а не о направлении движения, т.е. такой важный компонент значения глаголов движения, как собственно 'перемещение', на данном этапе грамматикализации уже утрачивается.

3.2.2. Аспектуальные категории

Значения из аспектуальной зоны преобладают в качестве итоговых значений грамматикализованных конструкций с глаголами движения. Аспектуальная семантическая зона в целом включает множество категорий, которые характеризуют ситуацию "изнутри", с точки зрения ее протекания во времени (так наз. "внутреннее время" ситуации). Одним из основных противопоставлений здесь можно считать противопоставление длящихся и недлящихся ситуаций; вслед за Б. Комри [Comrie 1976] мы будем говорить в данном случае об имперфективных и перфективных значениях, соответственно.

Что касается имперфективной группы значений, то конструкции с глаголами движения используются для выражения нескольких их разновидностей (возможна и ситуация совмещения разных значений у одной формы, в зависимости от семантики смыслового глагола или контекста). Так, значение **градатива**[12] 'динамическая ситуация P развивается в направлении постепенного накопления результата (типа русск. *все больше и больше*)' характерно для конструкций с ИДТИ (в большинстве романских языков, многих тюркских, ряде дравидийских и новоиранских, в хинди и др.):

(7) испанский [Левинтова, Вольф 1964: 91]

El	enfermo	**va**	**mejora-ndo**
DEF.M	больной	**ИДЕТ**	**поправляться-CONV**

Больному (постепенно) ***становится лучше*** (т.е. он все более и более выздоравливает).

и ПРИХОДИТЬ (также в романских, тюркских, дравидийских языках, таджикском, хинди и др.), ср.:

(8) башкирский [Юлдашев 1965: 77]

Ит	**беше-п**	**килэ.**
мясо	**варить-CONV**	**ПРИХОДИТ**

Мясо ***доваривается.***

Значения **дуратива** 'в момент T ситуация P длится, то есть P имела место до T и будет иметь место после T' и **хабитуалиса** 'ситуация P имеет место постоянно или

---

[11] В работе используются следующие обозначения: P – "ситуация", V – "глагол", T – "момент времени", M – "значение". Во второй строке примеров дается упрощенный морфемный разбор, при этом используются следующие сокращения: DEF, IND – определенный, неопределенный артикль; M, F – мужской, женский род; PST – прошедшее время; PART – причастие; CONV – деепричастие или герундий; FOC – focus; LOC – locative; OBJ – objective case. Переводы слов в строке морфемного разбора, а также примеров, заимствованных не из русскоязычных работ (и португальских примеров), принадлежат автору, который несет ответственность за возможные неточности. Португальские примеры, не снабженные ссылкой, заимствованы из произведений художественной литературы.

[12] Данный термин, хотя и в несколько другом значении (а именно, для обозначения определенного таксономического класса предикатов, типа русск. *усилиться*), предложен в работе [Падучева 1996: 177].

регулярно на определенном отрезке времени (*обычно, как правило*), или является свойством субъекта' довольно часто встречаются как у глаголов ИДТИ и ПРИХОДИТЬ, так и глагола ХОДИТЬ, для которого основным путем грамматикализации является приобретение именно этих значений[13]. Такова ситуация в большинстве тюркских языков и ряде романских, ср.:

(9) португальский [Никонов 1985: 156]

Paciência?!	**Andas**	**a**	**pedir**-me	paciência	há	um	século...
терпение	**ХОДИШЬ**	**к**	**просить**-меня	терпение	имеется	один	век

Терпение?! Да ты уже сто лет ***призываешь*** *меня к терпению...*

Часто конструкции с глаголами движения становятся средством выражения перфективных значений, в частности **комплетива** 'ситуация P достигла предела, результата своего развития' (о разновидностях перфективного значения см. [Плунгян 1998а]). Приобретение комплетивного значения отмечается у глаголов ИДТИ//УХОДИТЬ (во многих дравидийских, тюркских языках, в некоторых иранских, тайских и др.) и ПРИХОДИТЬ (романские, тюркские языки), а также ВЫХОДИТЬ (некоторые тюркские, таджикский) и ПРОХОДИТЬ, ПЕРЕХОДИТЬ (некоторые тюркские, таджикский, малаялам). Ср. пример (10) из башкирского языка, а также (11) из телугу, в котором комплетивная конструкция с глаголом УХОДИТЬ употребляется со смысловым оттенком "полного охвата объекта"[14]:

(10) башкирский [Юлдашев 1965: 81–83]

Сэй	к̄айна-п	сы к̄ты.
чай	**кипеть-CONV**	**ВЫШЕЛ**

Чай ***вскипел.***

(11) телугу [Krishnamurti, Gwynn 1985: 215]

annam	**tin-eesEEDu.**
еда. OBJ	**есть. PART-УШЕЛ**

Он ***съел*** *еду* (всю, до конца).

В ряде случаев перфективная конструкция с глаголом движения может иметь значение не только комплетивное, но скорее инхоативное. Так, в нижеследующих примерах (глаголы *chegar* и *vir* оба значат 'приходить') речь идет о том, что развитие ситуации п р и в е л о в точке отсчета к некоторому результату, причем в (13) таким результатом является наступление новой ситуации, а не достижение предела ситуации, уже имевшей место, как в (12):

(12) португальский [Вольф, Никонов 1965: 106]

O	velho	barão	**veio**	**a**	**morrer.**
DEF.M	старый	барон	**ПРИШЕЛ**	**к**	**умереть**

Старый барон (в конце концов) ***умер.***

(13) португальский [Никонов 1981: 161]

Houve	um	murmúrio,	alguns	**chegaram**	**a**	**gritar.**
имелся	IND.M	ропот	некоторые	**ПРИШЛИ**	**к**	**кричать**

(По толпе) прошёл ропот, некоторые ***закричали.***

Аналогичное употребление допускают и конструкции с глаголами *куру* 'приходить' и *ику* 'уходить' с деепричастиями в японском языке: если в первом случае акцент делается на достижение ситуацией предела, то во втором, напротив, на начале процесса [Алпатов (рукопись)].

---

[13] То же верно для конструкции с глаголом БРОДИТЬ, зафиксированной в языке ятье (группа ква конго-кордофанской семьи) и в хинди; см., соответственно, [Heine, Reh 1984: 129; Липеровский 1984: 200–201].

[14] Следует отметить, что такие "оттенки значения", как полный охват объекта или интенсивность, в целом характерны для форм с комплетивным значением [Bybee et al. 1994: 57–60].

Превращение в чисто **инхоативный** показатель, обозначающий начальную фазу ситуации, характерно для нескольких глаголов движения: глагол ИДТИ грамматикализуется в показатель инхоатива в таких тюркских языках, как якутский и долганский, а также в некоторых языках банту и в персидском[15], глагол ПРИХОДИТЬ – в океанийских языках и в языке гусии (банту), глагол ВЫХОДИТЬ – в тувинском, ПОДНИМАТЬСЯ – в кхмерском, китайском, вьетнамском. Значение инхоатива является также единственным из встретившихся нам итоговых значений грамматикализации для глагола ВХОДИТЬ (в некоторых тюркских языках и хауса), ср.:

(14) хауса [Смирнова 1960: 54, 70]
Suka **shiga** **nema.**
они.PST **ВХОДИТЬ** **искать**
*Они **приступили** к поискам...*

Континуативное значение 'ситуация P продолжается (*все еще, по-прежнему*)' выражается в ряде ибero-романских языков при помощи конструкции с глаголом СЛЕДОВАТЬ (отметим также, что это единственный встретившийся нам случай грамматикализации данного глагола):

(15) испанский [Левинтова, Вольф 1964: 92]
Seguirán **lucha-ndo.**
будут.СЛЕДОВАТЬ **бороться-CONV**

*Они **будут продолжать** борьбу.*

Конструкции с глаголами движения распространены и в качестве средств выражения более частных видовых значений, подробный разбор которых в рамках настоящего обзора невозможен: так, одним из наиболее распространенных путей грамматикализации глагола ВОЗВРАЩАТЬСЯ является превращение в показатель **рефактива** 'ситуация P воспроизводится повторно (*опять, еще раз, заново*)' (в романских, океанийских языках); в ряде языков Юго-Восточной Азии показатели, восходящие к глаголу ПРОХОДИТЬ, используются для выражения **экспериенциального** (или "общефактического") значения 'субъекту ситуации P уже приходилось (хотя бы раз) совершать P' (в китайском, некоторых тайских). Конструкция с глаголом СПУСКАТЬСЯ имеет в ряде тюркских языков **аттенуативное** значение 'ситуация P имеет ослабленную интенсивность: *чуть-чуть, слегка*' [СТЛЯ 1969: 283; ГСБЯ 1981: 229], а в некоторых обозначает **моментальность,** быстроту совершения действия [Харитонов 1960: 69; Исхаков, Пальмбах 1961: 414; СТЛЯ 1969: 282; ГХЯ 1975: 185; Убрятова 1985: 155].

Отдельно следует сказать и о таком интересном случае грамматикализации глаголов движения, когда несколько глаголов используются в качестве средства выражения одного грамматического значения – речь идет о **перфективе** (в его как комплективной, так и инхоативной разновидности) – будучи распределены при этом по типам смысловых глаголов. В качестве таких перфективных модификаторов глаголы движения используются, в частности, в ряде языков Юго-Восточной Азии.

В этих языках восходящие к глаголам движения модификаторы, присоединяясь к смысловым глаголам (обозначающим "действия как таковые"), образуют сложные глаголы, которые обозначают уже "не просто действие как таковое, а определенный переломный момент в совершении этого действия – обычно момент достижения этим действием какого-либо результата..." [Яхонтов 1957: 91 и сл.]. При этом, в отличие от упоминавшихся выше случаев, эти модификаторы дополнительно распределены по сочетаемости с классами основных глаголов. Глаголы каждого из

---

[15] Ср. также случай русск. глагола *пойти* 'начать идти' (в предложениях типа *Он как пойдет рассказывать – не остановишь*): хотя данная конструкция и не является стилистически нейтральной, мы имеем дело с бесспорным случаем грамматикализации данного глагола. Данный случай разбирается также в работе [Храковский 1987: 169–170].

классов сочетаются только с одним из глаголов-перфективаторов, причем число последних может быть различным. В китайском это глаголы 'подниматься' (в двух вариантах), 'спускаться', 'выходить', 'входить', 'проходить' и некоторые другие (см. [Яхонтов 1957: 92; Горелов 1984: 81; Горелов 1989: 54; Антонян 1997]). В тайских языках в данной функции используются глаголы 'входить', 'выходить', 'подниматься', 'спускаться' [Морев 1991: 165]. Во вьетнамском язые для обозначения "переломного момента в развитии действия или существования признака" используются глаголы 'идти', 'выходить', 'приходить' [Панфилов 1993: 186–195]. Близка к описанной и ситуация в некоторых индо-арийских языках (например, хинди и маратхи), в которых существует противопоставление простых глаголов и "предельных", или "интенсивных", форм – конструкций с комплетивным значением, образуемых так наз. "векторными глаголами" (среди которых не последнее место занимают глаголы движения) [Катенина 1960: 70; Катенина 1963: 68; Липеровский 1984: 164 и сл.; Hook 1991].

Отметим, что данное явление имеет очевидные параллели с перфективацией в русском (и др. славянских) языке, где для образования глаголов совершенного вида используются приставки, многие из которых также имеют исходно пространственное значение, причем распределение приставок также зависит от семантики глагольного корня. (См. обзор проблематики в [Кронгауз 1998: 55–98].)

3.2.3. Временные категории

Нам известны лишь три типа случаев, когда конструкция с глаголом движения становилась бы средством выражения абсолютной или относительной временной референции[16]. Речь идет об обозначении будущего времени, прошедшего времени и (относительного) следования во времени.

Превращение глаголов ИДТИ и ПРИХОДИТЬ в показатели **будущего времени** является едва ли не наиболее распространенным случаем их эволюции; в качестве примера достаточно указать на такие языки "среднеевропейского стандарта", как английский и французский (ср. предложения типа *I'm gonna leave* или *Je vais partir*). Грамматикализация будущего времени вообще относится к достаточно хорошо изученной области грамматической типологии; стоит указать прежде всего на такие работы, как [Ultan 1978; Fleischman 1982; Bybee, Dahl 1989: 90–94; Bybee et al. 1994: 243–280]; формы будущего времени, восходящие к конструкциям с глаголами движения, получили даже специальное обозначение ("GO-futures" и "COME-futures"). Случаи превращения одного из двух основных глаголов движения в показатель будущего времени имеются во многих языках Африки, некоторых дравидийских и тюркских языках, а среди языков Европы, кроме английского – во многих романских языках, в датском, шведском и финском.

Здесь, однако, необходимо сделать одно важное замечание, которое касается семантических особенностей форм будущего времени, восходящих к глаголам движения. Как известно, формы будущего времени, источниками грамматикализации которых послужили конструкции с разными глаголами (например, глаголами движения vs. модальными глаголами типа *хотеть, быть должным*), обладают различными оттенками значения, в чем проявляется их семантическая связь с исходными лексическими единицами. Что же касается GO- и COME-futures, то эти формы, по крайней мере на ранних этапах своего развития, выражают не время как таковое, а скорее особый вид, а именно **проспектив** (prospective aspect). Соображение о скорее видовом, нежели временном характере таких форм подтверждается и тем, что часто проспективные показатели сочетаются с собственно временными, так что оказывается возможным как "проспектив настоящего времени", так и "проспектив прошедшего времени".

---

[16] Под абсолютной временной референцией мы понимаем указание времени ситуации по отношению к моменту речи, под относительной – по отношению к другой точке отсчета [Маслов 1983; Comrie 1985; Бондарко 1990].

Ср., например, следующие примеры:
(16) телугу [Krishnamurti, Gwynn 1985: 224]

а. nuwwu paDa-**bootunnaawu.**
ты падать-**ИДЕШЬ**

*Ты сейчас **упадешь*** (англ. *are about to fall*).

б. waaDu nannu koTTa-**booyEEDu.**
он меня ударить-**ШЕЛ**
***Он собирался было ударить** меня.*

Проспектив вводит в рассмотрение положение дел, которое содержит в себе "ростки" для некоторой последующей ситуации [Comrie 1976: 64–65; Fleischman 1982: 17–20, 78]. В связи с этим справедливо будет утверждать, что конструкции с глаголами движения, имеющие временную референцию в плане будущего, как правило маркируют не будущее как таковое, а некоторое положение дел в настоящем[17]: а именно, сообщается о том, что в момент речи положение дел таково, что оно может привести к возникновению определенной ситуации в будущем. Значение будущего времени (в случае если отсчет идет от момента речи) или, соответственно, значение следования точке отсчета в прошлом, возникает, тем самым, как прагматическая импликация.

Конструкции с проспективным значением зачастую интерпретируются как 'находиться на грани осуществления' (хорошим английским аналогом является *to be about to*), причем в случае с проспективом прошедшего времени значение 'в момент Т ситуация находилась на грани осуществления' имплицирует 'после Т ситуация так и не осуществилась'. Ср., например, (17), в котором португальская конструкция *ir a + inf.* обозначает нереализованную попытку:

(17) португальский

O	juiz	**ia**	**a**	**abrir**	a	boca	para	falar...
DEF.M	судья	**ШЕЛ**	**к**	**открыть**	DEF.F	рот	чтобы	говорить

*Судья **открыл было** рот, чтобы (что-то) сказать (, но...).*

В основе форм с проспективным значением лежит исходная пространственная конструкция со значением приближения к цели: речь идет о конструкции 'идти к' и 'приходить к' (не случайно в проспективной конструкции используется, как правило, "целевая форма" – инфинитив). Обозначение движения субъекта к некоторой точке в пространстве используется для обозначения его нахождения на пути к некоторой новой ситуации: субъект движения "идет к" этой новой ситуации (в случае использования конструкции с ИДТИ) или "приходит" к ней (в случае с ситуацией ПРИХОДИТЬ). Во втором случае можно говорить об изменении перспективы, точнее – о смене позиции наблюдения, с которой говорящий рассматривает движение субъекта ситуации (см. рассуждения по этому поводу в [Emanatian 1992: 5–8, 16–18]).

Обратным случаем по отношению к рассмотренному только что является обозначение **ситуаций в прошлом** при помощи конструкций с глаголами движения. Действительно, если мы "идем к" будущему, то из прошлого мы "приходим". Среди языков, в которых конструкция со значением 'приходить из' используется для обозначения ситуации в прошлом, отметим французский с его *Passé immédiat*, галисийский, многие африканские языки, а также китайский, ср.:

(18) китайский [Драгунов 1952: 132]

Гэй	жэньцзя	кань	ню	**лай.**
для	люди	смотреть	корова	**PST**

(Вопрос: *А те два года ты чем занимался?* Ответ:) ***Работал** пастухом.*

---

[17] Не случайно вспомогательный глагол в таких формах стоит именно в настоящем времени.

Здесь мы, однако, опять сталкиваемся со сложной ситуацией, когда очевидно, что отнюдь не во всех случаях подобные формы "прошедшего времени" обозначают собственно временную референцию. В описаниях часто отмечается (по крайней мере, для романских и ряда африканских языков), что эти формы используются для обозначения "близкого прошедшего": т.е., по сути дела, значением данных форм является **временная близость** – как по отношению к моменту речи, так и другой точке на временной оси. Так, в примере (19) мы имеем дело отнюдь не с "близким прошлым" по отношению к моменту речи, но с непосредственным предшествованием другой ситуации в прошлом (конструкция *vir de + inf.* стоит в имперфекте):

(19) галисийский [Rojo 1974: 127]

Viña	**de**	**rematar**	a	licenciatura	cando	empezóu	a	guerra.
ПРИШЕЛ	**из**	**защитить**	DEF.F	диплом	когда	разразилась	DEF.F	война

(Я/Он) ***только-только защитил*** *диплом, когда началась война.*

Здесь мы, как кажется, имеем дело с формой, симметричной по значению проспективу: если проспектив обозначает положение дел, которое может привести к некоторой ситуации P (в будущем), то "ретроспектив" – положение дел, к которому привела некоторая ситуация P[18].

Насколько позволяет судить рассмотренный нами материал, глаголы движения практически не становятся показателями абсолютной временной референции "в чистом виде". Что же касается превращения глаголов движения в показатели относительной временной референции, а именно, **следования** во времени, то здесь встречаются также лишь глаголы ИДТИ и ПРИХОДИТЬ, причем первый из них чрезвычайно распространен в данной функции в океанийских языках [Lichtenberk 1991], а второй – в африканских [Traugott 1978]; оба глагола используются в функции маркеров следования в меланезийском пиджине [Keesing 1991].

Подобные показатели функционирует как своего рода дискурсивные маркеры, указывающие на то, что описываемая в предложении ситуация следует за событиями, о которых говорилось в предыдущем предложении нарратива, ср.:

(20) меланезийский пиджин [Keesing 1991: 332]

olketa	pipol	olketai	**go**	taleaot	long	hem	moa.
PLU	люди	они	**ИДТИ**	рассказать	LOC	это	больше

И ***потом*** *люди рассказали об этом.*

3.2.4. Модальные категории

Модальные значения в качестве итоговых значений грамматикализации глаголов движения встречаются значительно реже. Наиболее распространено, по-видимому, использование конструкций с глаголами движения для выражения императивных значений. При этом особенно часто встречается случай выражения **гортатива** – обращения говорящего к собеседнику(-ам) с призывом совершить некоторое действие совместно (типа русск. *Давайте за это выпьем!*)[19]. Ср. следующий пример:

(21) португальский

Vamos	**levá**-lo	para	o	carro.
ИДЕМ	**нести**-его	к	DEF.M	машина

Давайте отнесем *его в машину.*

---

[18] Можно сказать даже, что если проспектив сравнивают с "ростками" последующей ситуации, то ретроспектив правильно будет сравнить с ее "опавшими листьями", которые указывают, что некоторая ситуация уже имела место и завершилась.

[19] В русистике подобные формы называются, как правило, формами "совместного действия" [Володин, Храковский 1986: 24]. Термин же "гортатив" встречается, например, у А. Исаченко [Исаченко 1960: 490].

Конструкции с ИДТИ употребляются в качестве средства выражения гортатива в иберо-романских языках, в иврите [Малыгина 1992: 146], в языке миштек отомангской семьи [Macaulay 1996: 136–138], в языке рама семьи чибча [Craig 1991: 477, 485]. Конструкции с ПРИХОДИТЬ – также в иврите [Малыгина 1992: 146], в ягнобском языке [ОИЯ 1987: 693], в эве (группа ква конго-кордофанской семьи) [Агбоджо, Литвинов 1992: 215].

Данных о превращении глаголов движения в собственно **императивный** показатель, маркирующий приказание или просьбу, обращенную к слушающему, существенно меньше: отметим вьетнамский [Быстров, Станкевич 1992: 248–249], маори [Полинская 1992: 223], а также, предположительно, некоторые языки банту (ньянджа, ганда, ньякьюса; см. [Аксенова 1997: 182]). Имеется также случай использования конструкции с глаголом ХОДИТЬ (в отрицательной форме) для выражения **прохибитива** (т.е. отрицательного императива) в башкирском [Юлдашев 1965: 73; ГСБЯ 1981: 72].

Помимо этого, глаголы движения используются для обозначения различных типов нереальных ситуаций, причем встречаются они и в зоне возможности, и в зоне долженствования. Так, ПРИХОДИТЬ встречается в качестве показателя потенциально **возможных** ситуаций в языках телугу [Krishnamurti, Gwynn 1985: 223; Петруничева 1960: 77; Дзенит, Гуров 1972: 735] и каннада [Андронов и др. 1979: 756; Spencer 1950: 311], причем "возможность" эта может пониматься достаточно широко: осуществление действия одобрено самим говорящим ('можно, разрешено сделать Р'), говорящий может оценивать ситуацию как вероятную ('возможно, имеет место Р'), или же осуществление ситуации может быть возможным в силу способностей, свойств самого субъекта ('может, в состоянии сделать Р'). Ср. пример (22), в котором конструкция с ПРИХОДИТЬ выражает эпистемическую модальность (в данном случае – предположение о том, что ситуация Р имела место).

(22) телугу [Krishnamurti, Gwynn 1985: 226]

atanu	ninnanee	**wacci**	**uNDA-waccu.**
он	вчера	**приезжать**	**быть-ПРИХОДИТЬ**

Возможно, он приехал (англ. *may have arrived*) *вчера.*

Что касается использования глагола ПРИХОДИТЬ в отрицательной форме (дравидийские языки, турецкий, вьетнамский), то здесь выражается отсутствие возможности или необходимости совершения некоторого действия ('не может, не должен, не нужно, не следует делать Р').

Глагол ИДТИ/УХОДИТЬ в ряде океанийских языков грамматикализован в качестве показателя **ирреальных наклонений** и употребляется в условных предложениях, причем для обозначения как потенциальных ('Р возможно, если ...'), так и контрфактических условий ('Р невозможно; Р было бы возможно, если бы ...') [Lichtenberk 1991: 494–495]. Использование ИДТИ в отрицательных условных и уступительных предложениях отмечается в телугу [Петруничева 1960: 79; Krishnamurti, Gwynn 1985: 227–228]. Форма с глаголом ИДТИ используется в маратхи в качестве средства выражения "нежелания, субъективной невозможности совершения действия" [Катенина 1960: 65].

3.2.5. Синтаксические показатели

Средством выражения синтаксических отношений конструкции с глаголами движения становятся также относительно редко. По-видимому, наиболее распространено их использование в **пассивной конструкции,** столь характерное, например, для иранских языков. Аналитические формы пассива засвидетельствованы уже на раннем этапе развития новоперсидского языка (X век): это были конструкции с причастием прошедшего времени основного глагола и глаголами 'идти, уходить', 'приходить', а также 'вращаться, двигаться' в качестве вспомогательного [ОИТИИЯ 1975: 323; ОИЯ 1982: 150]. Глагол 'идти, уходить' получил в связи с этим во многих языках

значение 'делаться, становиться'; сейчас пассив с его помощью образуется во многих новоиранских языках: мунджанском, осетинском, кохруди [ОИТИИЯ 1975: 327], языке сои [ОИЯ 1991: 325], шугнано-рушанских языках [ОИЯ 1987: 329], персидском [Дорофеева 1960: 53]; а также в нуристанском языке кати [ДНЯ 1999: 107]. Конструкция с глаголом УХОДИТЬ служит средством выражения пассивного ("инактивного") залога в хинди, аналогичная форма пассива имеется в маратхи [Катенина 1963: 77; Липеровский 1984]. Использование глагола ПРИХОДИТЬ для образования пассивной конструкции встречается несколько реже; отмечается оно в тех же группах языков: в ряде новоиранских (в северном диалекте татского языка [ОИЯ 1982: 277–278], в курманджи [ОИТИИЯ 1975: 327]), в дардском языке гавар [ДНЯ 1999: 91], а также вновь в маратхи и хинди [Катенина 1963: 77; Липеровский 1984: 218]. Перифрастические формы пассива с основными глаголами движения (*andare, venire*) известны и в итальянском [Алисова и др. 1982: 67–68][20].

Помимо этого, отметим использование глаголов движения как средства р о л е в о г о м а р к и р о в а н и я: так, глагол ПРИХОДИТЬ превратился в показатель **бенефактива** (актанта, для которого, в пользу которого совершается действие) в языке лаху сино-тибетской семьи [Matisoff 1991: 396], а в языке фиджи глагол с аналогичным значением развился в показатель, маркирующий **агенса** в пассивной конструкции ('X-ом, посредством X-а') [Lichtenberk 1991: 486]. В нескольких океанийских языках отмечено превращение глагола ВОЗВРАЩАТЬСЯ в показатель **рефлексива** [Lichtenberk 1991: 504]; в китайском языке бивербальная конструкция типа "V приходить V уходить" является средством выражения **реципрока** [Liu 1997].

Что же касается использования показателей, восходящих к глаголам движения, в качестве средств маркирования с и н т а к с и ч е с к о й з а в и с и м о с т и, то здесь следует упомянуть прежде всего превращение *лай* (*lái*) 'приходить' и *цюй* (*qù*) 'уходить' в показатели **целевого придаточного** в китайском языке [Горелов 1989: 179]. (В ряде китайских диалектов процесс грамматикализации *цюй* (или *чи*) прошел еще дальше, там этот глагол стал показателем инфинитива [Драгунов 1952: 123].)

(22) китайский [Драгунов 1952: 122]

Во	чу	мэнь	***цюй***	май	дяр	дунси.
я	покидать	дверь	**ЧТОБЫ**	купить	немного	вещь

Я вышел из дому, ***чтобы*** *кое-что купить.*

Аналогичный показатель (subordinating marker), оформляющий зависимую предикацию – прежде всего целевую – и восходящий к глаголу ИДТИ, имеется в языке рама [Craig 1991: 469–470].

Конструкции с глаголами ПРОХОДИТЬ (ЧЕРЕЗ) и ПЕРЕХОДИТЬ (ЧЕРЕЗ) являются распространенной моделью **сравнительной конструкции** во многих тайских языках. Эта сравнительная конструкция имеет вид "А большой превосходит (ПЕРЕХОДИТ или ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ) Б": за точку отсчета при описании некоторого свойства объекта Б принимается аналогичный признак у объекта А, и утверждается, что А этот признак свойственен в большей степени [Морев 1991: 175–176]. Ср.:

(23) маонан [Морев 1991: 176]

ng_2	$vong_1$	***taa_6***	fia_2.
ты	высокий	**ПРОХОДИТЬ. ЧЕРЕЗ**	я

Ты ***выше*** *меня.*

[20] Здесь следует заметить, что во многих из перечисленных языков пассивные конструкции с глаголом движения сосуществуют с другими пассивными конструкциями, прежде всего с глаголом "быть" (имеющими стативное значение): вероятно, конструкции с глаголами движения в таких случаях не являются чисто залоговыми, но связаны и с выражением определенных аспектуальных значений.

3.3 Нетривиальные случаи

Итак, в предыдущем разделе были охарактеризованы основные пути грамматикализации глаголов движения. Каждый такой путь, т.е. каждый случай эволюции конкретного глагола, имеет в качестве своего источника конструкцию с тем или иным глаголом движения; результатом является приобретение данной конструкцией грамматического значения из Универсального грамматического набора. (С формальной точки зрения, данная эволюция может сопровождаться также потерей показателем автономности, превращением его в клитику или аффикс и т.п.)

В идеальном случае грамматикализации мы имеем однозначное соответствие между лексемой-источником грамматикализации и результирующим значением, получаемым на выходе. Ситуации, близкие к идеалу, действительно встретились нам в ходе исследования (см., например, выше возможную универсалию (5) о пути грамматикализации глагола ВХОДИТЬ); в целом же, такой "идеальный" путь развития является скорее исключением, чем правилом. Гораздо чаще встречаются случаи, когда одна исходная лексическая единица совместима с несколькими различными итоговыми значениями: при этом, разные итоговые значения могут появляться в ходе ее грамматикализации не только в разных языках, но и в одном языке.

Во-первых, одна единица-источник грамматикализации может быть связана с несколькими итоговыми значениями, причем среди последних могут встречаться значения, относящиеся едва ли не к противоположным семантическим областям. Так, выше говорилось о том, что среди итоговых значений грамматикализации глаголов ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ имеются как значения, относящихся к перфективной аспектуальной области ("целостное" рассмотрение ситуации или введение в рассмотрение "переломного" – начального, конечного – ее этапа), так и показатели частных значений имперфективной зоны (обозначении срединной фазы развивающейся ситуации, обозначение длительной ситуации и пр.).

Такая ситуация наблюдается прежде всего среди глаголов, наиболее часто грамматикализующихся в языках мира и демонстрирующих наибольший разброс итоговых значений.

Ситуация столь сильного расхождения значений результатов грамматикализации близких по значению лексических единиц в разных языках (а иногда и в пределах одного) является, возможно, несколько неожиданной, но вполне объяснимой. Прежде всего, следует учитывать тот факт, что на вход грамматикализации поступают не лексические единицы как таковые, а конструкции с определенным значением[21]. Так, в случае будущего времени / проспектива мы имеем дело с исходными конструкциями, обозначающими приближение к цели ('идти к', 'приходить к'); напротив, в случае со значением "близкого прошлого" речь шла о конструкции со значением удаления ('приходить из').

Важно иметь в виду, что на одну и ту же ситуацию действительности можно взглянуть по-разному; при определенной точке зрения в наше рассмотрение попадает прежде всего тот или иной ее аспект. Перспектива рассмотрения каждой из ситуаций движения может быть различной[22], что обеспечивает разнообразие возможных переосмыслений, а следовательно, и результатов грамматикализации.

Во-вторых, возможен и обратный случай: две различные единицы-источники грамматикализации могут в качестве результата давать близкие, если не тождественные, значения[23].

---

[21] На это обстоятельство обращают внимание и авторы работы [Bybee et al. 1994: 11–12].

[22] Так, ситуация 'приходить' предусматривает, с одной стороны, нахождение субъекта вблизи к дейктическому центру, а с другой – его предшествующее нахождение вдали от дейктического центра; последнее обстоятельство объясняет, например, использование данного глагола в качестве показателя пространственной дистанции (см. выше).

[23] Данный случай подробнее рассматривается в [Майсак 1998].

Сам по себе тот факт, что "обычно язык располагает несколькими способами создать некоторую грамматическую категорию или заменить уже существующую" [Heine, Reh 1984: 113], хорошо известен. Среди рассмотренного нами материала, быть может, наиболее ярким примером является следующий: и н х о а т и в н о е значение в ходе грамматикализации приобретают конструкции с такими глаголами, как ИДТИ / УХОДИТЬ, ПРИХОДИТЬ, ВХОДИТЬ, ВЫХОДИТЬ, ПОДНИМАТЬСЯ[24].

Если же сравнить результаты грамматикализации глаголов ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ, обнаруживается, что для обоих глаголов среди итоговых значений встречаются: аспектуальные значения имперфективной области (градатив, дуратив, хабитуалис); комплетивное значение; значение будущего времени / проспектива; значение пространственной дистанции и значение гортатива; к тому же оба они используются в качестве средства выражения следования во времени и в пассивной конструкции.

Глаголы ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ выше характеризовались как д е й к т и ч е с к и е а н т о н и м ы: с точки зрения связанного с данными глаголами дейктического противопоставления, они описывают ситуации в каком-то смысле противоположные (удаление субъекта *от* vs. приближение *к* дейктическому центру). Но при этом семантические отношения, существующие между результатами грамматикализации, совсем не обязательно параллельны семантическим отношениям, существующим между лексемами-источниками грамматикализации; хотя, как правило, значения грамматикализующихся показателей всегда несут на себе "отпечаток", связанный с лексической семантикой исходной единицы [Hopper 1991: 22; Bybee et al. 1994: 15-17].

Наконец, в-третьих, о д и н г л а г о л д в и ж е н и я м о ж е т п р о х о д и т ь в о д н о м я з ы к е п о н е с к о л ь к и м п у т я м г р а м м а т и к а л и з а ц и и, давая в качестве выходов несколько показателей с разным значением. Пользуясь термином, предложенным в [Craig 1991], можно говорить об этом случае как о **полиграмматикализации** лексической единицы: в пределах одного языка определенная лексема (в составе нескольких конструкций) может параллельно участвовать в нескольких путях эволюции, превращаясь в показатели различных классов (например, глагольный vs. именной аффикс) и с различной семантикой.

Как и следовало ожидать, наиболее часто прохождение по нескольким путям грамматикализации глаголов встречается у глаголов ИДТИ и ПРИХОДИТЬ. Так например, в португальском языке глагол *ir* 'идти, уходить' входит в конструкцию с проспективным значением (*vai* || *ia* + *inf.*), в конструкцию со значением градатива (*vai* || *ia* + *gerúndio*), в конструкцию со значением нереализованной попытки в прошлом (*ia* + *a inf.*), а также образует аналитическую форму гортатива (*vamos* + *inf.*).

Любопытные примеры полиграмматикализации глаголов движения разбираются также в работах [Craig 1991; Lichtenberk 1991].

4. Заключение: некоторые перспективы

В заключение мы коснемся материала, который в силу различных обстоятельств остался за пределами настоящей работы, однако также представляет немалый интерес.

Очевидно, что в рамках такой задачи, как изучение процесса грамматикализации на примере слов определенной семантической группы, прежде всего требуется о п и с а н и е возможных типов эволюции конкретных лексических единиц. Обзор обнаруженных нами путей эволюции и был произведен выше.

Но одной лишь каталогизации смыслов, выражаемых при помощи конструкций с

[24] Не надо забывать и о том, что возможно также совпадение значений результатов грамматикализации у глаголов движения и других глаголов ('быть', 'стоять', 'лежать', 'брать', 'давать' и пр.).

глаголами движения, недостаточно: ведь если содержательно грамматикализация является особым типом семантических изменений, то необходимо понять, почему то или иное значение начинает выражаться при помощи конструкции с глаголом движения. Таким образом, осуществление поставленной задачи предусматривает поиск объяснения того, как возникает некоторое конкретное значение: например, на основании каких именно компонентов исходного лексического значения могло возникнуть данное грамматическое, каковы в каждом конкретном случае те пути переосмысления, которые лежат в основе приобретения той или иной конструкцией с глаголами движения определенного грамматического значения.

Необходимо понять, какие метафорические переносы лежат в основе переосмысления исходных пространственных конструкций, т.е. как мотивировано использование глаголов движения в качестве средств выражения тех или иных грамматических значений. (Ср. известный постулат "о мотивированности соотношения между смыслом и формой" в работе [Кибрик 1992: 25].)

Мы убеждены, что все пути грамматикализации глаголов движения (как и вообще пути семантических изменений) являются мотивированными. Вместе с тем, семантическая эволюция, являясь мотивированной, отнюдь не всегда происходит предсказуемым образом[25]. Выбор того или иного пути грамматикализации для конкретного глагола предсказуем, в лучшем случае, лишь в терминах большей / меньшей вероятности ("скорее всего, глагол V приобретет значение 'M'" или "одинаково вероятны такие варианты, как 'M_1', 'M_2', 'M_3'...").

Ограниченность возможных предсказаний о грамматикализации не раз обсуждалась типологами (ср. [Lichtenberk 1991: 504–505; Matisoff 1991: 445–447]). Дело в том, что связи, которые люди устанавливают между ситуациями и объектами действительности, отражают восприятие мира человеком, т.е. являются принципиально субъективными. В языковом значении отражаются не столько "объективные" свойства внешнего мира, сколько наше восприятие явлений действительности; в этом смысле языковое значение тоже субъективно. Каждая ситуация действительности включает в себя множество аспектов и может быть рассмотрена с различных точек зрения; это и определяет то разнообразие интерпретаций, с которым мы сталкиваемся в человеческом языке.

Кроме того, понятно, что исследование грамматикализации глаголов движения необходимо вести в рамках более общего изучения типологии процессов грамматикализации различных лексических единиц. Так, весьма продуктивным кажется подход "от грамматического значения к путям его грамматикализации", при котором рассматриваются все возможные источники возникновения той или иной грамматической категории. Данная проблематика в последние годы все больше привлекает внимание типологов: помимо уже упоминавшихся работ по грамматикализации будущего времени, здесь можно назвать исследования, посвященные значениям перфектива, перфекта, аориста, имперфектива и прогрессива, а также модальных значений (см. прежде всего [Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 1994], а также [Auwera. Plungian 1998]).

В конечном итоге, задачей исследователя процессов грамматикализации в языках мира является описание и объяснение пределов языковой вариативности, а также раскрытие тех свойств человеческого мышления, которые отражаются в лексической и грамматической структуре языка. Знакомство с новым языковым материалом может значительно пополнить ту картину, которая представлена в настоящей статье. Мы надеемся, что дальнейшее изучение процессов грамматикализации в языках мира позволит подтвердить сделанные нами обобщения, а также расширит наши представления о пределах языковой вариативности в целом.

---

[25] О мотивированности, но непредсказуемости языковой категоризации писал, в частности, Дж. Лакофф, см. [Лакофф 1988] и др.

Таблица

Пути грамматикализации глаголов движения

В колонках напротив каждого глагола представлены следующие цифры:

• в скольких из рассмотренных языков имеются случаи грамматикализации данного глагола;

• в скольких языках имеются случаи полиграмматикализации;

• число основных непространственных путей грамматикализации (в скобках указано общее число, включая пространственные и маргинальные пути);

• приобретенные в ходе грамматикализации значения: для наиболее частотных путей развития (представленных более 10-ю языками) приводится процент от числа языков, указанных во 2-й колонке; в скобках указываются единичные случаи грамматикализации).

Знаком "//" разделяются значения, которые могут совмещаться в языке у одной и той же конструкции.

Разъяснение значения терминов, используемых в таблице, читатель найдет в тексте статьи.

Глагол	*число языков*	*полиграмматикализация*	*число путей*	*значения*
ИДТИ/УХОДИТЬ	≈95 (86%)	≈20 (21%)	7 (11)	'туда' (удаление) пространств.дистанция проспектив // будущее время (21%) градатив, дуратив, хабитуалис (21%) комплетив (16%) императив // гортатив пассив инхоатив следование (нереальная ситуация, маркер целевого придаточного)
(УХОДИТЬ)	4	–	1	инхоатив // комплетив
ПРИХОДИТЬ	≈80 (73%)	≈20 (25%)	8 (13)	'сюда' (приближение) пространств.дистанция градатив, дуратив, хабитуалис (33%) проспектив // будущее время (17,5%) комплетив, инхоатив время (17,5%) прошедшее время, "ретроспектив" возможная ситуация гортатив пассив следование (маркер целевого придаточного, рефактив, бенефактив)
ХОДИТЬ (+ БРОДИТЬ)	16 (14,5%)	2 (12,5%)	1 (3)	дуратив // хабитуалис (87,5%) (проспектив, прохибитив)

Таблица (окончание)

Глагол	*число языков*	*полиграм-матика-лизация*	*число путей*	*значения*
ПОДНИМАТЬСЯ	3 (3%)	–	1 (3)	'вверх' инхоатив (комплетив)
СПУСКАТЬСЯ	10 (9%)	1 (10%)	1 (3)	'вниз' интенсив // аттенуатив // моментальность (комплетив)
ВХОДИТЬ	5 (4,5%)	–	1 (3)	'внутрь' инхоатив (комплетив)
ВЫХОДИТЬ	10 (9%)	–	2 (3)	'изнутри' комплетив инхоатив
ПРОХОДИТЬ, ПЕРЕХОДИТЬ	15 (14%)	2 (13%)	3 (5)	'мимо, через' экспериенциальное значение комплетив сравнение (комитативный способ действия: 'заодно, попутно')
ВОЗВРАЩАТЬСЯ	15 (14%)	2 (13%)	1 (3)	'обратно' рефактив (93,3%) (рефлексив)
СЛЕДОВАТЬ	4 (4%)	–	1	континуатив

Примечание: Написание ИДТИ/УХОДИТЬ через слэш принято в связи с тем, что в большинстве из рассмотренных нами языков не противопоставляются "чистый" глагол движения (типа русск. *идти*) и глагол, обозначающий удаление от дейктического центра (типа русск. *уходить*). Во второй строке таблицы приводятся данные для случаев грамматикализации тюркского *кет-/кит-/гет-* 'уходить' для языков, в которых отмечена также конструкция с *бар-* 'идти, уходить'. По аналогичным соображениям в одну группу были объединены глаголы ПРОХОДИТЬ и ПЕРЕХОДИТЬ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Агбоджо К.О., Литвинов В.П. 1992 – Повелительные предложения в эве // Типология императивных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. Л., 1992.

Аксенова И.С. 1997 – Категории вида, времени и наклонения в языках банту. М., 1997.

Алисова Т.Б., Муравьева Г.Д., Черданцева Т.З. 1982 – Итальянский язык. М., 1982.

Алпатов В.М. (рукопись) – Вспомогательные глаголы приближения и удаления [в японском языке].

Андронов М.С. и др. 1979 – Каннада-русский словарь. М., 1979.

Антонян К.В. 1997 – Семантика глагольного дополнительного элемента *shang*: от лексических значений к грамматическим // Глагольная префиксация в русском языке (сборник статей). М., 1997.

Апресян Ю.Д. 1995а – Лексическая семантика. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995б – Лексикографический портрет глагола ВЫЙТИ // *Апресян Ю.Д.* Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Битехтина Г.А., Юдина Л.П. 1985 – Система работы по теме "Глаголы движения". М., 1985.

Бондарко А.В. 1990 – Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
Быстров И.С., Станкевич Н.В. 1992 – Повеление во вьетнамском языке // Типология императивных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. Л., 1992.
Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. 1980 – Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. М., 1980.
Володин А.П., Храковский В.С. 1986 – Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.
Вольф Е.М., Никонов Б.А. 1967 – Португальский язык. М., 1967.
Горгониев Ю.А. 1984 – Кхмерско-русский словарь. М., 1984.
Горелов В.И. 1984 – Лексикология китайского языка. М., 1984.
Горелов В.И. 1989 – Теоретическая грамматика китайского языка. М., 1989.
ГСБЯ 1981 – Грамматика современного башкирского литературного языка. М., 1981.
ГХЯ 1975 – Грамматика хакасского языка. М., 1975.
Дзенит С.Я., Гуров Н.В. 1972 – Краткий грамматический очерк языка телугу // Телугу-русский словарь. М., 1972.
ДНЯ 1999 – Языки мира: Дардские и нуристанские языки. М., 1999.
Дорофеева Л.Н. 1960 – Язык фарси-кабули. М., 1960.
Драгунов А.А. 1952 – Исследования по грамматике современного китайского языка. Т. 1. Части речи. М. – Л., 1952.
Иоанесян Е.Р. 1990 – Понятие перспективы в семантическом описании глаголов движения // ВЯ. 1990. № 1.
Исаченко А.В. 1960 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. 2. Братислава, 1960.
Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. 1961 – Грамматика тувинского языка. М., 1961.
Катенина Т.Е. 1960 – Язык хинди. М., 1960.
Катенина Т.Е. 1963 – Язык маратхи. М., 1963.
Кибрик А.Е. 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
Князев Ю.П. 1983 – Результатив, пассив и перфект в русском языке // Типология результативных конструкций / Под ред. В.П. Недялкова. Л., 1983.
Копорская Е.С. 1996 – "Семантический архетип" глаголов физического движения в его отношении к строению глагольного класса // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.
Кронгауз М.А. 1998 – Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика М., 1998.
Лакофф Дж. 1988 – Мышление в зеркале классификаторов // НЗЛ. Вып. XXIII. М., 1988.
Лакофф Дж., Джонсон М. 1990 – Метафоры, которыми мы живем (главы I–VI) // Теория метафоры. М., 1990.
Левинтова Э.И., Вольф Е.М. 1964 – Испанский язык. М., 1964.
Липеровский В.П. 1984 – Глагол в языке хинди. М., 1984.
Майсак Т.А. 1998 – Совпадение результатов грамматикализации при различии источников (на материале глаголов движения) // Труды Международного семинара "Диалог '98" по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Казань, 1998.
Малыгина Л.В. 1992 – Повелительные предложения в современном иврите // Типология императивных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. Л., 1992.
Маслов Ю.С. 1983 – Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций / Под ред. В.П. Недялкова. Л., 1983.
Маянц В.А. 1982 – Лексическое выражение некоторых грамматических значений в языке йоруба // Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 3. М., 1982.
Мельчук И.А. 1997 – Курс общей морфологии. Т. I. Введение. Часть 1: Слово. М.; Вена, 1997.
Мельчук И.А. 1998 – Курс общей морфологии. Т. II .Часть 2: Морфологические значения. М.; Вена, 1998.
Морев Л.Н. 1991 – Сопоставительная грамматика тайских языков. М., 1991.
Недялков В.П. 1987 – Начинательность и средства ее выражения в языках разных типов // Теория функциональной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
Никонов Б.А. 1981 – Грамматика португальского языка. М., 1981.

ОИТИИЯ 1975 – Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 2. Эволюция грамматических категорий. М., 1975.
ОИЯ 1982 – Основы иранского языкознания. Кн. 3. Новоиранские языки: западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
ОИЯ 1987 – Основы иранского языкознания. Кн. 4. Новоиранские языки: восточная группа. М., 1987.
ОИЯ 1991 – Основы иранского языкознания. Кн. 5. Новоиранские языки: северо-западная группа. Ч. 1. М., 1991.
Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.
Падучева Е.В. 1998 – Неоднозначность как следствие метонимических переносов: русский перфект на *-н-/-т-* // Типология. Грамматика. Семантика. СПб., 1998.
Панфилов В.С. 1993 – Грамматический строй вьетнамского языка. СПб., 1993.
Петруничева З.Н. 1960 – Язык телугу. М., 1960.
Плунгян В.А. 1997 – Вид и типология глагольных систем // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / Под ред. М.Ю. Чертковой. Т. 1. М., 1997.
Плунгян В.А., 1998а – Перфектив, комплетив, пунктив: терминология и типология // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998.
Плунгян В.А, 1998б – Проблемы грамматического значения в современных морфологических теориях (обзор) // Семиотика и информатика. Вып. 36. 1998.
Плунгян В.А. 1998в – Грамматические категории, их аналоги и заместители. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1998.
Полинская М.С. 1992 – Императив и другие способы выражения повеления к действию в языке маори // Типология императивных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. Л., 1992.
Рожанский Ф.И. 1992 – Глагольные конструкции с пространственными аргументами. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1992.
Смирнова М.А. 1960 – Язык хауса М., 1960.
СТЛЯ 1969 – Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология. М., 1969.
Сумбатова Н.Р. 1994 – Грамматикализация глагольного синтаксиса. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1994.
Убрятова Е.И. 1985 – Язык норильских долган. Новосибирск, 1985.
Харитонов Л.Н. 1960 – Формы глагольного вида в якутском языке. М.-Л., 1960.
Храковский В.С. 1987 – Семантика фазовости и средства ее выражения // Теория функциональной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
Юлдашев А.А. 1965 – Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965.
Яхонтов С.Е. 1957 – Категория глагола в китайском языке. Л., 1957.
van der Auwera J., Plungian V.A. 1998 – Modality's semantic map // Linguistic typology. 1998. № 2.
Bybee J. 1985 – Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
Bybee J., Dahl Ö. 1989 – The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // Studies in language 13, 1. 1989.
Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. 1994 – The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
Comrie B. 1976 – Aspect. Cambridge, 1976.
Comrie B. 1985 – Tense. Cambridge, 1985.
Craig C. 1991 – Ways to go in Rama: a case study in polygrammaticalization // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 2. Amsterdam, 1991.
Dahl Ö. 1985 – Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
Emanatian M. 1992 – Chagga 'COME' and 'GO': metaphor and the development of tense-aspect // Studies in language 16, 1.1992.
Fleischman S. 1982 – The future in thought and language: diachronic evidence from Romance. Cambridge, 1982.
Givón T. 1991 – Serial verbs and the mental reality of event: grammatical vs. cognitive packaging // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam, 1991.
Greenberg J.H. 1991 – The last stages of grammatical elements: contractive and expansive de-

semantization // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam, 1991.

Heine B., Claudi U., Hünnemeyer F. 1991 – Grammaticalization: a conceptual framework. New York, 1991.

Heine B., Reh M. 1984 – Grammaticalization and reanalysis in African languages. Hamburg, 1984.

Hook P.E. 1991 – The emergence of perfective aspect in Indo-Arian langages // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 2. Amsterdam, 1991.

Hopper P.J. 1991 – On Some Principles of Grammaticization // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam, 1991.

Hopper P.J., Traugott E.C. 1993 – Grammaticalization. Cambridge, 1993.

Keesing R.M. 1991 – Substrates, calquing and grammaticalization in Melanesian pidgin // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam, 1991.

Krishnamurti Bh., Gwynn J.P.L. 1985 – A grammar of modern Telugu. Delhi, 1985.

Lehmann Ch. 1982 – Thoughts on grammaticalization: A programmatic sketch. Köln, 1982 (2nd ed.: München, 1995).

Lichtenberk F. 1991 – Semantic change and heterosemy in grammaticalization // Language. V. 67. № 3. 1991.

Liu M. 1997 – Reciprocal reading with deictic verbs 'COME' and 'GO' in Mandarin (доклад, представленный на Симпозиуме по рефлексивам и реципрокам, август 1997).

Macaulay M. 1996 – A grammar of Chalcatongo Mixtec. University of California Press, 1996.

Matisoff J.A. 1991 – Areal and universal dimensions of grammatization in Lahu // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 2. Amsterdam. 1991.

Ramat P. 1992 – Thoughts on degrammaticalization // Linguistics 30. 1992.

Rojo G. 1974 – Perífrasis verbales en el gallego actual. Universidad de Santiago de Compostela, 1974.

Spencer H. 1950 – A Kanarese grammar. Mysore City, 1950.

Talmy L. 1975 – Semantics and syntax of motion // Syntax and semantics. V. 4. 1975.

Talmy L. 1985 – Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms // Language typology and syntactic description. V. 3: Grammatical categories and the lexicon / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985.

Traugott E.C. 1978 – On the expression of spatio-temporal relations in language // Universals of human language. V. 3. Word structure / Ed. by J.H. Greenberg. Stanford University Press, 1978.

Traugott E.C., Heine B. 1991 – Introduction // Traugott E.C., Heine B. (Eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam. 1991.

Traugott E.C., Heine B. (Eds.) 1991 – Approaches to grammaticalization. V. 1–2. Amsterdam, 1991.

Ultan R. 1978 – The nature of future tenses // Universals of human language. V. 3. Word structure / Ed. by J.H. Greenberg. Stanford University Press, 1978.

Wilkins D.P., Hill D. 1995 – When "go" means "come": Questioning the basicness of basic motion verbs // Cognitive Linguistics 6-2/3. 1995.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. Ю.Н. ПАНОВА

ФОРМА БУДУЩЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ: ЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ*

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья посвящена проблеме распределения различных модально-временных форм глагола современного персидского языка в конструкциях, описывающих будущие ситуации. Наряду с формой настояще-будущего времени изъявительного наклонения и формами сослагательного наклонения, которые могут описывать как ситуации, относящиеся к настоящему времени, так и те ситуации, которые в момент речи еще не имеют места, в персидском языке имеется также специальная форма, употребляемая только для описания будущих ситуаций[1]. В традиционной грамматике персидского языка ее принято называть формой будущего категорического времени.

В данной работе мы будем называть форму будущего категорического времени также "формой с *xâhad* ", а форму настояще-будущего времени – "формой на *mi-*". Такие условные обозначения выбраны в соответствии со способом образования указанных форм: форма будущего категорического времени включает вспомогательный глагол, состоящий из основы настоящего времени глагола *xâstan* "хотеть", к которой присоединяются личные окончания, и инфинитную форму основного глагола, образующуюся от основы прошедшего времени с помощью нулевого суффикса; форма настояще-будущего времени состоит из префикса *mi-*, основы настоящего времени основного глагола и личных окончаний. Использование для образования формы будущего времени вспомогательного глагола, восходящего к глаголу "хотеть", отнюдь не является уникальной особенностью персидского языка. Напротив, как неоднократно отмечалось в типологической литературе (см., например, [Comrie 1985: 45; Heine, Reh 1984: 131]), развитие форм будущего времени из волитивных и дезидеративных конструкций представляет собой один из наиболее распространенных путей грамматикализации форм будущего времени.

Использование для обозначения будущих ситуаций наряду со специальной формой будущего времени форм презенса, или настояще-будущего времени, характерно для многих языков, например, для английского, немецкого, финского, турецкого, русского и др. Очевидно, что одной темпоральной характеристики недостаточно для описания различия между значениями данных форм. Это различие может относиться к сфере

* Автор выражает глубокую признательность О.А. Хадарцеву, внесшему существенный вклад в работу над статьей, а также В.И. Подлесской, высказавшей ценные критические замечания.

[1] Для описания будущих ситуаций в контексте ряда модальных слов, выражающих оценку вероятности, и в некоторых типах придаточных предложений может использоваться также форма так называемого простого прошедшего времени. Однако мы не будем рассматривать ее в настоящей работе, потому что, во-первых, значение данной формы еще недостаточно исследовано и, во-вторых, при описании ситуаций в будущем данная форма заменима на форму сослагательного наклонения.

модальности, аспекта, временной удаленности и др. Так, например, в русском языке, как было показано в [Гловинская 1989: 82], условием употребления формы настоящего времени несовершенного вида для описания будущих ситуаций, в отличие от форм будущего времени, является а) запланированность этих ситуаций и б) оценка времени осуществления этих ситуаций как близкого будущего.

До сих пор форма будущего категорического времени не становилась предметом специального исследования – ей посвящались лишь небольшие разделы в грамматиках, очерках и учебниках персидского языка. При этом анализу прототипической сферы употребления данной формы уделялось недостаточно внимания и точного определения ее значения не давалось.

Целью данной статьи является определение тех типов семантического контекста, появление рассматриваемой формы в которых а) наиболее частотно и б) наиболее вероятно. По нашим наблюдениям, употребление формы будущего категорического времени непосредственно связано с модальной характеристикой предложения, а именно – со знанием субъекта пропозициональной установки об описываемой ситуации. В статье предпринимается попытка определения прототипических функций рассматриваемой формы, а также ее места в ряду других глагольных форм, выражающих различные виды модальности пропозиции.

1. ТРАДИЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ФУНКЦИИ ФОРМЫ БУДУЩЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

В иранистике нет единого мнения о значении и сфере употребления формы будущего категорического времени. Так, во многих источниках о ней говорится как о форме, выражающей значение будущего времени без каких бы то ни было дополнительных оттенков (см. [Бертельс 1932: 66; Расторгуева 1960: 638; Шарова, Мамед-Заде, Левковская 1973: 197] и др.). Тем не менее, как неоднократно отмечалось в иранистической литературе, форма будущего категорического времени употребляется далеко не во всех случаях, когда для обозначения будущего возможно употребление формы настояще-будущего времени. В то же время различие в сферах употребления данных форм представляет собой предмет разногласий среди иранистов.

Так, в одном из учебников персидского языка (см. [Овчинникова 1956: 170]) высказывается точка зрения, согласно которой форма будущего категорического времени употребляется главным образом для того, чтобы показать, что ситуация относится к будущему, а не к настоящему, в тех случаях, когда контекст или конситуация недостаточно точно указывают на это. Однако наличие указания на отнесенность ситуации к будущему не налагает каких бы то ни было ограничений на употребление рассматриваемой формы, вследствие чего определение ее прототипической функции только как выражения отнесенности описываемой ситуации именно к будущему вряд ли может быть признано продуктивным.

Иранистами часто высказывается мнение о том, что одним из различий между формами будущего категорического и настояще-будущего времени является их стилистическая принадлежность. Действительно, в современном персидском языке первая из указанных форм в разговорной речи употребляется значительно реже, чем в книжной (см., например, [Пейсиков 1960: 75]), хотя и не исключена возможность ее использования в ситуации повседневного общения. В качестве иллюстрации употребления формы будущего категорического времени в разговорной речи можно привести следующую ситуацию, свидетелем которой пришлось стать автору настоящей статьи.

Иранец, собираясь на прием и будучи весьма обеспокоен тем, что не имел возможности погладить сорочку, спрашивает у своего друга[2]:

(1)	*–Eyb-i nadâre*	*ke*	*pirâhan-am*	*čoruk*	*šode?*
	– Ничего страшного	SUB	рубашка-PRON:1SG	мятый	становиться:PERF3SG

[2] Список условных обозначений приводится в конце статьи.

– *Na,*	*zir-e*	*kot*	*dide*	*nemiše.*
– Нет	под-IZAF	пиджак	увиденный	NEG:становиться:PRES:3SG
– *Dide*		*naxâhad šod?*		
– Увиденный		NEG:становиться:FUT:3SG		

"– Ничего, что моя рубашка мятая?
– Ничего, под пиджаком не будет видно.
– [Точно] не будет видно?"

Таким образом, большинство иранистов полагает, что в случае, когда описывается ситуация в будущем, какие-либо семантические ограничения на употребление формы с *xâhad* отсутствуют, при этом "категоричность" данной формы понимается как ее способность выражать только будущее время. Наиболее эксплицитно эта точка зрения представлена в [Миколайчик 1980: 136], где утверждается, что «наличие в названии этой формы определения "категорическое" не означает присутствия в ее семантике соответствующего модального признака».

В отдельных описаниях грамматики персидского языка, в том числе в ряде работ иранских авторов [Ahmadi Givi, Anvari 1996: 45; Lambton 1953: 154; Рубинчик 1985: 832], в рамках определения основных функций формы будущего категорического времени отмечается способность данной формы выражать обязательность осуществления действия в будущем. Однако при этом не уточняется, с чьей точки зрения осуществление описываемой ситуации обязательно, а случаи, в которых эта обязательность неочевидна, не рассматриваются. Кроме того, признавая наличие в толковании рассматриваемой формы компонента обязательности, авторы указанных работ оставляют без внимания вопрос о модальном характере данного компонента.

Ниже, учитывая предложенные в иранистической литературе описания условий употребления и функций рассматриваемой формы, мы попытаемся максимально точно определить ее прототипическое значение в терминах как темпоральной, так и модальной характеристики содержащей ее пропозиции, а также обосновать наше предположение, заключающееся в том, что основным параметром, по которому форма с *xâhad* противопоставлена другим формам, описывающим будущие ситуации, является эпистемический статус пропозиции.

2. ЗНАЧЕНИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

Эпистемический статус пропозиции традиционно описывается в истинностных терминах. Однако в последнее время лингвистами все чаще предлагается определять этот параметр в когнитивных и/или когнитивно-коммуникативных терминах (см., например, [Подлесская 1995; Givón 1994]). Так, прагматический признак знания говорящего о ситуации позволяет выделять три значения эпистемического статуса:

- РЕАЛЬНЫЙ – говорящий знает, что описываемая ситуация имела/имеет/будет иметь место;
- КОНТРФАКТИВНЫЙ – говорящий знает, что описываемая ситуация не имела/не имеет/не будет иметь место;
- ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ – говорящий не знает, имела ли/имеет ли/будет ли иметь место описываемая ситуация.

Следует заметить, что определяемый таким образом эпистемический статус не элементарен, но базируется на двух признаках: знания/незнания говорящего об описываемой ситуации и соответствия/несоответствия этой ситуации реальному положению дел с точки зрения говорящего. Аргументом в пользу такого решения может быть то, что реальный и контрфактивный статусы не противопоставлены друг другу по признаку известности описываемой ситуации для говорящего, но, напротив,

принимают одно и то же значение данного признака. Далее мы будем рассматривать только признак знания/незнания говорящего об описываемой ситуации.

Как неоднократно отмечалось в лингвистической литературе ([Дмитровская 1988; Арутюнова 1987] и др.), точность знания может быть различной: знания, приобретенные перцептивным путем, и в первую очередь путем зрительного восприятия, обладают более высокой степенью точности, чем знания, полученные на основании логического вывода, и т.д.[3] Таким образом, признак знания также может рассматриваться как градуальный. Следовательно, лексико-грамматические средства различных языков могут по-разному членить шкалу знания. Сверх того, в языке может быть грамматикализована и более мелкая градация рассматриваемого признака.

Мы попытаемся показать, что данные персидского языка позволяют выделить на множестве будущих ситуаций три значения эпистемического статуса:

1 – точное знание говорящего об описываемой ситуации;

2 – неточное знание говорящего об описываемой ситуации;

3 – отсутствие знания говорящего об описываемой ситуации.

Прототипическим средством выражения значения 1 эпистемического статуса является форма с *xâhad*, наряду с которой могут быть употреблены такие модальные слова как *hatman* "непременно", *lâbod* "непременно", *bišakk* "несомненно", *albatte* (ke) "разумеется", *mosallaman* "конечно", *ma'lum-ast/ma'lum bud* "очевидно/было очевидно", *peydâ-st/peydâ bud* "ясно/ было ясно" и др. В конструкциях с данным значением эпистемического статуса предикат может принимать форму на *mi-*, сопровождаясь вышеперечисленными лексическими средствами.

(2) *Agar* *kešti-ye* *mâ* *bâ* *yek-i* *az*
Если корабль–IZAF мы с один–ART из
in *kuhhâ-ye* *yax-e* *šenâvar*
этот гора–IZAF лед–IZAF плавучий
tasâdof konad, *če* *ettefâq-i*
сталкиваться:CONJ:3SG что происшествие–ART
ruy midehad? *–Dar* *ân* *surat*
случаться:PRES:3SG В тот случай
kuh-e *yax* *hamčenân* *be* *harakat-e*
гора–IZAF лед так же к движение–IZAF
xod *edâme xâhad dâd*
свой продолжать:FUT:3SG **[LLB:109]**

"Что произойдет, если наш корабль столкнется с одним из этих айсбергов? – В таком случае айсберг поплывет дальше".

(3) *Arusi-râ* *dar* *kodâm* *hotel* *migirid?*
Свадьба–DOBJ в какой отель праздновать:PRES:2PL
–Arusi-râ *nemidânam* *vali* *bâ* *in* *tartib* *ke*
свадьба–DOBJ NEG:знать: PRES:1SG но с такой порядок SUB
šomâ *dârid piš miravid* *majles-e*
вы вести себя:PRES:ACT:2PL собрание–IZAF
pâgošâ-râ *hatman*
послесвадебное посещение дома родственников–DOBJ непременно
dar *zendân* *xâhim gereft.*
в тюрьма праздновать:FUT:1PL **[LLB: 19]**

"Где вы будете праздновать свадьбу? – Свадьбу – не знаю, но при том, как вы себя ведете, первое посещение дома родственников мы непременно будем праздновать в тюрьме".

---

[3] Допущение различной степени точности знания позволяет, в частности, говорить о знании по отношению к событиям в будущем (о возможности знания о будущем см. [Зализняк 1985; 1987]).

(4) *Fardâ* *hatman* *barrehâ–vo*
Завтра непременно ягнята и
bozqâlehâ *bâ* *parvânehâ-vo* *golhâ*
козлята с бабочки и цветы
bâzi mikonand.
играть:PRES:3PL **[SK: 12]**

"Завтра ягнята и козлята непременно будут играть с бабочками и цветами".

Средством выражения неточного знания является форма на *mi-*, которая также может сопровождаться модальными словами, выражающими оценку говорящим вероятности описываемой ситуации, такими как *mesl-e in ke* "вроде бы", *be ehtemâl-e qavi* "по всей вероятности", *be ehtemâl-e ziyâd* "по всей вероятности" и др.:

(5) *Mesl-e in ke* *miâyad.*
Вроде бы приходить:PRES:3SG
"Он вроде бы придет".

Для выражения значения 3 эпистемического статуса используются формы сослагательного наклонения в сочетании с модальными словами *šâyad* "возможно", *momkenast/momken bud* "может быть: Pres/Past", *emkân dârad/emkân dâšt* "может быть: Pres/Past", *ehtemâl miravad/ehtemâl miraft* "вероятно: Pres/Past" и др.:

(6) *...va* *šâyad,* *ki* *midânad,*
...и возможно кто знать:PRES:3SG
čand *doxtar* *ham* *âšeq-e*
несколько девушка даже влюбленный–IZAF
delxaste-ye *češm-o* *abru-ye*
с разбитым сердцем–IZAF глаз и бровь–IZAF
siyâh-e *u* *bešavand!*
черный-IZAF он становиться: CONJ:3PL **[SR:84]**

"... и кто знает, возможно, несколько девушек даже страстно влюбятся в его черные глаза и брови".

Следует заметить, что при одном и том же значении темпорального статуса сферы употребления форм настояще-будущего и будущего категорического времени не совпадают. Так, в примере (5), содержащем выражение *mesl-e in ke* "вроде бы", замена формы настояще-будущего времени на форму будущего категорического невозможна. Следовательно, основное различие между формой с *xâhad* и формой на *mi-* не может быть определено как различие в выражаемом ими значении темпорального статуса.

Распределение грамматического маркирования между различными значениями эпистемического статуса в конструкциях, описывающих будущие ситуации, можно отразить в таблице (7).

(7)	Точное знание говорящего об описываемой ситуации	Форма с *xâhad* или форма на *mi-* (+ модальные слова)
	Неточное знание говорящего об описываемой ситуации	Форма на *mi-* (+ модальные слова)
	Отсутствие знания говорящего об описываемой ситуации	Формы сослагательного наклонения + + модального слова

Таким образом, форма с *xâhad* позволяет противопоставить значение 1 эпистемического статуса, соответствующее максимально точному знанию говорящего об описываемой ситуации, всем остальным значениям эпистемического статуса.

3. СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМЫ БУДУЩЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Сфера употребления рассматриваемой формы определяется ее прототипической функцией – обозначение ситуации, в осуществлении которой в будущем говорящий не сомневается.

Точное знание говорящего об описываемой ситуации возможно в следующих случаях:

а) говорящий намерен совершить действие, причем он считает себя в состоянии контролировать его осуществление:

(8) *Man tâ be hâl inqadr sekke-ye*
Я до к сейчас столько монета–IZAF
talâ yekjâ nadide-am,
золото в одном месте NEG:видеть PERF:1SG
vali lotf-o safâ-ye
но доброта и чистосердечность–IZAF
to ma-râ az anjâm-e
ты я–DOBJ от совершение–IZAF
har kâr-i bâz midârad
любой поступок–ART удерживать:PRES:3SG
Borow! Man hargez be ru-ye
идти:IMV я никогда к перед–IZAF
javân-i mesl-e to šamšir
юноша–ART подобно:IZAF ты меч
naxâham kešid.
NEG:вынимать:FUT:1SG **[Q5: 17]**

"Я до сих пор не видел столько золотых монет сразу, но твоя доброта и чистосердечность не позволяет мне причинить тебе зло. Ступай! Я никогда не подниму меч на такого юношу, как ты".

б) говорящему известны факты, на основании которых он может сделать заключение о том, что описываемая ситуация будет иметь место:

(9) *Extiyâr dârin, âqâ, man bâyad*
Что вы господин я должен
az šomâ ma'zerat bexâham,
от вы прощение просить:CONJ:1SG
čun tâ čand daqiqe-ye
поскольку до несколько минута–IZAF
digar majbur xâhid šod
еще вынужденный становиться:FUT:2PL
ân kâr-râ dar haqq-e
тот поступок–DOBJ по отношению–IZAF
man tekrâr konid.
я повторять:CONJ:2PL **[LLB: 90]**

"Ну что вы, господин, это я должен перед вами извиниться, поскольку через несколько минут вам придется снова проделать это со мной".

Высказывание (9) сделано посетителем ресторана, который, будучи однажды выгнанным из этого заведения за неоплаченный обед, спустя год снова пришел туда без денег. Плотно пообедав, он заявил владельцу ресторана, что в прошлый раз тот вышвырнул его на улицу. В ответ владелец начал извиняться. В данной ситуации перцептивно полученное знание о том, как владелец этого ресторана поступает с посетителями, не оплатившими счет, позволяет говорящему сделать вывод о том, что описываемая ситуация непременно будет иметь место.

Если в высказывании (9) информация о знании говорящего может быть почерпнута лишь из более широкого контекста, то в примере (10) содержится предикат, эксплицитно указывающий на приобретение такого знания:

(10) *Vali* *šam'-e* *emsâli,* *Bâbâ Sâleh*
Но свеча–IZAF этого года Баба Салех

hesâb karde bud, *ke* *agar*
подсчитывать:PPERF:3SG SUB если

dâeman *besuzad,* *tâ* *fardâ*
беспрерывно гореть:CONJ:3SG до завтра

asr *ham* *tah naxâhad kešid.*
вечер даже NEG:кончаться:FUT:3SG **[DB: 100–101]**

«Баба Салех подсчитал, что свеча, сделанная в этом году, если будет беспрерывно гореть, не закончится даже завтра вечером».

Предметом знаний, позволяющих говорящему делать вывод о непременности осуществления тех или иных событий в будущем, может быть их запланированность, предполагающая, что эти события обязательно произойдут в рамках заданной картины мира, – в том числе мира, созданного в воображении:

(11) *Xub* *yâd-am-ast* *ke*
Хорошо память–PRON:1SG–COP:3SG SUB

u *dar* *ketâb-e* *xod* *ke*
он в книга–IZAF свой SUB

be *nâm-e* *towhid* *bud*
под название–IZAF «тоухид» быть : PAST : 3SG

darre-i *farz karde bud* *ke*
долина–ART придумывать:PRERF:3SG SUB

harče *az* *dâmane-ye* *kuh-e*
чем от подножие–IZAF гора–IZAF

moqâbel-e *ân* *bâlâtar*
противоположный–IZAF тот выше

beravim, *ofoq-e* *nazar-emân*
идти:CONJ-1PL горизонт–IZAF взгляд–PRON : 1PL

dar *in* *dašt* *vasi'tar*
в этот долина шире

xâhad šod…
стать:FUT:3SG **[DB: 168]**

«Я хорошо помню, что в книге под названием "Тоухид" он описывал такую [выдуманную им] долину, что чем выше мы поднимемся по горе, что напротив нее, тем шире будет поле нашего зрения».

в) говорящий верит в осуществление описываемой ситуации, что не предполагает наличия каких-либо фактов, способных служить основанием для вывода о том, что ситуация будет иметь место:

(12) *Har* *če* *az* *ruz-e azal*
Каждый что в день определения судеб

be *pišâni-ye* *šomâ* *nevešte bâšand,*
на лоб–IZAF вы писать:CONJPERF:3PL

hamân-râ *xâhid dâšt.*
то самое–DOBJ иметь:FUT:2PL **[DB: 164]**

«Все, о чем бы ни написали у вас на лбу в день определения судеб, то с вами и случится».

Несмотря на то что конструкции, содержащие предикат в форме будущего категорического времени, могут выражать уверенность субъекта пропозициональной установки в том, что ситуация будет иметь место, по-видимому, в значение рассматриваемой формы не следует включать компонент уверенности, так как уверенность, как было показано в [Лауфер 1993], – это прежде всего эмоциональное состояние субъекта пропозициональной установки. Предикат, в значение которого входит компонент уверенности, всегда находится в коммуникативном фокусе, в то время как предикация, содержащая форму с *xâhad* может вводить фоновую информацию. Так, в примере (13) в коммуникативном фокусе находится ментальное и эмоциональное состояние субъекта пропозициональной установки, при этом описываемая зависимой предикацией ситуация, осуществление которой не вызывает у него сомнений, является данным:

(13) *Qalb-aš* *mizad* *va*
Сердце–PRON:3SG биться:IMPF:3SG и
hame-aš *be* *fekr-e* *avvalin*
весь–PRON:3SG в мысль–IZAF первый
barxord-i *bud* *ke*
встреча–ART быть:PAST:3SG SUB
bâ *Golbebu* *xâhad kard.*
с Гольбебу делать:FUT:3SG **[SR: 71]**

«Сердце ее билось, и она все время была в мыслях о том, как она первый раз встретится с Гольбебу».

Уверенность как эмоциональное состояние субъекта пропозициональной установки, в случае если возникает необходимость подчеркнуть ее, может быть эксплицирована с помощью отдельной предикации, для чего используются глаголы *etminân dâštan* «иметь уверенность», *motmaen budan* «быть уверенным», *bâvar* «верить», *imân dâštan* «верить, быть уверенным» и др., см. *kardan,* например, (14).

(14) *Zarrinkolâh* *etminân-e* *kâmel*
Зарринколах уверенность–IZAF полный
dâšt *ke* *porsânporsân*
иметь:PAST:3SG SUB спрашивая
Golbebu-râ *peydâ xâhad kard* *va*
Гольбебу–DOBJ находить:FUT:3SG и
qalb-aš *meyl-o* *ehsâsât-aš*
сердце–PRON:3SG желание и предчувствия–PRON:3SG
be *u* *migoft* *ke* *be*
к она говорить:IMPF:3SG SUB к
maqsud-aš *xâhad rasid,* *in*
цель–PRO : N3SG достигать:FUT:3SG этот
meyl-o *farâsat-e* *tabi'i* *ke*
желание и интуиция врожденная SUB
hičvaqt *u-râ* *gul nazade bud.*
никогда она–DOBJ NEG:обманывать:PPERF:3SG **[SR: 68]**

«Зарринколах была абсолютно уверена в том, что, спрашивая [у каждого встречного], она найдет Гольбебу; ее сердце и интуиция говорили ей, что она добьется своего – та [самая] врожденная интуиция, которая никогда ее не обманывала».

Форма с *xâhad* может употребляться для выражения точного знания говорящего о ситуации с целью убеждения собеседника, что имеет место, в частности, в контексте речевого акта обещания. Сама ситуация обещания предполагает недоверие со стороны адресата, и поэтому у говорящего возникает необходимость показать свое максимально точное знание о выполнении действия, являющегося предметом обещания, и тем самым каузировать уверенность у адресата:

(15) *Zarrinkolâh* *be* *u* *va'de midâd*
Зарринколах к он обещать:IMPF:3SG
ke *dar* *ânjâ* *barâ-yaš*
SUB в там для–PRON:3SG
kâr xâhad kard, *vali* *Golbebu* *sarsaraki*
работать:FUT:3SG но Гольбебу небрежно
javâb-e *u-râ* *midâd.*
ответ–IZAF она–DOBJ давать:IMPF:3SG **[SR: 64]**

«Зарринколах обещала ему, что будет там для него работать, но Гольбебу отвечал ей небрежно».

4. «СОМНИТЕЛЬНЫЕ» СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМЫ БУДУЩЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Существует несколько случаев употребления формы с *xâhad*, которые, как может показаться на первый взгляд, противоречат нашему определению ее прототипической функции как выражения точного знания говорящего об описываемой ситуации. Мы попытаемся показать, что при более внимательном анализе контекстов противоречия снимаются.

1. Употребление формы с *xâhad* в общем вопросе. Как правило, общий вопрос предполагает незнание говорящего о том, будет ли описываемая ситуация иметь место. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что форма с *xâhad* употребляется только в таких предложениях, которые, по форме представляя собой вопрос о наличии некоторой ситуации, на самом деле служат для выражения уверенности говорящего в том, что данная ситуация не будет иметь место, что нисколько не противоречит, а, напротив, способствует употреблению в подобных высказываниях рассматриваемой формы. Такого рода предложения по смыслу близки к русским вопросительным предложениям с *разве*:

(16) *...Bebinim* *ânvaqt* *čegune-im?* *Âyâ*
...Смотреть:CONJ:1PL тогда какой–COP:1PL разве
tâze *dočâr-e* *moškelât-i*
ведь столкнувшийся–IZAF трудности–ART
naxâhim šod *ke* *dar* *qarb*
NEG:становиться:FUT:1PL SUB на запад
moddathâ–st *be* *ân* *raside-and?*
давно–COP:3SG к тот достигать:PERF:3PL **[QZ: 198]**

«Посмотрим, что тогда с нами будет. Разве мы не столкнемся с [теми] трудностями, к которым уже давно пришли на западе?»

2. Употребление формы с *xâhad* в специальном вопросе. Специальный вопрос предполагает незнание говорящего о тех или иных компонентах описываемой ситуации, например о ее участниках, о ее пространственной, временной локализации и

т.д. При этом тот факт, что сама ситуация будет иметь место, не вызывает сомнений, а значит, употребление в таком предложении рассматриваемой формы допустимо:

(17) *Âyâ* *xâne-ye* *u* *čejur-ast,*
Же дом–IZAF он какой–COP:3SG

xišân-aš *češekl-and* *va* *bâ*
родня–PRON:3SG какой–COP:3PL и с

u *čejur* *raftâr xâhand kard?*
она какой поступать : FUT : 3PL **[SR: 49]**

«Какой же у него дом, какие у него родственники, и как они с ней поступят?»

(18) *Agar* *in* *servatmandân* *nabâšand,*
Если этот богачи NEG:быть:CONJ:3PL

pas *ke* *xoms-o* *zakât* *xâhad dâd?*
тогда кто хомс и закат[4] давать :FUT:3SG

Va *ke* *be* *Makke* *xâhad raft?*
и кто в Мекка ехать:FUT:3SG **[DB: 167]**

«Если не будет этих богачей, кто же тогда будет платить хомс и закат и кто будет ездить в Мекку?»

3. Употребление формы с *xâhad* в предложениях с эксплицитно выраженным модусом незнания. С точки зрения употребления формы с *xâhad* предложения с эксплицитно выраженным модусом незнания представляют собой аналог предложений, содержащих специальный вопрос, отличаясь от последних лишь тем, что субъект пропозициональной установки в них может не совпадать с говорящим. Как и в случае со специальным вопросом, незнание субъекта установки касается не ситуации в целом, а только отдельных ее компонентов:

(19) *Čand* *lahze* *be* *sokut*
Несколько мгновение в молчание

gozašt *va* *agar* *farrâš-e*
проходить:PAST:3SG и если уборщик–IZAF

pir-e *madrese* *bâ* *sini-ye* *čây*
старый–IZAF медресе с поднос–IZAF чай

vâred našode bud, *ma'lum* *nabud*
NEG:входить:PPERF:3SG известно NEG:быть:IMPF:3SG

in *sokut* *tâ* *key* *tul xâhad kešid.*
этот молчание до когда длиться:FUT:3SG **[ZZ: 72]**

«Несколько мгновений прошло в молчании, и если бы старый уборщик медресе не вошел с чаем на подносе, было бы неизвестно, сколько продлится это молчание».

4. Употребление формы с *xâhad* в предложениях с ирреальной модальностью. Ж. Лазар в качестве одного из значений, который может иметь форма будущего категорического времени, выделяет ирреальное действие, иллюстрируя свое утверждение следующим примером:

(20) *Sâyks* *dar* *zemn-e* *bayân-e*
Сайкс в во время–IZAF изложение–IZAF

[4] Мусульманские налоги.

matâleb-e *târixi-yo* *joqrâfyâi*
сведения–IZAF исторический и географический

šarh-i *niz* *dar bâb-e*
описание–ART также относительно–IZAF

kuh-e *Ganj…* *nevešte*
гора–IZAF Гяндж… писать:PERF:3SG

ke *darj-e* *ân* *dar* *injâ*
SUB приведение–IZAF тот в здесь

mowjeb-e *tul-e* *kalâm-o*
причина–IZAF удлинение–IZAF описание и

tasdi'-e *xânandegân-e* *gerâmi*
утомление–IZAF читатели–IZAF дорогой

xâhad šod.
становиться:FUT:3SG **[Lazard 1957: 150]**

«Сайкс, излагая исторические и географические сведения, дает описание горы Гяндж…, приведение которого здесь удлинит описание и утомит дорогих читателей».

Действительно, в случае если автор высказывания не собирается приводить указанные сведения, ситуация, описываемая конструкцией, содержащей форму с *xâhad*, вряд ли может рассматриваться как в высшей степени вероятная. Однако следует заметить, что в приведенном выше примере ситуация, описываемая предикацией в форме будущего категорического времени, обусловлена другой ситуацией, описываемой субстантивированной конструкцией *darj-e ân dar injâ* «приведение этих [сведений]». В качестве ирреальной рассматривается именно последняя из названных ситуаций, осуществление же первой ситуации представляется автору высказывания неизбежным при условии осуществления второй, что и позволяет употребить в данном контексте форму с *xâhad*. Аналогичным образом, рассматриваемая форма весьма часто употребляется в главной предикации условных конструкций:

(21) *Boxâr…* *be* *surat-e* *qatrehâ-ye*
пар… в вид–IZAF капли–IZAF

nâpâk *ke* *pirzanhâ* *aqide*
нечистый SUB старухи убежденность

dârand *agar* *be* *tan-e*
иметь:PRES:3PL если к тело–IZAF

kas-i *čekid,* *jâ-yaš*
человек–ART капать:PAST:3SG место–PRON:3SG

zaxm *xâhad šod,* *dar miâmad.*
рана становиться:FUT:3SG выступать:IMPF:3SG **[DB: 116]**

«Пар… превращался в грязные капли, на месте которых, если они попадут на чье-либо тело, по поверью старух, появится рана».

ВЫВОДЫ

Итак, мы попытались показать, что форма будущего категорического времени является особой модально-временной формой в системе персидского глагола. Модальный компонент значения данной формы относится к сфере эпистемической модальности. Таким образом, значение формы будущего категорического времени, определяемое в терминах темпорального и эпистемического статусов, включает следующие компоненты:

1 – отнесенность описываемой ситуации к будущему времени;

2 – точное знание говорящего об описываемой ситуации.

Именно данное значение эпистемического статуса, характеризующее рассматриваемую форму, позволяет употреблять ее в контексте тех речевых актов, где в коммуникативное намерение говорящего входит демонстрация своей уверенности и/или убеждение адресата в том, что описываемая ситуация будет иметь место.

Значения темпорального и эпистемического статусов, выражаемые формой настояще-будущего времени, шире, чем соответствующие значения, выражаемые формой будущего категорического времени, что позволяет употреблять форму на *mi-* (часто в сопровождении дополнительных и лексических средств с темпоральным и эпистемическим значением) в тех же контекстах, что и форму с *xâhad*.

Форма будущего категорического времени в персидском языке обнаруживает развитие по следующей схеме грамматикализации:

деонтическая модальность ⇒ будущее время ⇒ эпистемическая модальность.

Интересно заметить, что по этой же схеме развиваются дубитативные формы в разговорном языке дари, которые представляют собой конструкции со служебным компонентом *xât*, также восходящим к глаголу *xâstan* "хотеть" (см. [Киселева 1985: 99]). Однако направление грамматикализации формы будущего категорического времени персидского языка и дубитативных форм языка дари не совпадает: если персидская форма развивается в направлении максимально точного знания, то формы дари – в направлении отсутствия знания. Развитие эпистемического компонента значения дубитативных форм в разговорном языке дари сопровождается одновременным ослаблением его темпорального компонента: ряд дубитативных форм может использоваться для описания не только будущих ситуаций.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ACT – аспект актуальности
ART – артикль
CONJ – сослагательное наклонение
COP – связка
DOBJ – маркер прямого дополнения
FUT – будущее категорическое время
IMPF – прошедшее длительное время
IMV – императив
IZAF – изафет
NEG – отрицание
PAST – прошедшее простое время
PERF – перфект
PPERF – преждепрошедшее время
PRES – настояще-будущее время
PRON – местоимение (помечаются местоименные энклитики)
SUB – маркер подчинительной связи

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

DB – Jalâl Âl Ahmad. Did-o bâzdid. Tehrân, 1375/1996.
LLB – Mortazâ Farajiyân. Lotfan labxand bezanid. Tehrân, 1373/1994.
Q5 – Mohammad Mir Kiyâni. Qesse-ye mâ hamin bud. 5. Tehrân, 1372/1993.
QZ – Jalâl Âl Ahmad. Qarbzadegi. Tehrân, 1373/1994.
SR – Sâdeq Hedâyat. Sâyerowšan. Tehrân, 1339/1960.
SK – Soruš-e Kudakân. Tehrân, 1375/1997, № 5.
ZZ – Jalâl Âl Ahmad. Zan-e ziyâdi. Tehrân, 1374/1995.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова Н.Д. 1987 – Глагол **видеть** в функции предиката пропозициональной установки //Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспектах. М., 1987.

Бертельс Е.С. 1932 – Учебник персидского языка. Л., 1932.

Гловинская М.Я. 1989 – Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989.

Дмитровская М.А. 1988 – Знание и достоверность // Прагматика и проблемы интенсиональности / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1988.

Зализняк Анна А. 1985 – Знание как единица семантического языка // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар "Кутаиси-85". Тез. докл. и сообщ. М., 1985.

Зализняк Анна А. 1987 – К проблеме фактивности глаголов пропозициональной установки // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте. Тез. докл. рабочего совещания. М., 1987.

Киселева Л.Н. 1985 – Язык дари Афганистана. М., 1985.

Лауфер Н.И. 1993 – **Уверен** и **убежден:** два типа эпистемических состояний // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.

Миколайчик В.И. 1980 – Основы теоретической грамматики персидского языка. М., 1980.

Овчинникова И.К. 1956 – Учебник персидского языка. Ч. I. М., 1956.

Пейсиков Л.С. 1960 – Тегеранский диалект. М., 1960.

Подлесская В.И. 1995 – Импликативные конструкции: некоторые проблемы типологической классификации // ВЯ. 1995. № 6.

Расторгуева В.С. 1960 – Краткий очерк грамматики персидского языка // Б.В. Миллер. Персидско-русский словарь. М., 1960.

Рубинчик Ю.А. 1985 – Грамматический очерк персидского языка // Персидско-русский словарь. Т. 2. М., 1985.

Шарова Е.Н., Мамед-заде А.К., Левковская Р.Г. 1973 – Учебник персидского языка. М., 1973.

Ahmadi Givi H., Anvari H. 1996 – Dastur-e zabân-e Fârsi. Tehrân, 1375/1996.

Comrie B. 1985 – Tense. Cambridge, 1985.

Givón T. 1994 – Irrealis and the subjunctive // Studies in language. 1994. V. 18. № 2.

Heine B., Reh M. 1994 – Grammaticalization and reanalysis in African languages. Hamburg, 1984.

Lambton Ann K.S. 1953 – Persian Grammar. Cambridge, 1953.

Lazard G. 1957 – Grammaire du Persan Contemporain. Paris, 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. А.Н. БАРАНОВ, С.И. ЮШМАНОВА

ОТРИЦАНИЕ В ИДИОМАХ: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ[1]

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Нерегулярность фразеологии и ее ядра – идиоматики – проявляется в довольно причудливых ограничениях, которые налагают отдельные фразеологические единицы на реализацию грамматических категорий. Для фразеологизмов существенно ограничена и возможность применения относительно стандартных синтаксических преобразований типа введения определений или пассивизации.

Трансформация пассивизации, допустимая для широкого класса синтаксических конструкций, обнаруживает не вполне понятную избирательность по отношению к предложениям с глагольными идиомами. Например, идиомы *сдвинуть с мертвой точки (что-л.)*, *ставить на одну доску (кого-л. с кем-л.)* возможны как в активном, так и пассивном залоге, ср. (1).

(1) **а.** *«Однако пыл и задор, с каким эти люди, получившие вполне приличное образование и по идее отличающие рекламный клип про "ТВ-Парк" и кислотно-щелочной баланс от фильмов Бергмана, но упорно* ***ставящие*** *их* ***на одну доску****, объяснить можно только психологически»* (Общая газ. 11 июня 1997); *"Он* ***сдвинул с мертвой точки*** *процесс реформ. Высочайшего класса организатор. Но для меня очевидно, что он представлял интересы определенных групп, прежде всего, финансовых структур"* (Огонек. 1996. № 51) vs. **б.** *«В итоге армия, проливающая кровь за неделимость страны,* ***поставлена*** *"правозащитниками"* ***на одну доску*** *с уголовниками»* (Век. 6 дек. 1996); *"⟨...⟩ при посреднических усилиях российского министра иностранных дел* ***был сдвинут с мертвой точки*** *процесс урегулирования приднестровского конфликта"* (Независимая газ. 12 апр. 1997).

Между тем для идиом *сверлить взглядом (кого-л.)*, *вогнать в гроб (кого-л.)* пассивизация невозможна: *Он сверлит ее взглядом* vs. **Она сверлима взглядом; Он вгонит ее в гроб* vs. **Она будет вогнана в гроб.* Заметим, что как с точки зрения синтаксиса, так и с точки зрения семантики откровенных запретов на пассивизацию здесь не наблюдается. Глаголы с близкой семантикой соответствующее преобразование допускают, ср. *Она была внимательно изучена / исследована / осмотрена; Она была отравлена / замучена / уничтожена / убита* и пр.

Примеры видимых нерегулярностей легко обнаруживаются и в морфологии. Например, трудно предсказать, в каких случаях идиома "разрешает" варьирование по числу существительных, входящих в ее состав, а в каких – нет. Так, для идиомы *не*

[1] Авторы благодарят И.М. Кобозеву за обсуждение на разных этапах работы целого ряда положений этой статьи. Особая благодарность Д.О. Добровольскому, прочитавшему окончательный вариант текста и сделавшему важные замечания и дополнения. В статье использованы материалы Базы данных по современной идиоматике и корпусов текстов по российской публицистике и современной художественной прозе, созданные в отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН.

будь дурак согласование с подлежащим по множественному числу допускается, а для идиомы *семи пядей во лбу* – нет, при том что единственное число допустимо и в первом и во втором случае. Ср. (2) и (3).

(2) *«И до того она ему приглянулась, Матера наша... пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: "Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву христовую". Мужики,* ***не будь дураки****, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатый был... целые тыщи – то ли десять, то ли двадцать»* (В. Распутин. Прощание с Матерой).

(3) *"Естественно, управляющие, даже если они* ***семи пядей во лбу / *лбах*** *и самым замечательным образом оздоровили предприятие, оказываются через полтора года у разбитого корыта из-за дикой суммы пени"* (Сегодня. 4 нояб. 1997).

Столь же нетривиальна ситуация с видовыми противопоставлениями. Например, идиома *сойти с ума* в контекстах с семантикой "выражения переживания сильного эмоционального состояния" допустима только в совершенном виде, ср. (4):

(4) *"Он провел рукой по лицу, словно ощупывая себя. – Я потомок Тютчева. Его правнук.* ***С умà сойти!****"* [vs. ****С ума сходить!***] (В. Сорокин. Норма).

Если проблемы пассивизации идиом и морфологического варьирования получили некоторое отражение в литературе (см., например, [Mühring 1996; Dobrovol'skij 1999]), то закономерности взаимодействия идиом с отрицанием, в частности, введение отрицания в структуру идиомы практически не затрагивались. Заметим, что проблема выражения отрицательного значения в высказываниях с другими типами фразеологизмов (фразеосхемами) рассматривалась Д.Н. Шмелевым [Шмелев 1958]. На более широком языковом материале выражения с "внутренним отрицанием" (negative polarity items) обсуждались на материале английского языка (см., например [Baker 1970; Seuren 1974; 1978]). В центре внимания настоящей работы стоят идиомы. Изучение этой области языковой системы с точки зрения взаимодействия с отрицанием позволит в перспективе выявить как общие свойства, сближающие идиоматику с обычной лексикой, так и специфические характеристики, присущие только идиомам. Мы рассмотрим способность идиомы пропускать отрицание и условия, при которых пропускание отрицания невозможно или затруднено. Кроме того, мы попытаемся обнаружить причины некоторых ограничений, имеющие семантическую и прагматическую природу.

2. ФОРМАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИДИОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОТРИЦАНИЮ

Объектом нашего исследования послужили глагольные идиомы. К последним были отнесены те фразеологизмы, которые в качестве одного из компонентов включают полнозначный глагол (*жить вчерашним днем, ждать своего часа* и т.п.). Тем самым в сформированный список не попали такие идиомы, как [*быть*] *не в кайф, от случая к случаю, стрелянный воробей, год от года, с бодуна, по пьяни / пьянке*. С другой стороны, не анализировались и коллокации типа *принимать решение*.

Глагольные идиомы были разделены на группы по двум основным параметрам:

(i) наличие в словарной форме идиомы отрицания;

(ii) способность идиомы пропускать отрицание.

Под словарной формой идиомы имеется в виду не столько присутствие отрицания в словарных входах идиом в существующих словарях, сколько интуиция носителя языка, подсказывающая, что данная идиома в "абстрактном словаре" (противопоставленном "абстрактной грамматике") должна быть с отрицанием, а не без оного. По-видимому, "словарность" формы идиомы (с отрицанием или без) связана с частотой ее использования, с хорошо ощущаемой носителями языка стандартностью, естест-

венностью ее употребления, а также с ее грамматической продуктивностью – способностью к грамматическим преобразованиям типа пассивизации, образованию временных форм и т.п. Самый простой пример такого рода – идиомы, которые без отрицания в принципе не употребляются. Так, идиома *не лезть в карман за словом* всегда употребляется с эксплицитным отрицанием – ср. примеры типа (5).

(5) *"Удивил не Наздратенко, удивили задиристые столичные журналисты,* ***обыкновенно не лезущие за словом в карман****. Здесь же при личных встречах они были милы, ласковы, сердечны и явно не готовы к конкретному разговору с человеком, к которому накопилось у телезрителей столько вопросов"* (Моск. новости. 8 июля 1997).

Контексты использования этой идиомы без отрицания определенно воспринимаются либо как неправильные, либо как игровые, ср. заголовок статьи из "Новой газеты" от 14 апреля 1997: *"**За словом лезут в карман.** Для чего покупают российскую прессу"*. К идиомам такого типа относятся также *[работа...] не бей лежачего; не укладывается в голове; ахнуть не успеть; оглянуться не успеть; не успеть [и] [глазом] моргнуть; [сидеть...] не отрывая задницы; молоко на губах не обсохло (у кого-л.); не ударить в грязь лицом (перед кем-л.), мало не покажется (кому-л.), палец в рот не клади (кому-л.), не пришей кобыле хвост* и многие другие[2]. Для объяснения этого феномена уместна аналогия со словами, содержащими отрицание в морфологической структуре типа *неудовольствие, неприятность, ненависть*. Поскольку идиомы системно близки к обычным словам – единицам абстрактного словаря, то в идиомах этого класса отрицание становится фактором не столько синтаксическим, сколько лексическим.

Назовем идиомы этого типа **эксплицитно-негативными.** Эксплицитно-негативные идиомы неоднородны с точки зрения обязательности присутствия отрицания. Для части из них ощущение отрицания в некоторых контекстах все-таки возможно, ср. идиому *не заставить себя долго ждать* в примерах (6), (7):

(6) *"Удивительно не то, что скандал вокруг РТР разразился, а то, что он так* ***долго себя заставил ждать****"* (Моск. новости. 11 февр. 1997);

(7) *"⟨...⟩ посмотрев на голову женщины, Керн озабоченно заметил: – Что-то Саломея* ***заставляет себя долго ждать****"* (А. Беляев. Голова профессора Доуэля).

Отсюда следует, что фиксация эксплицитного отрицания для рассматриваемой группы идиом в некоторых случаях имеет характер тенденции, которая требует специального описания – в виде списка исключений или соответствующих правил.

Эксплицитно-негативные идиомы разбиваются на две группы – с устранимым и неустранимым отрицанием. Первые мы будем называть **слабыми эксплицитно-негативными идиомами**, а вторые – **сильно эксплицитно-негативными идиомами.**

По тем же основаниям выделяется класс **сильно эксплицитно-позитивных идиом** и класс **слабо эксплицитно-позитивных идиом**. К первому классу принадлежат, например, *в отцы годиться, в сорочке родиться*, а ко второму – *вешать лапшу на уши, вбить себе в голову*, ср. (8) и (9), соответственно.

(8) *"Конечно, приятно, что имя капитана сборной СССР в Лиге пользуется таким авторитетом, но совершенно фантастическим выглядит то, что чуть ли не трети команды Фетисов (*****не) годится в отцы****"* (Огонек. № 1. 1998).

(9) *"Я занимался ночами – он слыл корифеем. Я был умнее – он блистал. Я был глубже – он (****?не) вешал лапшу на уши****. И все его любили"* (М. Веллер. Колечко) vs. *"– Вы, говорю, змеи,* ***не вешайте*** *мне* ***лапшу на уши!****"* (Абрам Терц. Голос из хора).

---

[2] Здесь и далее в записи словарной формы идиомы используется нотация, разработанная для проекта Словаря современной русской идиоматики [Баранов, Добровольский 1995].

В работе Ю.Д. Апресяна [Апресян 1990] эксплицитно-негативные идиомы типа *пальцем не пошевелить, не уступить ни на йоту* предлагается считать в словаре позитивными, а наличие отрицания в реальных употреблениях объяснять противоречием между модальной рамкой и ассертивной частью высказываний с этими единицами. Так, идиома *не уступить ни на йоту* в словаре представляется следующим образом: "*X на йоту уступит* значит в первом приближении, 'X уступит очень мало; говорящий считает, что X не уступит совсем'" [Апресян 1990: 62]. Согласно данной интерпретации, противоречие в исходной словарной форме снимается при введении в контекст отрицания, имеющего избирательную сферу действия – на утверждение. Предлагаемый Ю.Д. Апресяном вариант описания эксплицитно-негативных идиом при всей его оригинальности не всегда применим к идиомам выбранной группы. Фактически он распространяется на идиомы с довольно высокой степенью семантической членимости, в которых присутствует компонент, которому можно сопоставить значение 'малая степень проявления чего-либо': *йота (ни на йоту не уступить), палец (пальцем не пошевелить; пальцем о палец не ударить), слово (слова не сказать)* и т.п. Идиома той же группы *на порог не пускать* имеет аналогичные контексты пропускания (снятия) отрицания. "*– Знаю я тебя, – отрезал Энергичный. – {Если} Ты кого* ***на порог пустишь,*** *язык уже не повернется отказать. А так – посмотрел в глазок, не понравился человек – и не открываешь. Дома как будто нету*" (Е. Козловский. Квартира, киносценарий)[3]. Однако для нее предложенная интерпретация кажется слишком искусственной: *X не пустит на порог Y-а* ≈ '*X* пустит *Y*-а на порог очень мало; говорящий считает, что *X* не пустит *Y*-а совсем'. Первый компонент семантической экспликации интерпретировать довольно трудно.

Более существенны, однако, не почти технические проблемы модификации способа толкования, а его способность объяснить не только феномен снятия отрицания у этой группы слабых эксплицитно-негативных идиом, но и у других идиом – как эксплицитно-негативных, так и эксплицитно-позитивных. Специфику поведения эксплицитно-негативных идиом естественно рассматривать не с позиции языковых аномалий, а с позиции нормы, на общем фоне факторов пропускания для идиом всех обсуждаемых групп. Кроме того, при прочих равных словарной формой языкового выражения лучше считать тот вариант, который реально представлен в узусе в большинстве употреблений и не противоречит языковому чутью носителей. Во всяком случае такое ограничение было бы естественно для толковых словарей, рассчитанных на обычного пользователя. Чем меньше там будет лингвистических конструктов, тем лучше. Заметим, что в обсуждаемой статье содержится важная идея о семантике пропускающих контекстов, которые характеризуются как "несмелые" высказывания (вопросы, а также предложения с семантикой сомнения, уступки, условия).

Наконец, существуют идиомы, легко употребляющиеся как в положительной, так и в отрицательной форме, ср. (10). К ним относятся, например, *знать в лицо, бросаться в глаза*. Эти идиомы можно назвать **регулярными** по отношению к отрицанию.

(10) "*Кобылица опять замерла, и сейчас, когда она была без седла, особенно* ***бросалось в глаза,*** *как волны дрожи, словно рябь по воде, пробегают по черному крупу*" (Ф. Искандер. Молния-мужчина, или чегемский пушкинист) vs. "*Можно сразу опылить и через сутки оборвать венчик, чтоб* ***в глаза не бросался***" (В. Дудинцев. Белые одежды).

В центре нашего внимания в данной статье находятся эксплицитно-негативные и эксплицитно-позитивные идиомы в слабом варианте, поскольку именно эти две группы идиом по определению способны в известных условиях пропускать отрицание. Отдельного внимания заслуживает проблема эксплицитно-негативных и эксплицитно-позитивных идиом в сильном смысле. Причины их ущербности по отношению к отри-

[3] В фигурных скобках восстанавливаются опущенные в результате эллипсиса компоненты предложения.

цанию в ряде случаев связаны с их семантикой, однако это выходит за рамки данной статьи (см., впрочем, некоторые замечания ниже).

Следует иметь в виду, что идиомы в разных значениях могут попадать в разные группы введенной классификации. Например, в идиоме *сойти с ума* выделяется четыре значения, которые по-разному взаимодействуют с отрицанием [Баранов, Добровольский 1995]. Первое значение (нечто вроде 'потерять способность правильно мыслить и / или вести себя адекватно обстоятельствам в результате психического заболевания'), реализующееся в контекстах типа "*Долго ли* ***с ума сойти*** *от такого злодейства?*" (Юз Алешковский), попадает в группу регулярных идиом. С другой стороны, значения *сойти с ума* 'неправильно мыслить и / или поступать неадекватно обстоятельствам, вызывая представление о поведении душевнобольного' (11) и 'быть в состоянии душевного аффекта, направленного на кого-л. / что-л., которое сопровождается чрезмерной концетрацией внимания и деятельности на ком-л./чем-л., что напоминает поведение душевнобольного' (12) входят в класс слабо эксплицитно-позитивных идиом (в обоих случаях допустимо появление отрицания в императиве).

(11) "*Ты* ***с ума сошла!*** *Привлекать к себе внимание такими претензиями!*" (Е. Гинзбург. Крутой маршрут) vs. ***Не сходи с ума!*** *Ты привлекаешь к себе внимание идиотскими претензиями.*

(12) *Когда Валя его видит, у нее коленки подгибаются – она* ***сходит*** *по нему с ума* vs. *Он мизинца твоего не стоит. Не* ***сходи*** *по нему с* ***ума!***

Выделяются также контексты употреблений *сойти с ума*, в которых содержится 'указание на сильное эмоциональное переживание (положительное или отрицательное), испытываемое говорящим в связи с чем-л.)' (13). В этом значении *сойти с ума* попадает в группу сильных эксплицитно-позитивных идиом.

(13) "*Борька! Переста-ань! Перестааааань! Ведь это* ***с ума сойти!***" (Вен. Ерофеев. Вальпургиева ночь, или шаги командора).

Далее при необходимости значение, в котором употребляется идиома, специально оговаривается.

3. ОПЕРАЦИЯ ОТРИЦАНИЯ ИДИОМЫ

Под отрицанием идиомы имеется в виду операция введения общего отрицания в идиому. Иными словами, нас интересуют условия, которые позволяют переходить от конструкции типа НЕВЕРНО, ЧТО Р (где в состав Р входит глагольная идиома) к конструкции, в которой отрицание входит в синтаксическую структуру идиомы, а изменение содержания соответствует семантике самого отрицания. Будем называть это случаями **пропускания отрицания** идиомой. Говоря, что некоторая идиома пропускает отрицание, мы имеем в виду, что идиома, будучи позитивной в начальной форме, допускает употребление в негативной форме, таким образом, что отрицание будет эксплицитным и будет входить в синтаксическую структуру идиомы: "*Курьеры* ***знали*** *друг друга* ***в лицо***" vs. "*Курьеры* ***не знали*** *друг друга* ***в лицо***" (Изв. 20 июня 1997).

Применительно к эксплицитно-негативным идиомам задача несколько меняется: в этом случае исследуются условия, при которых снимается внутреннее отрицание в идиоме – как реакция на введение общего отрицания: ***Не бери в голову*** *всякую ерунду* vs. *Если ты будешь* ***брать в голову*** *всякую ерунду, то долго не проживешь.* Процедура снятия отрицания в эксплицитно-негативных идиомах близка проблеме снятия двойного отрицания, но не эквивалентна ей, поскольку в отличие от обычных позитивных высказываний, даже эксплицитно-позитивные идиомы часто предполагают при употреблении элементы контрастивного контекста.

Общее отрицание обычно рассматривается как оператор, в сфере действия которого находится пропозиция. Операция отрицания широко используется в семантическом анализе. "Естественным методом внутриязыкового семантического анализа предложений с отрицательными частицами является элиминирование отрицательных

частиц, со всеми капризами их размещения в структуре предложения, путем замены их на лексему НЕВЕРНО ⟨ЧТО...⟩" [Падучева 1974: 144]. Здесь этот метод используется в каком-то смысле с другой стороны: общее отрицание, представленное оператором НЕВЕРНО ⟨ЧТО⟩, вводится в синтаксическую структуру идиомы.

Следует особо подчеркнуть, что в данном случае нас не интересует контрастивное отрицание, поскольку фокусом контраста в контрастивной ситуации может оказаться практически любой компонент высказывания и даже часть слова, как в примере из [Wierzbicka 1975]: – *John is interested in heterogeneity.* – *John is interested in hetero-what?* – *In heteroGENEITY*. Заметим попутно, что даже в отношении контрастивного отрицания идиомы не всегда ведут себя по общему правилу. В ряде случаев компоненты идиомы настолько семантически амальгамированы (нерасчленимы), что их компоненты не могут находиться в сфере действия даже контрастивного отрицания. Например, в идиомах *дать дуба, сыграть в ящик* субстантивный компонент не подвергается контрастивному отрицанию, поскольку невозможно представить, чему он может быть противопоставлен. Конструкции типа *Он дал не ДУБА, а березу; Он сыграл не в ЯЩИК, а в домино* осмысленны только в контексте языковой игры. Сказанное относится и к идиоме *откинуть копыта*, хотя структурно ей можно противопоставить квазисинонимичную идиому *откинуть коньки*. И в этом случае сконструированное противопоставление допустимо только как языковая игра: *Он откинул не КОПЫТА, а КОНЬКИ*. Способность становиться фокусом контраста связана, по-видимому, со свойством семантической членимости идиом. Каждому компоненту семантически членимой идиомы можно приписать какое-то значение, исходя из актуального значения всей идиомы в целом, ср. контексты типа *Это не СВЯЩЕННАЯ, а вовсе даже ДОЙНАЯ корова.*

К основным особенностям ситуации контрастивности относятся следующие параметры процесса коммуникации: наличие ситуационного множества, из которого производится выбор контрастивного элемента; сам выбор контрастивного элемента; наличие эксплицитного или имплицитного противопоставления; знание всеми участниками ситуации общения ситуационного множества и др. (см. подробнее [Баранов 1984]). Неконтрастивные ситуации близки по своим свойствам контекстам использования дескрипций. Иными словами, неконтрастивное отрицание, будучи логически рестриктивным, отделяющим элемент от аналогичного "неотрицательного", с точки зрения коммуникативной интенции говорящего должно быть близким к дескрипции, нерестриктивному определению, хотя полное отождествление здесь недостижимо – как стремление функции к своему пределу. Контрастивным будет, например, такое использование отрицания в идиоме *сидеть на шее*: "*Ты собираешься делать карьеру? – иронически спросил Борменталь. – Собираюсь.* ***Не на шее*** *же у вас* ***сидеть****. Я взрослый пес... то есть, мужчина, – поправился Василий*" (А. Житинский. Внук доктора Борменталя). Использование частицы *же* дополнительно указывает на конфликтность высказывания. Заметим, что частицы часто участвуют в формировании контекста пропускания отрицания для идиом, ср., например: *Мы* ***еще*** *живы. Мы* ***еще не вышли в тираж.*** "*Еще ноги наши ходят, еще кони наши скачут, и пушка моя возле тела греется. Еще рука моя тебя достигнет*" (М. Веллер. Дети победителей); "*Покончить собой? Жена какого царя позволила бы себе такое? Нигде и никогда этого не бывало. Понимали, что такое царствование! Не смели бросить тень на царственного супруга.* ***Даже*** *в заточении,* ***даже*** *в монастыре* ***не кончали с собой***" (А. Рыбаков).

Некоторая конфликтность свойственна и контекстам с эксплицитным противопоставлением (например, при наличии противительных союзов): «*В РАО существует свой взгляд на то, как разрубить "приморский узел": для этого необходимо выплатить угольщикам зарплату, чтобы те перестали бастовать. И тогда начать постепенно разбираться со всеми остальными проблемами. Правда, нечто*

подобное уже происходило в недалеком прошлом, ***однако с мертвой точки дело не сдвинулось***» (Сегодня. 12 авг. 1997).

На поверхностном уровне контрастивное отрицание чаще всего оказывается присловным – в противоположность фразовому (как правило, при сказуемом). Интересно, что среди эксплицитно-негативных идиом есть выражения с присловным отрицанием, которое с семантической точки зрения оказывается фразовым (общим), ср.: *не вчера родился, знать не понаслышке, жить не по средствам, не на того напасть, встать не с той ноги, [как] не фига делать, не даром есть свой хлеб, прийтись не ко двору.* Они исследовались и с точки зрения возможности пропускания отрицания. Заметим также, что некоторые из этих идиом допускают варьирование местоположения отрицания. Присловное отрицание может преобразовываться во фразовое и на уровне поверхностного синтаксиса: "*Я часто выступал здесь в 60-70-е годы, потом был вынужденный перерыв в связи с тем, что моя музыка* ***не пришлась ко двору*** *советским властям*" (Изв. 7 окт. 1997).

Поскольку контексты, стимулирующие пропускание отрицания (или, наоборот, его снятие), повторяются для разных групп исследованных идиом, дальнейшая логика изложения ориентирована на типы контекстов и факторы пропускания отрицания. А специфические особенности поведения различных групп идиом для каждого типа контекстов специально оговариваются.

4. КОНТЕКСТЫ ПРОПУСКАНИЯ ОТРИЦАНИЯ

4.1. Контекст императива. Введение отрицания в контексте императива оказывается возможным прежде всего для слабых эксплицитно-позитивных идиом. Основное ограничение на семантику сводится к тому, чтобы в позитивной форме идиома обозначала некоторую нежелательную ситуацию, подверженную контролю со стороны адресата. Иллокутивная сила отрицательного императива может быть запретом (морфологически выражается отрицанием в сочетании с несов. видом – прохобитив) или предостережением (отрицание и сов. вид – превентив[4]). Иллокутивная сила предостережения в грамматической форме превентива выражается в идиоматике сравнительно редко, ср.: *Смотри, не сверни себе шею!, Смотри, не сядь в калошу!, Смотри, не сядь в лужу!* Запрет же представлен в идиоматике более широко, ср.: *Не вешай лапшу на уши!, Не крути мозги!, Не забивай себе голову!* Анализ материала показывает, что даже если глагол в идиоме в принципе позволяет употребление в двух видах, отрицательный императив образуется либо в форме прохибитива, либо в форме превентива, ср. *пудрить / запудрить мозги,* но *Не пудри мне мозги*! при невозможности* *Не запудри мне /ему мозги!* По-видимому, это связано с семантикой самой идиомы. Для глаголов такое ограничение менее категорично, ср. *обманывать / обмануть – Не обманывай меня / его!* и *Не обмани меня / его*!

Общее ограничение на семантику слабых эксплицитно-позитивных идиом (нежелательность описываемой ситуации и наличие контроля со стороны адресата над этой ситуацией) может быть уточнено для каждой из подгрупп. Прежде всего выделяется группа идиом, описывающих те или иные **нарушения правил речевого взаимодействия между людьми.** К правилам такого типа относятся, в частности, хорошо известные максимы Грайса [Грайс 1985]. Ситуация нарушения **максимы Качества** ("Говори правду!") регулируется, например, выражениями *не пудри мне мозги, не вешай мне лапшу на уши, не заговаривай мне зубы, не рассказывай мне сказки, не морочь мне голову, не ломай комедию.* Простое неконтрастивное отрицание с этими идиомами неудовлетворительно, ср. "*Он из тех, кто всю жизнь православным* ***лапшу на уши (*не) вешает***" (Моск. ком. 12 сент. 1996).

---

[4] В данном случае используется терминология, введенная в [ТИК 1992].

Максима Релевантности ("Не отклоняйся от темы!") представлена в идиомах *сбивать с толку* и *ходить вокруг да около*: "*Слушайте, что вы боитесь называть вещи своими именами? **Не ходите** вы **вокруг, да около***" (Новая газ. 22 сент. 1998). Нарушение **максимы Способа** ("Говори ясно и последовательно", "Будь организован"; "Будь краток") может корректироваться императивными формами *не болтай языком, не тяни волынку / резину, не тяни время / кота за хвост; не вали все в одну кучу*: "***Не вали в одну кучу** актерскую профессию и организацию театра. Репертуарный театр сегодня – это ведь чисто организационная вещь*" (Общая газ. 21 авг. 1997); "*Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже. Из зала ободряюще крикнули: – Давай, Мотыль, **не тяни резину***" (С. Довлатов. Зона).

Процесс естественноязыковой коммуникации организуется не только максимами Грайса, но и более "социализованными" принципами, в частности, **принципом Вежливости** Лича [Leech 1983], одна из максим которого – **максима Такта** ("Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его личной сферы") – широко отражена в идиоматике. Императив с отрицанием соответствующих идиом также может использоваться для нормализации процесса общения: *не лезь мне в душу, не суй нос в чужие дела, не зажимай / затыкай мне рот*.

Вторая большая группа слабых эксплицитно-позитивных идиом, допускающая императив с отрицанием, характеризуется семантикой причинения ущерба (в широком понимании – не обязательно только с целью злого умысла), нанесения вреда в физической, ментальной, эмоциональной и др. сферах. Соответствующий компонент смысла является частью значения или выводится как следствие из него. Отрицание в императиве в этом случае преследует цель посоветовать, предостеречь адресата от нанесения вреда самому себе. Вариации предостережения в этом случае весьма разнообразны: призыв не обращать внимание на отрицательные факторы ситуации, не расстраиваться (*не принимай близко к сердцу; не бери в голову; не вешай нос; не вешай голову*); совет не ставить перед собой неразрешимых задач (*не бейся головой об стену; не бейся как рыба об лед*); рекомендация не работать сверх необходимого (*пупок не надрывай; не вертись как белка в колесе*); предложение не совершать ненужных передвижений, не суетиться (*не носись как угорелый; не вертись как угорь на сковородке; не беги сломя голову; не бегай высунув язык*); совет не рисковать (*не суй голову в петлю; не лезь в бутылку; не лезь на рожон; не ищи на свою голову приключений; не руби сук, на котором сидишь*). Забегая вперед, заметим, что обычно идиомы, во внутренней форме которых содержится сравнительный оборот, вводимый союзом *как*, не пропускают отрицания. Выражения *не бейся как рыба об лед, не вертись как белка в колесе; не носись как угорелый; не вертись как угорь на сковородке* в этом отношении представляют исключение.

Общее ограничение на семантику слабых эксплицитно-позитивных идиом, заключающееся в нежелательности описываемой ситуации, хорошо видно при сравнении трех идиом с близким значением: *бежать сломя голову, бежать высунув язык, бежать со всех ног*. Для первых двух идиом отрицательный императив вполне возможен: – *Да **не беги ты сломя голову!** Успеем!; **Не бегай высунув язык** – весь потный уже, простудишься!* Для последней – эта форма невозможна: **Не беги со всех ног!** *Успеем! / Простудишься*! При этом позитивный императив для идиомы *бежать со всех ног* вполне естествен: *Как только увидишь лодку – беги к ней **со всех ног***! Поскольку призывать можно только к чему-то хорошему, это означает, что в семантике идиомы *бежать со всех ног* содержится указание на то, что цель действия/передвижения, по крайней мере, не отрицательна, да и само действие позитивно, ср. характерный пример: "*Как приятно, переспав с незнакомой, даже неприятной (!) женщиной, **со всех ног бежать** к любимой заспанной жене в фланелевом халатике и всем грешным телом ощущать, что лучше ее нет и не будет*" (АиФ. 21 янв. 1998). В идиоме *бежать*

сломя голову изначально указывается на не вполне обоснованное и даже несколько опасное действие. Она значит нечто вроде 'приняв решение, сразу начать выполнять его, не обращая внимания на возможные отрицательные последствия': "*Вскочил и* ***бежать*** *оттуда* ***сломя голову****. Да так, что по дороге в столб врезался, и теперь уже и сам не пойму: то ли это в действительности было, то ли мне примерещилось*!" (Российская газ. 16 нояб. 1996); "*Восстановление Российской империи невозможно. Об этом могут мечтать только люди, лишенные здравого смысла. Но и* ***разбегаться сломя голову*** *нельзя – чревато непредсказуемыми последствиями. Особенно в экономике*" (Общая газ. 30 окт. 1997). С другой стороны, внутренняя форма идиомы *бежать высунув язык*, проявляющаяся в актуальном значении, указывает на негативное влияние действия (физического или виртуального) на организм человека: *Всю последнюю неделю* ***бегал высунув язык*** *между институтом, министерством, райкомом и ОВИРом и заработал нервное расстройство.* Отсюда отмеченные особенности сочетаемости.

Иллокутивная семантика отрицательного императива может выражаться и косвенно. Например, с помощью вопроса в несобственной функции (близкой функции риторического вопроса), ср.: "*Это, конечно, ваше семейное дело, но зачем надо было* ***комедию ломать,*** *родинка, уродинка. Какое-то посмешище*! "{= *Не ломай комедию*!} (Л. Петрушевская, Вставай, Анчутка!); "– *Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и* ***мотать*** *людям* ***нервы***! {= *Не мотай нервы!*} *Когда прекратятся ваши диверсии*?" (М. Веллер. Все уладится); "*Я разозлился. – Ты знаешь что-нибудь или парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу... Что ты нам* ***голову морочишь***?" {= *Не морочь голову*!} (А. и Б. Стругацкие. За миллиард лет до конца света).

При этом ограничение на семантику слабых эксплицитно-позитивных глаголов при образовании таких форм аналогично ограничению при формировании отрицательного императива. К нему, однако, могут добавляться и другие ограничения. Так, форма категорического императива со *чтоб*(*ы*) и эксплицитным отрицанием невозможна для идиом с семантикой 'взятия на себя ответственности за что-л., граничащей с причинением вреда самому себе': **Чтоб грех на душу мне тут на себя не брал*!; **Грех мне тут на себя не брать!* при норме *Чтоб руки мне тут не распускал*!; *Чтоб голос мне тут не повышал*!; *Руки мне тут не распускать*!; *Голос мне тут не повышать*! В данном случае причина неприемлемости очевидна: отрицательный императив для идиомы *брать грех на душу* допускает только совет, а приведенная грамматическая форма привязана к категоричному требованию, приказу.

Для слабых эксплицитно-негативных идиом контекст императива не способствует снятию отрицания.

4.2. Контекст цитации. Цитирование, совмещая различные характеристики речи двух субъектов говорения, всегда оказывается областью нарушения многих семантических, прагматических и синтаксических закономерностей. Контекст цитации позволяет сохранить отрицание для слабых эксплицитно-позитивных идиом, если оно было в антецеденте цитаты. Прямое цитирование оказывается закрытым для цитирующего и позволяет воспроизводить практически все сказанное. Косвенное цитирование более свободно для проникновения точки зрения цитирующего. Косвенное цитирование императива может передаваться конструкцией со *чтобы* или инфинитивом; кроме того, могут использоваться глаголы речи и передачи информации типа *говорить, передавать, просить, сообщать*. В этом случае сохранение эксплицитного отрицания в группе слабых эксплицитно-позитивных идиом совершенно нормально: «*Началось с того, что режиссеры написали заявления о своем отказе участвовать в соискании главных кинематографических призов. Но при этом – по "слезной просьбе" Мережко – пообещали, по образному выражению Полоки, "****не гнать волну****"*» (Независимая газ. 18 апр. 1997); «⟨...⟩ *редакции стали настоятельно советовать "****не гнать волну****" и*

"притушить" дискуссию по поводу погранналога» (Изв. 27 дек. 1996); "*– А Валю, Валю ты утешил? – Пришла бы на защиту – сама бы утешала! – Она просила* ***не гнать волну***" (Г. Башкирова. Вчера и завтра).

4.3. Контекст будущего времени. Для некоторых слабых эксплицитно-позитивных идиом пропускание отрицания возможно в будущем времени. В эту группу прежде всего попадают идиомы, в семантике которых присутствует идея унижения, направленная на самого субъекта: *идти на поклон, встать / поставить на колени, лизать подметки, ломать шапку, обивать пороги, кланяться в ножки, ползать на брюхе, ходить на задних лапах*. Ср.: *«Я не желаю врать и* ***не буду ползать на брюхе*** *перед начальством. И это уже кажется нам сумасшествием? Неужели мы настолько оскотинились в нашем "существовамсе"?»* (Столица. 1991. № 7); *– Откуда у тебя деньги?! Это он? – допытывалась она. – Это он тебе деньги дал?!! Чего он от нас хочет, а? Ты как хочешь, но я за целковый* ***на задних лапах ходить не буду!*** Иллокутивная функция этих высказываний в перформативном употреблении близка речевому акту просьбы.

Семантический компонент 'потеря общественного лица' (близкий идее унижения) – в виде следствия или других "слабых" компонентов значения – представлен в идиомах *утирать сопли, сидеть на шее, лапу сосать, руки марать, пойти на попятную, плакаться в жилетку*. Именно по этой причине они пропускают отрицание в будущем времени: "*Я об тебя даже* ***руки марать не стану****! – ответил Илико*" (Н. Думбадзе. Я, Бабушка, Илико и Илларион).

Явно предосудительно поведение субъекта, избегающего наказания за какой-то проступок, в ситуациях, описываемых идиомами *выйти сухим из воды, сойти с рук, легко отделаться*. Отрицание в будущем времени этих выражений в семантической сфере действия имеет нечто вроде 'ненаказуемости', то есть в результате возникает речевой акт с иллокутивной семантикой угрозы / предупреждения или описание соответствующей ситуации угрозы: "*Итак, Том Пауэрс возомнил о себе слишком много (с точки зрения боссов мафии). Он решил доказать, что хозяин в городе не кто иной, как Том Пауэрс. Так просто это ему с* ***рук не сойдет***" (Компьютерный каталог "Видео-лоцман"). Отрицание порождает такой же эффект угрозы и в идиоме *гладить по головке*: [О нумизматах] *«Новые хозяева разрозненного хазарского золота понимают, что если они "раскроются", то* ***по головке*** *их никто* ***не погладит*** *– по закону все найденное надлежит сдать государству. Утаивать клад уголовно наказуемое дело»* (Моск. ком. 26 янв. 1996).

Несколько иную иллокутивную функцию эвфемизации и намека приобретают в будущем времени с отрицанием идиомы *переходить на личности* и *показывать пальцем*: "*Артисты в Отечестве нашем очень разные. Те, кто терзается, перемещаясь по сценическим подмосткам, дилеммой быть или не быть, то есть люди театра, как правило, персоны с весьма активной гражданской позицией. Некоторых сия активность заводит в непролазные дебри, но* ***не будем переходить на личности***" (Изв. 20 июня 1997); "*Короче говоря, я – Разум – с ног сбился, днем и ночью мозгами шевелю, а они ведь не бессмертны, вроде моей Душеньки, они у меня, позвольте заметить, тленны-с! Им не дано за смертные пределы заглянуть в отличие от некоторых,* ***не будем показывать пальцем***" (Юз Алешковский. Рука). Таких специфических мини-групп среди слабых эксплицитно-позитивных идиом довольно много, и их полное исчисление вряд ли возможно, поскольку сфера действия отрицания каждый раз оказывается уникальной.

4.4. Контекст условных предложений. Существенно облегчает пропускание отрицания в идиомах контекст условия. Собственно условные предложения переводят ситуацию в возможный мир, который par excellence допускает существенно большую степень свободы, чем реальный. Среди слабых эксплицитно-позитивных идиом введение

отрицания в собственно условных предложениях допускают идиомы, описывающие положительно и отрицательно оцениваемые ситуации. При положительной оценке главное предложение характеризуется семантикой '(будет) плохо', а придаточное имеет общую форму 'если не P(x)'. Таковы, например, идиомы *взяться за ум / за голову, разложить по полочкам (что-л.), сдвинуться с места (что-л.), сменить гнев на милость, выбить дурь из головы, выйти из положения, выкроить минуту, держать себя в руках, держать язык за зубами, взять в свои руки, сдвинуть с мертвой точки (что.-л.), поставить на место (кого-л.), выкинуть из головы (что-л.), ползать на брюхе (перед кем-л.)*. Ср.: "*Было время, когда, по понятным причинам, американская внешняя политика жила одной Россией, но сегодня обстановка уже не та. Другими словами, если Россия* ***не возьмется за ум****, она останется на обочине. Ее вес будет заключаться в том, что она представляет собой проблему, а не возможности*" (Сегодня. 18 янв. 1997); "*Если в ближайшие месяцы правительство* ***не сдвинется с мертвой точки*** *и не начнет действительно существенные экономические реформы, Россия может потерять еще один шанс включиться в глобальную экономическую гонку*" (Сегодня. 27 янв. 1997).

Обще-оценочная составляющая главного предложения может модифицироваться за счет оценки вероятности, при этом иллокутивная функция высказывания сосредотачивается на отрицательной оценке положения вещей, ср. примеры типа *Я очень удивлюсь, если он не сядет в лужу / не попадется на удочку / не свернет себе шею: – Он тип сомнительный. От него лучше бы подальше держаться. – Почему? – Черт его знает! Его довольно трудно раскусить, это крепкий орешек. Скользкий тип.* ***Очень удивлюсь****, если мы с ним* ***не влипнем в*** *какую-нибудь грязную* ***историю.***

Если идиома обозначает нечто отрицательное, то главное предложение передает общий смысл '(будет) хорошо'. В таких контекстах пропускают отрицание идиомы типа *бегать на сторону, позволять себе лишнее, за юбками гоняться; вертеть задом / хвостом, строить глазки; болтать языком, висеть на телефоне, остаться на бобах, принимать в штыки, сделать ручкой, вставлять палки в колеса, выставить на улицу*. Ср.: «*Все, с кем случалось говорить о Лейпциге, убеждены, что платят им по справедливости: "И то спасибо, если* ***на улицу не выставят****!" Не та, мол, у нас пока производительность труда и не тот уровень квалификации, что в западных землях*» (Столица. 1992. № 10); "*Михайлов возвращается домой. – Иди-ка сюда, – зовет он. И вот обычным и ровным голосом он объясняет старшему сыну, что начиная с завтра старший будет заниматься с известным математиком Стрепетовым; если же сын* ***не будет валять дурака*** *и окажется не тупицей, то, поступив в университет, он, возможно, станет на долгие даже годы учеником этого блестящего ученого*" (В. Маканин. Отдушина).

Часть идиом, употребляемых с отрицанием в императиве, могут употребляться в отрицательной форме и в условных предложениях. По большей части это идиомы, указывающие на нарушение правил взаимодействия между людьми: *водить за нос, валять дурака, голову забивать, задирать нос, лезть в душу, морочить голову, пудрить мозги, путаться под ногами, распускать руки, распускать язык, совать свой нос в чужие дела, стоять над душой, трепать языком, тянуть время, тянуть резину, читать мораль, читать нотации, мозолить глаза, выводить из себя, действовать на нервы, говорить под руку*. Ср.: «⟨...⟩ *"несовковое" в советском прошлом, в советском искусстве способно помочь нам, сегодняшним, если, разумеется,* ***дурака не валять*** *и новой конъюнктуре не подыгрывать*» (Российские вести. 16 авг. 1997).

Идиомы этого класса пропускают отрицание, находясь в придаточном предложении, определяющем условие выполнения предикации главного, ср.: *Если ты* ***не будешь мозолить ему глаза****, он вообще никогда о тебе не вспомнит; Если ты* ***не будешь*** *тут*

сидеть и ***действовать ему на нервы****, он и огрызаться на тебя не будет; Если ты* ***не будешь торчать у меня над душой*** *и* ***говорить мне под руку****, я тебя уверяю, дело пойдет существенно быстрее.* Поскольку в придаточном предложении используется будущее время, эти контексты попадают в два раздела классификации (см. выше контекст будущего времени), однако кажется, что условная семантика здесь более значима как фактор пропускания отрицания, чем будущее время.

Способность к пропусканию отрицания у слабых позитивных идиом, как правило, сохраняется и в тех случаях, когда условная семантика передается не чисто условными союзами, например, союзом *когда:* "***Когда*** *не спешишь,* ***не несешься*** *вниз* ***сломя голову,*** *натыкаясь на пухлые портфели, подлые зонтики, детей и толстобоких хозяек, ⟨...⟩ а стоишь спокойно, то соседний эскалатор, движущийся в противоположном направлении, превращается в платформу для разнообразных социологических изысканий*" (Викт. Ерофеев. Коровы и божьи коровки). Более того, пропускание отрицания возможно и в предложениях с несобственно-условным значением, в которых гипотетичность практически утрачивается. Ср.: – *Постой-ка, – он снова налил по полной. – Не буду, я уже и так совсем пьян. – Пейте, ничего.* ***Язык не заплетается*** *– значит все в порядке.*; "*– На носу такие ответственные игры, а ты жениться вздумал. Подождешь! Не исключено, что Третьяку действительно пришлось бы ждать, если бы* ***не дал добро*** *Тарасов*" (Собеседник. 12 нояб. 1995).

В условных предложениях снимается отрицание у некоторых слабых эксплицитно-негативных идиом. В первую очередь это относится к идиомам, во внутренней форме которых есть обращение к минимальному количеству чего-либо типа *и пальцем не тронуть, ни один волос с головы не упал / упадет, не обмолвиться ни словом, не пускать на порог, капли в рот не брать, пальцем не пошевелить, пальцем о палец не ударить.* Это преобразование часто сопровождается появлением частицы *хоть.* Иллокутивное содержание таких примеров – угроза или предостережение. Ср.: ***Если хоть один волос упадет с ее головы****, я тебя так отделаю, что мама родная не узнает!;* "*На меня раз начальница отряда ментов траванула, но я ей сказала: меня* ***пальцем тронут,*** *я тебе на приеме или в коридоре горло вскрыть успею*" (Столица. 1992. № 17); ***Если*** *ты* ***хоть каплю в рот возьмешь****, можешь домой не возвращаться.* В некоторых случаях такое преобразование может вести к снятию идиоматичности. Так, идиома *не отходить ни на шаг* в условном контексте воспринимается почти буквально: ***Если*** *ты от меня* ***хоть на шаг отойдешь****, провалишься в болото.* В условном контексте может сниматься отрицание и у слабых эксплицитно-негативных идиом других типов, ср. идиому *своим глазам не верить* в следующем контексте [О памятнике Колумбу (126 м, Церетели), подаренном Клинтону Ельциным]: "***Если верить своим глазам и ушам****, был осуществлен самый дорогой в истории человечества рукотворный подарок в виде самого высокого в той же истории нефункционального сооружения*" (Итоги. 14 янв. 1997). Последний пример, впрочем, осложнен игровой составляющей – расширением состава идиомы за счет компонента *ушам.*

4.5. Контекст предложений цели. Слабые эксплицитно-позитивные идиомы вполне естественно сочетаются с отрицанием в предложениях со значением цели. Ср.: "*Ты же угрожал угробить майора Лашина, а это, сам знаешь, лагерный террор называется, минимум, десять лет. – Я ему не угрожал, – беззаботно заметил Леха, – я просился на строгий режим или в тюрьму как раз с той самой целью,* ***чтоб грех на душу не брать****"* (В. Делоне. Портреты в колючей раме); «⟨...⟩ *все политбюро сошлось на том, что ⟨...⟩ магазины "Березка", где по сертификатам без маскировки продукты продают высшего качества, закрыть немедленно, чтобы они, сволочи,* ***не мозолили народу глаза*** *и не уничтожали его веры в наше бесклассовое общество ⟨...⟩*» (Юз Алешковский. Маскировка). Отметим, что как и многие из ранее рассмотренных

контекстов, способствующих пропусканию отрицания, предложения со значением цели также описывают некоторый возможный мир, отличный от реальности.

4.6. Контекст вопросительных предложений. Как известно, вопросы – как общие, так и специальные – обладают сложным комплексом установок, выражающих отношение говорящего к той или иной альтернативе ответа (см., например, по этому поводу [Баранов, Кобозева 1983]). Так, общим простым негативным вопросам (с частицей *не* в своем составе) свойственна установка говорящего на отрицательную альтернативу ответа, а негативные *ли*-вопросы характеризуются выдвижением "положительной альтернативы в качестве возможной при подчеркиваемом осознании не меньшей вероятности отрицательной альтернативы" [Баранов, Кобозева 1983: 32]. Понятно, что контекст общих негативных вопросов должен способствовать пропусканию отрицания. И действительно, многие слабые эксплицитно-позитивные идиомы сочетаются с отрицанием в негативных вопросах. При этом иллокутивная семантика "истинного" вопроса приобретает черты речевого акта опасения. Понятно, что иллокутивное содержание вопроса такого типа налагает ограничение на семантику соответствующих идиом – это должны быть идиомы, в которых описывается отрицательно оцениваемая (даже опасная) ситуация. Этому требованию отвечают, например, идиомы со значением наказания типа *дать по мозгам, дать по шапке, голову оторвать / отвинтить: – Слушай, а нам бабка за помидоры и огурцы* ***голову не оторвет****? – Да, к ней сейчас лучше не соваться…*; идиомы с семантикой "переставать жить, умирать" типа *отдать концы, протянуть ноги, сыграть в ящик, откинуть копыта*; идиомы с семантикой обмана типа *обвести вокруг пальца, пудрить мозги: Он даже засомневался: а точно ли идет война, а* ***не обвели*** *его, случаем,* ***вокруг пальца***. Пропускают отрицание в общем вопросе и идиомы с общим значением 'перехода в отличающиеся от нормы ментальное состояние', ср.: "*– Человек, захотевший изменить себя, станет страдать от пристрастия к алкоголю или наркотикам? – Нет. –* ***И крыша не поедет****? – Исключено*" (Мегаполис-Экспресс. 1996. № 8). Как потенциально опасной предстает в наивном сознании и пристрастие к спиртным напиткам, ср.: *– А он у вас* ***в бутылку не заглядывает****? Знаем мы эти замашки! Сегодня бутылка, завтра бутылка, а там, глядишь, и спился!* Если же в значении идиомы фиксировано положительное или, по крайней мере, нейтральное отношение к употреблению спиртного (например, в случае единичного факта, а не перманентного состояния), то такой контекст пропускания отрицания невозможен, ср.: ** А они не пропустят по стаканчику?; *А он бутылку не раздавит?* Если вопрос указывает на единичный факт – например, вопрос с неингерентной темой, – то введение отрицания и для идиом последнего типа оказывается приемлемым, ср.: *– Они постоянно смеются, уж* ***не пропустили ли по стаканчику?***

В этой же группе идиом оказываются фразеологизмы, указывающие на нарушение тех или иных правил ведения коммуникации: "*Пятерка дружно шла к ларьку. – Он тебе* ***не действует на нервы****? – Саш, пожалуйста, не надо*" (А. Минчин. Факультет патологии).

Идиомы этой группы в вопросе часто употребляются в будущем времени: *А ты* ***не будешь читать*** *мне* ***мораль / лезть мне в душу / стоять над душой?*** и тогда имеют дополнительный оттенок значения условия-предупреждения, например, "не делай так, иначе я не буду делать что-то, нужное тебе". Тем самым идиомы со значением нарушения правил коммуникации, для которых наиболее стандартна сочетаемость с отрицанием в императиве, в других контекстах пропускания отрицания также имеют значение негативного императива – "не делай так".

Для частных вопросов категория исходного предположения (установки) не менее существенна. Включение идиомы с отрицанием чаще всего "усугубляет" установку говорящего, превращая истинный вопрос в ту или иную его модификацию – обвинение, выражение недовольства, полуриторическое утверждение и т.п. Например, вопросы с

почему могут интерпретироваться и как вопрос о причине чего-либо (чистый вопрос) и как обвинение в невыполнении требуемого. Так, вопрос *Почему ты не дочитал книгу?* в точном смысле допускает ответ *Она совершенно неинтересна* или *Не хочется тратить время на чтение, когда стоит такая прекрасная погода*, а как обвинение со стороны учителя в адрес ученика предполагает оправдание типа *Я не смог найти ее в библиотеке*. Отрицание идиомы в вопросительных предложениях с *почему* регулярно превращает последние в вопросы с косвенной функцией: *Почему ты не* ***послал*** *его* ***к черту****?; Почему ты после этого скандала не* ***выставил*** *его* ***за дверь****?*

Контекст общего вопроса – особенно косвенного вопроса близкого к риторическому – оказывается естественной средой для снятия отрицания в слабых эксплицитно-негативных идиомах. Дело в том, что общий вопрос в принципе предполагает существование позитивной и негативной альтернативы ответа. В риторической функции в поверхностной структуре вопроса высвечивается та альтернатива, которая представляется говорящему неправильной, а та, которая отражает его мнение, оказывается имплицитной, обеспечивая необходимый воздействующий эффект. Как известно из теории речевого воздействия, скрытая, имплицитная информация во многих случаях более эффективна, чем явная, эксплицитная. Сам факт даже виртуального присутствия отрицательной альтернативы облегчает снятие отрицания в слабых эксплицитно-негативных идиомах. Ср., например, идиомы *не валяться на дороге* и *язык не поворачивается* в следующих примерах: *Ты, что думаешь, мой милый,* ***мужья на дороге валяются****? Их надо хранить и беречь.; "– Я изверг? Ах ты стерва! Да как* ***язык у тебя повернулся****!"* (Викт. Ерофеев. Жизнь с идиотом); *Чего ты кричишь как резаная, я хоть* ***пальцем*** *тебя* ***тронул****?*

4.7. Оценочные контексты. Рассмотренные примеры пропускания отрицания показывают общую закономерность – введение отрицания, как правило, сопровождается расширением контекста с использованием синтаксических и лексических средств. Контексты оценки сопровождаются таким же эффектом: вводится предикат оценки (лексический фактор), который одновременно усложняет синтаксическую структуру предложения, ср.:? *Он* ***не вышел из себя*** и совершенно нормальную фразу *Удивительно, что с его темпераментом он* ***не вышел из себя***. Оценочный предикат может выражать как отрицательную (чаще слабоотрицательную смешанную с удивлением), так и положительную оценку, хотя положительная оценка превалирует. По-видимому, это связано с тем, что глагольная идиоматика в принципе тяготеет к описанию ситуаций, отклоняющихся от нормы в негативную сторону, ср.: *– У нас там доходяга один ваш. Совсем плохой –* ***хорошо****, что* ***дуба не дал****. Вот он услыхал, что вы тут в столовой работаете, да и послал меня. Хлеба просит; Они скоро всех повыселят, а комнаты сдавать будут по 500 рублей.* ***Хорошо*** *еще, что нам* ***от ворот поворот не дали***. Наличие частицы *еще* в последнем примере усиливает эффект оценивания, создавая в сознании адресата ожидания худшего ('могло бы быть и куда хуже'), ср. примеры типа ***Хорошо еще****, что* ***под замком не держит; Хорошо еще****, что* ***на сторону не бегает; Хорошо еще****, что* ***руки не распускает***. Разумеется, предикаты оценки могут быть самые разнообразные: *Ты* ***молодец****, что* ***не опустил руки; Спасибо, языком не болтает*** *– и то уже* ***плюс; Странно****, что он* ***не нагрел*** *на этом* ***руки****; "– Наш секретарь работает на компьютере, говорит по телефону, отвечает на вопросы и подписывает деловые бумаги. И при этом остается любезным и никогда не жалуется.* ***Остается загадкой****, как он* ***не теряет голову*** *в такой обстановке"* (Моск. ком. 5 дек. 1995).

4.8. Контексты пояснения. Допустимо появление отрицания с идиомами в контекстах пояснения, когда ситуация одновременно описывается другими, часто неидиоматическими средствами: *Он не взорвался,* ***не вышел из себя****; Он рассказывает все по порядку и* ***не валит все в одну кучу***. Порядок следования компонентов поясняющей

конструкции определяется их семантикой. Например, если идиома имеет более общее значение, чем другие компоненты, то она находится в препозиции, ср.: "*Но и врачи, организуясь в кооператив,* ***не бросают*** *народные* ***деньги на ветер****, не держат в нем множество чиновников, нет в Бразилии лишних медицинских начальников*" (Изв. 12 нояб. 1997). Если же степень общности описания идиомой и неидиомой приблизительно одинакова, то существенным оказывается метафоричность идиомы, ее оценочная составляющая, приводящая к постпозиции, ср.: "*Взглянув на рассвете под его сорочку, Войтик сразу понял, что Буров не протянет долго. Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику. Потому он не торопился,* ***сломя голову не бежал*** *невесть куда за подводой*" (В. Быков. В тумане). Обратный порядок поясняющих компонентов воспринимается как не вполне удовлетворительный: ... *Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику.? Потому он* ***сломя голову не бежал****, не торопился невесть куда за подводой.* Компоненты пояснения могут быть распределены и по нескольким предложениям, ср.: "*Он весьма хладнокровно воспринял свалившееся на него всенародное восхищение. Блажь и самомнение* ***не ударили ему в голову, носа он не задрал****. А это говорит об уме человека*" (Новая газ. 15 марта 1992).

В пояснении идиомы включены в конструкцию, имеющую функцию, близкую к метатекстовой, что сближает контексты рассматриваемого типа с контекстами цитации.

4.9. Кванторные контексты. Изначально из сферы анализа были исключены контрастивные контексты, поскольку контрастность в принципе позволяет варьировать сферу действия отрицания, хотя для идиом, как указывалось выше, здесь есть свои ограничения. Близки контрастивным, хотя и далеко не идентичны им, ситуации, в которых выражаются разнообразные кванторные смыслы. Кванторность в языке может выражаться как лексически (например, *все, всегда никто, никогда, нигде*...), так и грамматически (*Эту штуку уже не починишь* ≈ "никогда не починить"). Применительно к рассматриваемой проблеме нас интересуют кванторные слова типа *никогда, нигде, никто*. Использование квантора в утверждении усиливает последнее в том смысле, что оно оказывается противопоставленным другим возможным альтернативам (хотя, быть может, и чисто логическим) – отсюда привнесение некоторых свойств контрастивных ситуаций.

Сфера действия квантора может относиться к актантам идиомы, а также к прагматическим переменным – времени и месту происходящего, ср. время – "*Мать никогда* ***не теряла головы****, и сейчас ее голос был спокоен*" (В. Тендряков); участники ситуации " – *Замечательно находиться там, где ты никому* ***не жмешь на мозоль****, где и тебя никто не теснит, приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей*" (В. Аксенов. В поисках грустного беби); место – *Он нигде* ***порогов не обивал***. Очень часто сфера действия квантора одновременно распространяется на несколько типов переменных: *Главное – я презираю тех, кто добровольно пресмыкался. И сам я* ***на коленях*** *никогда* [время] *ни перед кем* [участник] ***не стоял.***

Грамматическое выражение кванторности в контекстах с идиомами часто связано с глагольными формами второго лица будущего времени. Традиционная грамматика определяет эти формы как обобщенно-личные. Для многих эксплицитно-негативных идиом такая форма является единственно возможной, ср.: *водой не разольешь, за уши не оттянешь, каши не сваришь, снега зимой не выпросишь, костей не соберешь, на мякине не проведешь*. Однако некоторые слабые эксплицитно-позитивные идиомы допускают аналогичное употребление. К ним относятся, например, идиомы с общей семантикой 'воздействия на адресата с целью достижения своей цели' *взять голыми руками, взять на понт, взять на пушку, взять на измор, взять на жалость, выбить / высадить из седла, положить на лопатки, прижать к стенке; взять на арапа; сбыть с рук; поставить на колени, заткнуть рот; поймать за руку, вывести на чистую воду; вокруг пальца обвести, сбить с толку; вогнать в краску; выжать*

слезу. Ср.: " – *Мистер Бербедж, вы хоть знаете, кто это такие? И зачем они вас вызывают? Вы сказали – через полчаса, а вот я не знаю, что с вами будет через полчаса. И Бербедж понял – Четля так просто* ***с рук не сбудешь***" (Ю. Домбровский. Смуглая леди); "*Генерала в отличие от какого-нибудь лейтенанта* ***на улицу*** *при всем желании просто так* ***не выставишь***" (Сегодня. 22 авг. 1997); "*Просто потребовали: запретить, запретить, запретить! Впрочем, надежды на такой исход дела мало: не на того напали. Голливуд* ***на арапа не возьмешь***" (Моск. ком. 29 марта 1997).

В кванторных контекстах возможно снятие отрицания в слабых эксплицитно-негативных идиомах, во внутренней форме которых есть обращение к минимальному количеству чего-либо. Как и в случае предложений условия (см. выше), иллокутивное содержание таких речевых актов – угроза, ср.: ***Любой****, кто ее хоть* ***пальцем тронет****...*; ***Любой****, кто об этом* ***обмолвится хоть словом****...* Заметим, что, в отличие от предшествующих случаев, в рассматриваемых примерах используются кванторные слова типа *любой*: "*Они прекрасно знают, что их снова обманут. Но надежда на чудо живет в их сердцах. Они будут проклинать Мавроди, но они перегрызут глотку* ***любому****, кто* ***тронет его пальцем***" (Огонек. 1995. № 41).

4.10. Сочетание факторов. Выделение факторов пропускания отрицания, разумеется, не означает, что они действуют исключительно по отдельности. Разноплановость факторов пропускания способствует их сочетанию в одном и том же контексте. Например, кванторность может сочетаться с целевыми придаточными и с оценкой, ср.: "***Чтобы*** *более* ***никто*** *из сыщиков и следователей ему больше* ***голову не морочил****, 4 мая прокурор уже выносит официальное постановление: уголовное дело прекратить*" (Огонек. 1996. № 1); *Вообще* ***странно****, что его* ***никто*** *до сих пор* ***на чистую воду не вывел.*** Оценка, в свою очередь, легко сочетается с условием и кванторностью и т.д.: *Как было бы* ***хорошо и спокойно, если бы никто в душу не лез/над душой не стоял/на нервы не действовал/грязью не поливал.*** Еще один случай совмещения факторов – комбинация будущего времени и вопроса. Все вместе это усиливает действие факторов пропускания отрицания, ср.: "– *Я скажу тебе правду. Но* ⟨...⟩ *ты* ***не будешь читать мне мораль****? Я ее сама себе уже прочитала. И если ты после этого не сочтешь возможным мне помогать, то дай слово, что хотя бы мешать не станешь*" (А. Маринина. Мужские игры).

4.11. Уникальные контексты. Уникальные контексты пропускания характеризуют отдельные идиомы или их небольшие группы, именно поэтому полное их исчисление затруднено. К уникальным можно отнести, например, конструкцию *достаточно/довольно* [идиома] *чтобы/что*, в которой снимается отрицание в некоторых слабых эксплицитно-негативных идиомах. Ср. идиомы *пальцем не пошевелить, не пускать на порог* в примерах (14а, б):

(14) **а**. "*Ситуация на Острове и вокруг него становится неуправляемой. Советскому Союзу* ***достаточно пошевелить пальцем, чтобы*** *присоединить вас к себе. Остров находится в естественной сфере советского влияния*" (В. Аксенов. Остров Крым). **б.** «*Справедливости ради надо признать, что корреспонденту "КП" действительно не поднесли в ресторане "Серебряный век" ни рюмки, ни закуски. Впрочем, поскольку он и в баню-то никогда не ходил, с него* ***довольно*** *и того,* ***что*** *на сей раз* ***пустили на порог***» (Независимая газ. 29 янв. 1997).

Некоторые контексты сами навязывают отрицание идиоме, включая его как непременный компонент. Такова, например, конструкция *разве что не P*: «*В рубрике "Моя реклама" было опубликовано объявление одной организации, предлагавшей работу исполнителя судебных приговоров. Страшно хотелось узнать, позвонит ли хоть кто-то по указанному телефону, и я* ***разве что на коленях не стоял****, упрашивая представителей этой организации поприсутствовать при телефонном собеседовании*» (Собеседник. 21 нояб. 1996). Данный контекст также можно отнести к

уникальным, поскольку он налагает довольно сильные ограничения на вложенный предикат *P*. Это могут быть идиомы, служащие ориентиром в оценке степени проявления определенного свойства ситуации (степень удовольствия, сила просьбы, боли, отказа и пр.) "– *Я хочу сказать об остановке в полете, неустойчивом равновесии, о той форме чувствования, при которой* ***разве что не сходишь с ума****, – о счастье...*" (Общая газ. 29 мая 1997); *От чудовищной боли* ***разве что об стенку не бился****...*; *По-всякому объяснял, что не пью,* ***разве что по матери не посылал****.* Заметим, что далеко не все идиомы, отвечающие сформулированному требованию, пропускают отрицание в данном контексте, ср. реальный, но вряд ли удовлетворительный пример из "Московского комсомольца" от 21 марта 1994: "*Выборы прошли без особых эксцессов. Теперь 20 миллионов чернокожих ждут – Мандела наобещал им* ***разве что не небо в алмазах****. Откуда возьмутся средства на очередной вариант земного рая, остается загадкой*".

К числу уникальных относится также контекст модальных слов, позволяющий формально убрать отрицание из структуры слабых эксплицитно-позитивных идиом: *глаз не оторвать, глаз не смыкать, места себе не находишь, глазам/ушам* [*своим*] *не верить, носа не показывать: «Клаудия снова и снова всматривалась в книгу и* ***не могла поверить своим глазам*** *– на нее смотрела та самая дама, портрет которой висел в галерее "Риччи Одди"»* (Независимая газ.); "*Весь тот день до самого вечера он* ***не мог найти себе места*** *и все бродил по двору, стоял под стрехой, сидел на кухне*" (В. Быков. Карьер); "– *Вера четвертую ночь плохо спит,* ***глаз*** *до рассвета* ***сомкнуть не может*** *после того, как ты с ней миленько поговорил по квартирному вопросу*" (В. Липатов. И это все о нем). Между тем снятие отрицания в данном случае мнимое. Дело в том, что в семантике этих идиом уже содержится модальный компонент, определяющий "пациенсные" характеристики субъекта: *X не находит себе место* = '*X*, будучи обеспокоен чем-л., пытается заняться чем-либо еще, но помимо своей воли **не может** делать ничего, кроме как думать об этом'. Эксплицитное появление модального глагола с отрицанием в предложении просто дублирует соответствующий компонент плана содержания идиомы – отрицание изымается из поверхностной структуры идиомы, но остается в семантической.

В своем роде уникально отрицание идиомы *мокрого места не останется*, которое не приводит к антонимическому преобразованию, поскольку отрицание привязано к способу указания на значение – к внутренней форме. Ср.: "*Если бы Жириновский замахнулся на Наину Иосифовну (она тоже была где-то рядом), от него* ***осталось бы мокрое место***" (Новая газ. 12 мая 1997); "*Если бы грохнуло, от нас* ***мокрого места бы не осталось***" (Изв. 9 окт. 1997).

5. СУЩНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОПУСКАНИЯ ОТРИЦАНИЯ

Семантическая модель плана содержания языкового выражения предполагает выявление взаимодействия его значения с контекстом (о понятии модели значения см. [Баранов 1996]). Эти две составляющих формируют актуальное значение речевого высказывания. Применительно к рассматриваемой проблеме, факторы пропускания отрицания можно условно разделить на **внутренние** – определяемые семантикой идиомы, и **внешние** – связанные с контекстом. Хотя задача работы концентрировалась прежде всего на поиске внешних факторов, одновременно выявлялись и внутренние. В идеальном случае внутренние факторы могут быть описаны как особенности семантики идиомы, которые предсказывают те или иные особенности ее сочетаемости с отрицанием. Пока здесь можно говорить лишь о тенденциях. Для слабых эксплицитно-позитивных идиом такой диагностической характеристикой плана содержания можно считать нежелательность описываемой ситуации и наличие контроля над нею со стороны адресата. Такие фразеологизмы, а в эту группу

попадают прежде всего идиомы, описывающие ситуации нарушения общих правил коммуникативного взаимодействия и ситуации причинения ущерба, пропускают отрицание в императиве и других близких к нему по иллокутивной функции грамматических формах (*Не пудри мне мозги!; Не вешай лапшу на уши!; Не принимай близко к сердцу всякую ерунду!; Не бери в голову!*). Многие идиомы этого типа могут употребляться с отрицанием в условных и вопросительных предложениях.

Другая группа слабых эксплицитно-позитивных идиом, в семантике которых присутствует идея унижения, допускают введение отрицания в будущем времени. В перформативном употреблении такие высказывания близки речевым актам клятвы (*На задних лапах я перед ним ходить не буду!; На брюхе перед начальством ползать не буду!*). Как диагностический фактор в значении идиомы можно рассматривать и наличие положительной или отрицательной оценки ситуации. Идиомы с такой семантической характеристикой пропускают отрицание в условных предложениях: *Если ты не возьмешься за ум...; Если дело не сдвинется с мертвой точки...*

Слабые эксплицитно-негативные идиомы, в семантике которых есть обращение к минимальному значению какого-либо признака, теряют отрицание в условных предложениях с иллокутивной функцией угрозы: *Если хоть один волос упадет с ее головы...!; Если ты хоть каплю в рот возьмешь...!*

Внешние факторы пропускания отрицания тесно связаны с двумя феноменами – с сущностью отрицания как отклонения от нормы, стандарта и с идиоматикой как не вполне стандартным способом использования языка для описания ситуации. Разумеется, в этих случаях речь идет о нормах различного содержания. Норма, соотносимая с позитивными высказываниями, соответствует норме, стандарту, который, как это было убедительно показано в [Санников 1988], входит в значение сочинительных союзов *и, а то и, но, а*. В этом смысле при нормальном описании нормальной же ситуации естественно использовать позитивную форму высказывания. Например, если сравнивать рестриктивные и нерестриктивные определения, то только последние не несут субъективной оценки говорящего, описывают некоторый стандарт. Используя рестриктивные определения, говорящий выбирает один объект из ситуационного множества объектов по определенному признаку и тем самым отрицает другие. В этом сущность отрицания – оно в определенном смысле всегда есть отклонение от нормы.

Идиоматика нестандартна в другом смысле: ее использование требует от говорящего уникальных, "штучных" знаний о функционировании языка, которые не охватываются обычной грамматикой и находятся в постоянно меняющейся промежуточной зоне между грамматикой и словарем (см. по этому поводу [Баранов, Добровольский 1996]). Наложение одного отклонения от нормы на другое дает не всегда предсказуемые эффекты. Анализ материала показывает, что идиомы чаще не пропускают отрицание, чем пропускают. Действительно, отрицание идиомы, описывающей нестандартную ситуацию, должно указывать либо на стандарт, либо на конфликт, контрастивность. Стандартную, нормальную ситуацию описывать таким хитрым способом слишком сложно (хотя языковая система изобилует примерами неэкономности и нелогичности). Тем не менее, тенденция очевидна – введение отрицания в структуру идиомы (или его элиминация) в большинстве случаев требует существенного изменения контекста, определяемого внешними факторами пропускания отрицания. Естественно задаться вопросом, какова сущность этих изменений и, соответственно, содержание внешних факторов. Рассмотренные выше внешние факторы разделяются на три основные группы.

Если описываемое положение дел, ситуация не реальна, а гипотетична, то ее отрицание имеет больше шансов на то, чтобы оказаться приемлемым. Так, странно сказать – *он лапшу на уши мне не вешает*, так как нормальная коммуникация не предполагает ложь, но естественно сказать – *не вешай мне лапшу на уши*, так как здесь уже описывается не реальная действительнсть со всеми ее возможными нормами

и отклонениями, а указывается на гипотетическое, желаемое положение вещей. Тем самым идиома в неиндикативной форме имеет бóльшие шансы на сочетаемость с отрицанием, чем идиома в индикативе, если понимать неиндикатив расширительно, относя к нему не только сослагательное наклонение и императив, но и вопросительные, условные, целевые предложения, а также будущее время. Отсюда сущность обсуждавшихся выше внешних факторов пропускания отрицания, позволяющих вводить отрицание в эксплицитно-позитивные и эксплицитно-негативные идиомы в условных, вопросительных, целевых и прочих предложениях.

В иную плоскость обсуждения попадает дискурс в контексте цитирования и пояснения. Попадая на уровень метатекста, говорящие также отдаляются от обсуждения тех или иных аспектов реальности, сосредотачиваясь на реальности языка, языковой системы, употребления языковых выражений в речи.

Наконец, остается еще одна группа внешних факторов пропускания отрицания, которая позволяет ввести отрицание в идиомы. Эти факторы привносят в контекст те или иные характеристики контрастивных ситуаций – противопоставление, выбор из множества (рестриктивность), установки/ожидания. Последнее, как правило, сопровождается расширением контекста, эксплицитным пояснением тех или иных особенностей обсуждаемого положения дел. Факторы такого рода в полной мере проявляются в оценочных и кванторных контекстах. Лексически оценочные и кванторные высказывания часто осложнены частицами (прежде всего усилительными и ограничительными).

Особая проблема, оставшаяся за пределами данной статьи, семантические и синтаксические характеристики сильных эксплицитно-позитивных и эксплитивно-негативных идиом. Весьма вероятно, что полный запрет на пропускание отрицания (или его снятие) непосредственно связан с их семантикой. Некоторые закономерности выявляются сравнительно легко на первом этапе анализа. Так, не пропускают отрицания сентенциальные идиомы типа *а ларчик просто открывался, бабушка надвое сказала, вернемся к нашим баранам*. Во многом это объясняется фиксацией структуры идиом такого типа: в них просто не предусмотрено место для введения отрицания. Как правило, не сочетаются с отрицанием идиомы, в поверхностной структуре которых представлен союз *как* и его аналоги: *бежать как черт от ладана, беречь как зеницу ока, везет как утопленнику, будто в воду смотреть, будто ветром сдуло, врать как сивый мерин, расти как грибы*. По-видимому, это связано с противоречием между поверхностной и глубинной структурой этих идиом. Обычные сравнения проницаемы для общего отрицания, которое синтаксически связывается с *как: Не верно, что он делает все как я → Он делает все не как я*. Аналогично изменяется и семантическая структура, в которой представлен предикат сравнения. Однако семантическая структура идиом рассматриваемого типа (по крайней мере их актуальное значение) сравнение, как правило, не содержит: *X бежит от Y-а как черт от ладана* ≈ '*X* не желает иметь дело с *Y*-ом и предпринимает для этого активные усилия'; *X-ы растут как грибы* ≈ '*X*-ы очень быстро количественно увеличиваются'. Иными словами, введению отрицания мешает семантическая нечленимость идиом-сравнений. Одним из немногих исключений можно считать идиому *вертеться как белка в колесе*, пропускающую отрицание в императиве (*Да не вертись ты как белка в колесе!*). По-видимому, значимость запрета причинять себе вред перевешивает семантическую непрозрачность.

По той же причине невозможно введение отрицания в идиомы с кванторным словом *все: бить во все колокола, все дороги ведут в Рим, все соки вытянуть, все уши прожужжать*. Их семантическая нечленимость не дает возможности разумно проинтерпретировать отрицание в поверхностной структуре идиомы, сопоставив его с отрицанием в семантической структуре.

В ряде случаев можно говорить только о тенденциях, а не о правилах. Так, глагольные идиомы со значением высшей степени проявления признака плохо

поддаются операции отрицания, ср.: *беречь пуще глаза/глазу, бить ключом, бить через край, покраснеть до корней волос, выдать с головой*. Как кажется, осложняет введение отрицания и яркая внутренняя форма, ср. *медведь на ухо наступил (кому-л)*. Появление отрицания в этом случае может дать эффект материализации метафоры, фиксированной во внутренней форме. В целом классификация и характеристики сильных эксплицитно-позитивных и негативных идиом требуют особого обсуждения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1990 – Языковые аномалии: виды и функции // Res philologica. Филологические исследования. М., 1990.

Баранов А.Н. 1984 – Материалы к семантической типологии: исследование некоторых способов выражения реляции контрастивности в дунганском языке // Восточное языкознание. Грамматическое и актуальное членение предложения. М., 1984.

Баранов А.Н. 1996 – Служебные слова как объект исследования авторской лексикографии (*по крайней мере* vs. *по меньшей мере* в художественных текстах Ф.М. Достоевского) // Слово Достоевского. М., 1996.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1995 – Современная русская идиоматика (проект словаря) // Русистика сегодня. 1995. № 4.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1996 – Идиоматичность и идиомы // ВЯ. 1996. № 5.

Баранов А.Н., Кобозева И.М. 1983 – Семантика общих вопросов в русском языке // ИАН СЛЯ. 1983. № 3.

Грайс Г.П. 1985 – Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.

Падучева Е.В. 1974 – О семантике синтаксиса (материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.

Санников В.З. 1988 – Смысловой компонент 'норма' в значении русских сочинительных союзов // Вопросы кибернетики. Проблемы разработки формальной модели языка. М., 1988.

ТИК 1992 – Типология императивных конструкций. СПб., 1992.

Шмелев Д.Н. 1958 – Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке // ВЯ. 1958. № 6.

Baker C.-L. 1970 – Double negatives // Linguistic inquiry. 1970. V. 1.

Dobrovol'skij D. 2000 – Gibt es Regeln für die Passivierung deutscher Idiome? (в печати).

Leech G.N. 1983 – Principles of pragmatics. London; New York, 1983.

Mühring J. 1996 – Passivfähigkeit verbaler Phraseologismen // Korhonen, Jarmo (Hrsg). Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen II. Bochum, 1996.

Seuren P.A.M. 1974 – Negative travels // Semantic Syntax. Oxford, 1974.

Seuren P.A.M. 1978 – The structure and selection of positive and negative gradable adjectives // Papers from the parasession on the lexicon. Chicago, 1978.

Wierzbicka A. 1975 – Topic, focus and deep structure // Papers in linguistics. 1975. V. 8. № 1–2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. Л.М. САВОСИНА

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕЕ СООТНЕСЕННОСТЬ С АКТУАЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМОЙ

В многочисленных работах, освещающих вопрос о парадигме предложения (интерес к которой не ослабевает и сегодня), отражаются различные (но внутренне не противоречивые) подходы лингвистов к осмыслению данного понятия (см. [Адамец, Грабе 1966; Шведова 1967; Ломтев 1969; Москальская 1974; Арутюнова 1976; Белошапкова, Шмелева 1981; Золотова 1982; Падучева 1985; Всеволодова, Дементьева 1997] и др.).

Понятие парадигмы применяется автором данной статьи при рассмотрении рядов предложений, объединенных тождеством отражаемой ими ситуации характеризации, на понятие которой мы и опираемся при определении критерия общности парадигмы предложения.

Исходя из широкого понимания автором парадигмы предложения, в ней, судя по наблюдениям над функционированием в речи предложений определенного класса – биноминативных предложений, выражающих отношения характеризации, типа *Красицкое – село хорошее, Мурманск – крупный порт* (далее – биноминативные предложения характеризации), можно выделить три подмножества: актуализационную, синтаксическую и трансформационную парадигмы.

Понятно, что в рамках одной статьи невозможно дать целостную картину парадигматических возможностей биноминативных предложений характеризации, поэтому в предыдущих наших работах были представлены актуализационная и синтаксическая парадигмы предложений этого типа, показаны их тесная взаимосвязь и соотнесенность с коммуникативной установкой говорящего (см. [Савосина 1998а; 1998б]).

Представляя синтаксическую парадигму биноминативных предложений характеризации, мы отмечали, что не включаем в нее те синонимические преобразования высказывания, при которых не сохраняется единство модели, а выделяем их (вслед за В.А. Белошапковой) в отдельный парадигматический тип – трансформационную парадигму. Напомним, что идея таких синонимических преобразований (перефразировок) была высказана В.А. Белошапковой в докладе на Московском конгрессе МАПРЯЛ в 1990 году.

В данной статье делается попытка дать общее представление о трансформационной парадигме биноминативных предложений характеризации двух типов: 1) высказываний с типовым значением "субъект – носитель признака и его квалитативно-квалификативный признак", в рему которых входят родовые слова типа *народ, птица, зверь, растение* и др.: *Операторы – народ загадочный; Синица – птица весьма полезная; Мемуары – жанр грустный;* 2) высказываний с типовым значением "субъект – носитель признака и его квалификативно-квалитативный признак", в рему которых входят слова-квалификаторы типа *педагог, артист, порт, центр, здравница* и др.: *Иван Попов – замечательный новосибирский художник; Ласка* (лесной зверек. – *Л.М.*) *– верный союзник с грызунами; А наше Подмосковье, между прочим, прекрасная здравница.*

Как показывает материал, трансформационная парадигма биноминативных предло-

жений характеризации опирается на коммуникативные реализации модели и объединяет связочные варианты предложений и синонимические трансформы – перефразировки исходных моделей. Показателен тот факт, что трансформационная парадигма рассматриваемых предложений (как и их синтаксическая парадигма) тесно связана с актуализационной парадигмой этих предложений, т.е. члены трансформационной парадигмы являются средством решения тех же коммуникативных задач, которые решает и их актуализационная парадигма.

Здесь уместно, на наш взгляд, отметить, что еще В.В. Виноградов характеризовал синтаксический строй современного литературного языка как сложное и подвижное семантическое единство процессов и явлений [Виноградов 1947], где каждое предложение взаимосвязано с предложениями других моделей, с предложениями, варьирующими состав исходной модели.

Итак, представим трансформационную парадигму на основе биноминативных предложений характеризации типа ***Красицкое – село хорошее.*** Данное предложение является исходной моделью их трансформационной парадигмы.

I. Связочные варианты исходной модели формируются следующими типами связок[1].

1. Связками – неполнознаменательными глаголами, употребляемыми для решения первой коммуникативной задачи[2], которая заключается в том, чтобы на основе заданного порядка следования компонентов высказывания (характеризуемый протагонист[3] – характеризующая именная группа) интонировать данное высказывание в зависимости от целевой установки (далее – **КЗ-1**) и второй коммуникативной задачи, состоящей в том, чтобы изменить порядок следования членов характеризующей именной группы в зависимости от коммуникативной установки говорящего и интонировать высказывание (далее – **КЗ-2**):

а) Связочным глаголом (или "квазиглаголом", по мнению В.В. Виноградова) ***быть*** в форме настоящего времени единственного числа (***есть***) и множественного числа (***суть***), который употребляется при актуализации ремы высказывания, при этом акцентно выделяются оба компонента рематической синтагмы, в случае конситуативной обусловленности, если в предшествующем контексте уже шла речь о субъекте[4]:

КЗ-1" *Сии столь оклеветанные смотрители вообще* ***суть*** *люди мирные, от природы услужливые...* (А.С. Пушкин. Станционный смотритель); **КЗ-2:** *Человек* ***есть*** *социальное существо, и язык есть одно из ярких проявлений его социальной сущности* (Русская речь. 1994. № 2).

б) Специфическими связками (полузнаменательными глаголами), которые не вносят новой информации в предложение (введение которых в структуры высказывания не изменяет его содержания). Их специфические функции и семантика требуют дальнейшего изучения, однако уже предварительные наблюдения позволяют заключить, что: 1) в плане коммуникативном они маркируют рему; 2) они обладают собственной семантикой и вследствие этого избирательной сочетаемостью; 3) некоторые из связок служат "переключателями" позиций подлежащего и сказуемого; 4) употребление некоторых связок конситуативно обусловлено.

---

[1] При классификации связок мы опирались на работы [Золотова 1982; Всеволодова 1997; Вопросы... 1989].

[2] При первичном рассмотрении актуализационной парадигмы предложений этого типа были выделены четыре коммуникативные задачи, реализующиеся в нескольких коммуникативных разновидностях, имеющих определенную цель (подробнее об этом см. [Савосина 1998а]).

[3] Протагонист – единственный или первый участник ситуации, организующий ее.

[4] Ср. точку зрения В.А. Белошапковой, считающей, что слова *есть* и *суть* являются приремными частицами, разграничивающими тему и рему и не выражающими предикативности, которые хотя и употребляются в предложениях со значением настоящего времени, вследствие отсутствия связки, но несут эмоционально-окрашенные метатекстовые функции [Белошапкова 1977].

Наиболее системными в биноминативных предложениях характеризации рассматриваемого типа являются связки: *являться, являть собой, представлять, служить.* Эти связки употребляются для решения первой, второй и четвертой коммуникативной задачи, которая заключается в том, чтобы представить отношения между характеризуемым протагонистом (субъектом высказывания) и характеризующей его именной группой (предикатом высказывания) и интонировать высказывание (далее – **КЗ-4**). Например: **КЗ-1:** *Применяемый спортсменами эклистен* ***являл собой*** *препарат растительный, а не химический* (Сов. спорт. 19 дек. 1997 г.); *С тех самых пор это судно* ***представляло*** *опасность для города реальную* (Комс. правда. 10 сент. 1997 г.); **КЗ-2:** *Эта северо-западная Германия* ***представляла*** *в 18 веке любопытный во многих отношениях уголок Европы* (В.О. Ключевский. Исторические портреты); *Три камня, хорошо подогнанные друг к другу,* ***являли собой*** *превосходный трилит XX века* (Ридерз Дайджест. 1997. № 2); *Описанные свойства этого человека* ***служат*** *любопытным материалом для психологов* (Вопросы психологии. 1996. № 3); **КЗ-4:** *Не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом* ***представлял*** *этот дворец* (В.О. Ключевский. Исторические портреты); *Добрым, сказочным, светлым праздником* ***является*** *Новый год* (Огонек. 1998. № 50); *Важным местом, по которому различают касаток,* ***служит*** *"седло"* (Рид. Дайджест. 1996. № 9).

Как уже отмечалось, указанные связки имеют свою семантику и в силу чего не всегда взаимозаменимы, ср.: *Ученый склонен предполагать, что аборигены* ***представляли собой*** *некие исполинские сверхорганизмы* (Наука и жизнь. 1995. № 2) и **...аборигены* ***являлись*** *некими исполинскими сверхорганизмами; Соус "Табаско"* ***является*** *действенным средством против бактерий* (Рид. Дайджест. 1997. № 3) и **Соус "Табаско"* ***служит*** *действенным средством против бактерий.*

Следует заметить, что в биноминативных предложениях характеризации рассматриваемого типа частотно синонимическое употребление связок *представлять* и *являться*, как правило, в форме настоящего времени несовершенного вида: *Душа радовалась при мысли, что Андарская сопка* ***представляет*** *такое дикое и пустынное место* (К. Паустовский. Северная повесть.) и *...Андарская сопка* ***является*** *таким диким и пустынным местом; Однако в действительности атомы* ***представляют собой*** *устойчивые преобразования* (Наука и жизнь. 1996. № 3) и *Однако атомы* ***являются*** *устойчивыми преобразованиями.*

Впрочем, несмотря на синонимичность, высказывания с этими связочными глаголами имеют некоторое различие: в высказываниях со связкой "представлять" (*собой*) изменение их темо-рематической организации невозможно, в то время как высказывания со связкой *являться* – это всегда гибкая модель, где связочный глагол допускает темо-рематическую мену, ср.: *Еще 30 лет назад шишковидное тело мозга величиной с горошину* (Т) *представляло собой удивительную загадку* (Р) – *Удивительную загадку* (Т) *представляло собой еще 30 лет назад шишковидное тело мозга величиной с горошину* (Р); *Таблицы Нострадамуса* (Т) *являются четкой хронологией событий будущего* (Р). (Д. Зима. Расшифрованный Нострадамус). – *Четкой хронологией событий будущего* (Т) *являются таблицы Нострадамуса* (Р).

2. Связками – показателями смысловых отношений со значением "включения" ("идентификаторы отношений" по Ш. Балли, "компликаторные глаголы" у Г.А. Золотовой, "реляторы" у Н.Д. Арутюновой) типа *относиться к, входить в число, принадлежать к числу* и др., а также элективный компонент *один из*, указывающие на вхождение субъекта в некоторое множество. Решая **КЗ-2** и **КЗ-4,** связки этого типа допускают темо-рематическую мену: подлежащее становиться ремой, а сказуемое – темой. При изменении коммуникативного задания меняются и организующие предложение логические отношения при том, что формальная синтаксическая структура остается неизменной.

Так, при решении **КЗ-4** предложения характеризации типа *Карелия* ***принадлежит к числу*** (Т) *красочных уголков нашей родины* (Р), *Серебро* (Т) ***относится*** *к драгоценным металлам* (Р), реализующие **КЗ-2,** благодаря связкам, при которых возможна темо-рематическая мена, будут выражать уже иные логические отношения: идентификации – *К числу красочных уголков нашей родины* (Т) *принадлежит Карелия* (Р), поскольку рема выражена здесь референтным именем – именем собственным (см. [Арутюнова, Ширяев 1983: 9]) или классификации – *К драгоценным металлам* (Т) *относится серебро* (Р).

Связочные функции выполняют и такие характерные для высказываний этого типа глаголы, как *слыть, выглядеть, выйти, расти,* при элиминировании которых смысл предложений не изменяется. Эти глаголы используются при решении всех четырех коммуникативных задач. Например: **КЗ-1:** *2x2* ***прослыл*** *среди коллег каналом откровенно коммерческим...* (Неделя. 1996. № 15); *В домашней обстановке все политики чаще всего* ***выглядят*** *людьми довольно симпатичными* (Комс. правда. 21 мая 1997); **КЗ-2:** *А между тем крестьяне из северных мест...* ***вышли*** *необыкновенными людьми* (А. Платонов. Государственный человек); **КЗ-3,** состоящая в том, чтобы представить отношения между членами характеризующей протагониста именной группы и интонировать высказывание: *Мальчиком Олег* ***растет*** *пока обычным* (А.Т. Шевцов. Любовь и ненависть); **КЗ-4:** *Сказочными залами* ***выглядят*** *эти уральские пещеры* (Русская природа. 1995).

II. Синонимические трансформы – перефразировки представляют собой модели с другими типовыми значениями. Прежде чем их представить, сделаем следующее замечание: поскольку предметом наших наблюдений служат **биноминативные** предложения, то все остальные синонимичные конструкции, в том числе изосемические глагольные, в целях единообразия представления материала, мы будем считать перефразировками. Как будет показано ниже, биноминативные предложения характеризации и их перефразировки находятся как в синонимических отношениях, так и в отношениях дополнительной дистрибуции.

Итак, коррелятами биноминативных предложений характеризации рассматриваемого типа являются перефразировки, представленные:

1. Изосемическими глагольными конструкциями с субъектом в роли экспериенцера[5], формируемыми реляционными предикатами со значением **положительных отношений:** *Жители деревни почитают Авдотью женщиной неординарной* (Крестьянка. 1997. № 4); *Завсегдатаи московских и питерских тусовок знают Лизу как человека компанейского и азартного* (Комс. правда. 4 дек. 1998 г.); **с субъектом состояния,** формируемыми стативными предикатами эмоционально-психического действия: *Зимой, особенно морозной, все шведы чувствуют себя счастливыми* (Весь мир. 1996. № 3), ср.: *Зима, особенно морозная – счастливое время для всех шведов;* **с субъектом в роли поссесора** (в ситуации владения, обладания), формируемыми реляционными предикатами: *Только Венера не имеет магнитного поля* (Наука и жизнь. 1995. № 4), ср.: *Венера – единственная немагнитная планета;* **с субъектом в роли дескриптива,** формируемыми характеризационными предикатами: *Конькобежные организации Голландии нашли Купио идеальным местом для новых соревнований* (Рид. Дайджест. 1996. № 3), ср.: *Купио – идеальное место для новых соревнований* и др.

2. Моделями, формируемыми описательными предикатами: *При каждом звонке из России я* ***испытывал*** *большую* ***радость*** (Изв. 21 окт. 1997 г.), ср.: *Каждому звонку из России я очень радовался; Каждый звонок из России – большая радость для меня; Вся жизнь кардинала Миндсенти* ***представляла*** *яркое* ***свидетельство*** *его преданности*

---

[5] Экспериенцер – одушевленный протагонист физиологического или эмоционально-психического действия, состояния, отношения.

Христу и церкви (Рид. Дайджест. 1997. № 3), ср.: *Вся жизнь кардинала Миндцети свидетельствовала о его преданности Христу и церкви; Кардинал Миндсенти – яркое свидетельство его преданности Христу и церкви;* ***В*** *непрерывном* ***движении*** *лесной зверек* ***находится*** *всю жизнь* (Природа. 1996), ср.: *Двигается лесной зверек непрерывно всю жизнь; Непрерывное движение – характерное состояние в жизни лесного зверька* и др.

3. Моделями с предикатами, представленными фразеологическими (реже терминологическими) сочетаниями ("связанными синтаксическими конструкциями", по определению Д.Н. Шмелева) в случае решения всех четырех **КЗ:**

КЗ-1: *Для Перу экономический ущерб в 14 млн. долларов как* ***нож острый*** (Экон. газ. 27 февр. 1996 г.); **КЗ-2:** *Только по одному этому действу можно заключить, что прокурор* ***в доску наш человек*** (Комс. правда. 24 марта 1998 г.); **КЗ-3:** ***Крепким*** *Струмилин оказался* ***орешком*** (И. Лазутин. Суд идет); **КЗ-4:** ***Головная боль*** *для владельцев коттеджей – барсуки* (Охотн. угодья. 1997. № 2); ***Темной лошадкой*** *числится в группе эта пловчиха* (Сов. спорт. 5 янв. 1997 г.) и др.

Заметим, что предложения с глагольными сказуемыми (и другими типами сказуемых) свидетельствуют о периферийном характере этих моделей среди биноминативных конструкций, которые в данном случае по сути сами являются перифразировками изосемических глагольных конструкций.

Такова в кратком изложении трансформационная парадигма биноминативных предложений характеризации первого типа (*Красицкое – село хорошее*) при первоначальном ее наблюдении.

Что касается трансформационной парадигмы предложений второго типа (***Мурманск – крупный порт***), отличающихся, как уже отмечалось в предыдущих работах автора, от предложений первого типа своей линейно-интонационной структурой и семантико-синтаксической организацией и решающих несколько иные, чем предложения первого типа, коммуникативные задачи, то она, **имея ту же структуру, что и трансформационная парадигма предложений первого типа,** несколько расширяет свои рамки, включая дополнительные связочные варианты и перефразировки исходной модели.

Дадим общее представление о трансформационной парадигме предложений типа *Мурманск – крупный порт*. Данное предложение является исходной моделью их трансформационной парадигмы.

I. Связочные варианты исходной модели формируются следующими типами связок:

1. Связками – неполнознаменательными глаголами, используемыми при решении всех трех коммуникативных задач[6]:

а) ***Быть*** в форме прошедшего времени (при этом акцентируются оба компонента рематической синтагмы при решении **КЗ-1,** состоящей в том, чтобы охарактеризовать протагониста (одушевленного субъекта высказывания) с целью раскрытия характера его роли в конкретной сфере ее проявления (физической, эмоционально-психической, интеллектуально-творческой, социальной, духовной и др.: *Директор* ***был*** *достойным соперником* (А. Иванов. Вечный зов); *Монахи* ***были*** *прекрасными обработчиками информации своего времени, собирая, переписывая шедевры литературы по всей Европе* (Встречи с прошлым. 1985); **КЗ-2,** заключающейся в том, чтобы охарактеризовать протагониста (одушевленного субъекта высказывания) с целью раскрытия характера его роли в разных сферах ее проявления: *В.М. Гуженков* ***был*** *выдающимся следователем и замечательным человеком* (Независимая газ. 16 мая 1998 г.); *Д. Шоста-*

---

[6] Коммуникативные задачи этого типа были выявлены при рассмотрении актуализационной парадигмы предложений типа *Мурманск – крупный порт* (подробнее об этом см. [Савосина 1998а]).

кович ***был*** *уникальным дирижером и удивительным педагогом* (Муз. жизнь. 1995. № 4); **КЗ-3,** состоящей в том, чтобы дать протагонисту (неодушевленному субъекту высказывания) объективную специфическую характеристику, связанную с его постоянными систематическими функциями: *Беличьи шкурки* ***были*** *первыми деньгами на Руси* (Изв. 17 февр. 1998 г.); *Ялта* ***была*** *популярной здравницей у россиян* (Мед. газ. 12 янв. 1997 г.).

б) Специфическими связками, маркирующими рему высказывания. Наиболее системными в биноминативных предложениях характеризации этого типа являются связки: *являться, делаться, служить, работать.* Например: **КЗ-1:** *Наконец, толстый... оставляет службу... и* ***делается*** *помещиком, славным русским барином* (Н.В. Гоголь. Мертвые души); при решении **КЗ-1** для усиления актуализации типа отношения говорящий может выносить глагольную связку в абсолютный конец предложения: *Я 10 лет уже главным редактором* ***работаю*** (Независимая газ. 19 марта 1997 г.); **КЗ-2:** *Королем леса и диким символом Швеции* ***является*** *лось* (Неделя. 1997. № 19). **КЗ-3:** *Монастырь* ***служил*** *для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церквью, и, наконец, хорошим приютом под старость* (В. Астафьев. Зрячий посох); *Имя Сергия Радонежского* ***сделалось*** *вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа* (В.О. Ключевский. Исторические портреты).

Отметим, что связка *являться,* формирующая биноминативные предложения характеризации данного типа, может выступать в них со значением: а) положительных отсубъектных отношений: *Сама Екатерина Медичи* ***являлась*** *пылкой поклонницей гениального пророка* (Д. Зима. Расшифрованный Нострадамус); *Е. Тодесс* ***является*** *прекрасным знатоком Тынянова* (Лит. газ. 11 авг. 1997 г.); б) отобъектных отношений: *Наиболее ярким интерпретатором музыки Шостаковича* ***является*** *польский дирижер Пендерецкий* (Муз. жизнь. 1996. № 4); *О. Табаков* ***является*** *страстным почитателем творчества И. Репина* (Неделя. 1996. № 50).

2. Связками – показателями смысловых отношений со значением "включения" типа *принадлежать к числу, входить в число, составлять, один из,* употребляемых при решении **КЗ-1** и **КЗ-3:**

КЗ-1: *Ф.М. Ртищев* ***принадлежал к числу*** *первых насадителей народного образования в Москве XVII века* (В.О. Ключевский. Исторические портреты); *Третью часть комиссии* ***составляют*** *серьезные юристы* (Общая газ. 8 окт. 1997 г.); **КЗ-3**: *США* ***входит в число*** *основных потребителей специалистов из стран "третьего мира"* (АиФ. 1997. № 15); *Мышцы –* ***одно из*** *мощных лекарств, данных человеку природой* (Мед. газ. 24 янв. 1996 г.).

Как и в первом случае, связочные функции выполняют характерные и для высказываний этого типа глаголы: *слыть, видеться, выйти,* употребляемые при решении **КЗ-1:** *В институте Ирина* ***слыла*** *одной из лучших учениц по уму и способностям* (И.С. Тургенев. Дым); *В свои 27 лет он* ***виделся*** *ей зрелым философом* (Огонек. 1997. № 3); *Живых-то я уступила протопопу..., девки такие* ***вышли*** *славные работницы; сами салфетки ткут* (Н.В. Гоголь. Мертвые души).

II. Синонимические трансформы – перефразировки биноминативных предложений характеризации рассматриваемого типа разнообразнее, чем в первом случае. Они представлены:

1. Изосемическими глагольными конструкциями с другими типовыми значениями: **с субъектом в роли элементива**[7] **или комплексива**[8], формируемыми реляционными преди-

---

[7] Элементив – один из элементов множества по отношению к множеству – генеративу.

[8] Комплексив – целое по отношению ко всем составляющим его частям.

катами со значением положительных отношений лиц относительно друг друга в некоторой системе: *Анатолий называл коллег блестящими, талантливыми, великими учеными* (Техн. молодежи. 1997. № 2); *Жители Салона знали доктора как прекрасного специалиста и добродушного человека, с широким чувством юмора* (Д. Зима. Расшифрованный Нострадамус), **с субъектом в роли экспериенцера** со значением эмоционально-психического действия: *Местные шейхи очень любят забавляться соколиной охотой* (Весь мир. 1997. № 4), ср.: *Любимая забава местных шейхов – соколиная охота*; интеллектуально-творческого отношения: *В "Недоросле" Ключевский справедливо увидел прекрасный источник по истории XVIII века*, ср. *"Недоросль" – прекрасный источник по истории XVIII века; Ключевский верно признавал комедию бесподобным зеркалом русской действительности*, ср.: *Комедия "Недоросль" – бесподобное зеркало русской действительности*; **с субъектом в роли агенса,** формируемыми акциональными предикатами физического или интеллектуально-творческого действия: *Надо заметить, что Фалалей отлично плясал* (Ф. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели), ср.: *Фалалей – отличный плясун; Лиса охотится в одиночку* (Охотн. угодья. 1996. № 1), ср.: *Лиса – одинокий охотник; Стюарт играет идеально, если требуется изобразить обыкновенного человека в необыкновенных обстоятельствах* (Лит. газ. 19 окт. 1998 г.), ср. *Стюарт – идеальный актер...*; **с субъектом в роли донатора**[9], формируемыми акциональными предикатами: *В основном страны Восточной Европы поставляют нам лекарственные средства* (АиФ. 1996. № 48), ср.: *Страны Восточной Европы – основные поставщики лекарственных средств*; **с субъектом в роли дескриптива**, формируемыми характеризационными предикатами: *По признанию специалистов, Бразилия лидирует по добыче драгоценных камней* (Независимая газ. 24 янв. 1997 г.), ср.: *Бразилия – признанный лидер по добыче драгоценных камней; Из Петра Великого вышел истый моряк* (В.О. Ключевский. Исторические портреты), ср.: *Петр Великий – истый моряк* и др.

2. Моделями, формируемыми описательными предикатами: *И вдруг я узнал, что прокурор с большой страстью* ***занимается собирателем*** *жуков* (А. Лукин. Тихая Одесса), ср.: *И вдруг я узнал, что прокурор с большой страстью собирает жуков; ... прокурор – страстный собиратель жуков; Дядя многим* ***оказывает благодеяния*** (Ф. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели), ср.: *Дядя – большой благодетель; Киты любят* ***совершать*** *больше* ***путешествия****, они проплывают более 8 тысяч километров* (Вокруг света. 1996. № 1), ср.: *Киты очень любят путешествовать...; Киты – большие путешественники...; Притом всякий охотник до ружья и до собаки* ***относится*** *со страстным* ***почитанием*** *к самому благородному животному в мире: лошади* (И.С. Тургенев. Лебедянь), ср.: *Притом всякий охотник до ружья и до собаки страстно почитает самое благородное животное в мире: лошадь; Притом всякий охотник... – страстный почитатель самого благородного животного в мире: лошади.*

3. Моделями с предикатами, представленными устойчивыми сочетаниями, элиминирование которых не изменяет содержание предложения: **КЗ-1**: *С 1948 года Хейник* ***исполняет обязанности*** *научного консультанта по проблемам НЛО, со временем* ***обрел репутацию*** *крупного авторитета в уфологической области,* ***снискал известность*** *патриарха мировой уфологии* (Калейдоскоп НЛО. 1998. № 18); **КЗ-3:** *Стихотворные центурии пророка* ***сыграли роль*** *блестящей отвлекающей приманки для исследователей* (Д. Зима. Расшифрованный Нострадамус); *Тунис* ***имеет репутацию*** *стабильного, делового и финансового центра* (АиФ. 21 марта 1997 г.) и др.

4. Моделями с предикатами, представленными фразеологическими сочетаниями, употребляемыми в случае решения **КЗ-1** и **КЗ-3**: **КЗ-1**: *Доктор Абдель –* ***большой спец***

---

[9] Донатор – агенс в ситуации передачи материального объекта.

на все руки**: от головы до гинекологии* (Мед. газ. 28 мая 1997 г.); **КЗ-3**: *Двуязычие – **пробный камень** демократии* (Лит. газ. 15 апр. 1995 г.); **терминологическими сочетаниями** при решении **КЗ-3**: *Электронная вычислительная техника – наша постоянная **зубная боль (Техн. мол. 1997. № 3); *Спектакль – **обвинительный приговор апартеиду*** (Неделя. 21 янв. 1997 г.); **клише** при решении **КЗ-1** и **КЗ-3**: **КЗ-1**: *Впрочем, я не являюсь законодателем нашего телевидения, я так – **рабочая лошадка*** (Неделя. 21 сент. 1996 г.); **КЗ-3**: *Печать – **острое оружие*** (Лит. газ. 5 янв. 1996 г.); *"Лебединое озеро" – **визитная карточка** театра* (Огонек. 1998. № 2) и др.

Такова краткая характеристика трансформационной парадигмы биноминативных предложений характеризации типа *Мурманск – крупный порт* при первоначальном ее наблюдении.

Заключая описание трансформационной парадигмы биноминативных предложений характеризации рассмотренных типов, нам хотелось бы отметить следующее.

Нетрудно заметить, что в основе синонимического сходства предложений, составляющих трансформационную парадигму, лежит признак одноименности структурно-семантических компонентов (кроме моделей с предикатами – фразеологическими, терминологическими сочетаниями, клише). Так, модели *Ирина Ивановна творит добро; Ирина Ивановна на редкость добрая; Ирина Ивановна была на редкость доброй женщиной; Ирина Ивановна – одна из самых добрых женщин; Ирина Ивановна слыла женщиной на редкость доброй; Ирину Ивановну знают как женщину на редкость добрую; Ирина Ивановна – редкой доброты женщина; У Ирины Ивановны редкая доброта; Ирина Ивановна – сама доброта!* и др. синонимичны потому, что образованы одноименными (но разнооформленными) компонентами, обозначающими личный субъект-носитель признака и предикативно приписываемый ему признак, в силу чего все они выражают один и тот же смысл, но выражают его по-разному, точнее, передают разные его оттенки. Заложенный в высказываниях смысл извлекается из языковых значений, из их языкового содержания, которое здесь различно. Именно поэтому в определенной конситуации, в целях решения определенной коммуникативной задачи говорящий выберет одну из этих моделей. Основанием же выбора служат заложенные в данных предложениях грамматико-семантические различительные ("дистинктивные" в терминологии Г.А. Золотовой) значения, определение (выявление) которых требует дальнейших исследований, поскольку именно этими значениями (более "низкими по рангу" по отношению к общему типовому значению, объединяющему данный синонимический ряд) определяется выбор того или иного предложения говорящим.

Нетрудно также увидеть, что трансформационная парадигма рассмотренных предложений составляет как бы третий после актуализационной и синтаксической парадигм "слой" во множестве предложений, отражающих ситуацию характеризации. Это множество (совокупность) объединенных общностью отражаемой ситуации характеризации предложений, каждое из которых служит решению определенной коммуникативной задачи, мы, вслед за М.В. Всеволодовой, рассматриваем как коммуникативную парадигму исходной модели.

Из сказанного можно сделать следующие выводы.

1. Трансформационная парадигма имеет определенную структуру: 1) исходную (изосемическую) модель; 2) связочные варианты исходной моделия 3) синонимические трансформы – перефразировки исходной модели.

2. Связочные варианты представляют ситуацию характеризации конструкциями, построенными по модели N_1(cop) N_1 Adj (для первого типа) и N_1 (cop) Adj N_1 (для второго типа) с тем же типовым значением, что и исходная модель – "субъект и его характеристика", где "cop": а) связка – неполнознаменательный глагол); б) показатель смысловых отношений.

3. Синонимические трансформы – перефразировки представляют ситуацию характеризации конструкциями, построенными по другим моделям, с другими типовыми

значениями (отношения, состояния, обладания и др.), формируемыми предикатами разных типов.

4. Связочные варианты исходной модели (как первого, так и второго типа) могут употребляться при решении всех выделенных для каждой модели коммуникативных задач, в то время как синонимические трансформы – перефразировки используются при решении конкретной коммуникативной задачи.

5. Трансформационная парадигма предложений типа *Мурманск – крупный порт* разнообразнее трансформационной парадигмы предложений типа *Красицкое – село хорошее*, что можно объяснить: а) структурно-семантическими особенностями этих предложений; б) определенными типами решаемых ими коммуникативных задач.

6. Количество членов трансформационной парадигмы может быть исчислимо, поскольку оно обусловлено возможностью представить ситуацию характеризации конструкциями, построенными по определенным моделям.

7. Трансформационная парадигма (наряду с актуализационной и синтаксической парадигмами) организует (является членом) коммуникативную парадигму предложений, которая, как показывает материал, может иметь полевую структуру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адамец П. 1966 – К вопросу о синтаксической парадигматике // ČSR. 1966. № 2.

Арутюнова Н.Д. 1976 – Предложение и его смысл. М., 1976.

Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. 1983 – Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.

Белошапкова В.А. 1977 – Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.

Белошапкова В.А., Шмелева Т.В. 1981 – Деривационная парадигма предложения // Вестн. МГУ. Сер.: Филология. 1981. № 2.

Виноградов В.В. 1947 – Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947.

Всеволодова М.В. 1997 – Уровни организации предложения в рамках функционально-коммуникативной прикладной модели языка // Вестн. МГУ. Сер.: Филология. 1997. № 1.

Всеволодова М.В., Дементьева О.Ю. 1997 – Проблемы синтаксической парадигматики: коммуникативная парадигма предложений. М., 1997.

Вопросы ... 1989 – Вопросы коммуникативно-функционального описания синтаксического строя русского языка / Под ред. М.В. Всеволодовой и С.А. Шуваловой. М., 1989.

Грабе В. 1966 – Общее значение синтаксической конструкции и трансформация // ČSR. 1966. № 2.

Золотова Г.А. 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Ломтев Т.П. 1969 – Парадигматика предложений на основе конвертируемости отношений // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.

Москальская О.И. 1974 – Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1974.

Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Савосина Л.М. 1998а – Актуализационная парадигма предложения. Типы коммуникативных задач и средства их решения // ВЯ. 1998. № 3.

Савосина Л.М. 1998б – Синтаксическая парадигма предложения и ее соотнесенность с актуализационной парадигмой // Русск. яз. за рубежом. 1998. № 3.

Шведова Н.Ю. 1967 – Парадигматика простого предложения в современном русском языке // Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. С.В. КНЯЗЕВ

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКАНЬЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Под **аканьем** в широком смысле в современной лингвистике понимается нейтрализация гласных фонем неверхнего подъема в безударных слогах в звуках, качество которых может зависеть от позиционных условий[1]. В этом значении аканье противопоставлено **оканью** – различению безударных гласных фонем неверхнего подъема, т.е. реализации их в том же звукотипе, что и под ударением. Термин **аканье** употребляется и в более узком значении – неразличение в первом предударном слоге после парных твердых согласных гласных неверхнего подъема непереднего ряда (т.к. ⟨е⟩ и ⟨ě⟩ в этих условиях не встречаются). Наряду с аканьем в узком смысле слова имеются разнообразные типы **яканья** – неразличения гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге после парных мягких согласных. Ниже, если это не оговорено специально, термин "аканье" употребляется в широком смысле, в том же смысле употребляется термин "аканье-яканье".

Одним из первых две разные гипотезы происхождения аканья предложил А.А. Шахматов[2]. Дальнейшая разработка этой проблемы вплоть до настоящего времени связана с выдвинутыми им идеями. Многочисленные теории происхождения аканья можно разделить на пять основных групп: 1) аканье – местное диалектное явление, возникшее из оканья в результате изменения характера ударения и редукции безударных гласных неверхнего подъема [Шахматов 1915], развитие этой теории см. в работах Р.И. Аванесова [1947; 1952; 1955] и его учеников [Хабургаев 1980; Горшкова, Хабургаев 1997]; 2) аканье настолько же древнее явление, как и оканье, или даже древнее его; аканье и оканье являются результатом неодинакового развития праславянских гласных, соответствующих древнейшим кратким ***о** и ***а** [Шахматов 1893; Vaillant 1950; Георгиев 1963; 1964; 1965; 1968; Филин 1968; 1972][3]; 3) аканье возникло под влиянием финно-угорского субстрата [Лыткин 1965][4]; 4) аканье – результат

---

[1] См., впрочем, критику такого употребления этого термина в [Чекмонас 1989; 1998].

[2] "А.А. Шахматов неоднократно менял свои взгляды на протяжении своей научной деятельности (что вообще свойственно любому выдающемуся ученому, не боящемуся отказаться от прежних положений, если он получил доказательства их ошибочности)" [Кузнецов 1964 : 32].

[3] Критику теорий этой группы см., например, в [Кузнецов 1964; Борковский, Кузнецов 1965; Аванесов 1955].

[4] "Рассматриваемый нами материал дает основание поставить вопрос: не возникло ли аканье в русском языке под влиянием прамордовского или древнемокшанского языков" [Лыткин 1965: 52]. Отметим, что приводимые В.И. Лыткиным параллели выглядят достаточно убедительно, так что предположение о том, что формирование аканья в русском языке могло быть поддержано наличием сходных вокалических моделей в соседних финно-угорских диалектах, представляется вполне обоснованным: "Нельзя считать решенным вопрос о спонтанном или субстратном возникновении аканья... Вообще воздействие другого и даже неродственного и иного типологически по своему строю языка на данный в фонетическом отношении вполне возможно. Но для решения вопроса, хотя бы и в гипотетическом плане, материала недостаточно" [Кузнецов 1964: 39, 40].

перестройки фонологической системы русского языка [Руделев 1963; Хабургаев 1965][5]; 5) аканье является результатом ряда последовательных фонетических изменений, каждое из которых имеет свою территорию, и поэтому не может считаться единым ни по своему содержанию, ни географически [Трубецкой 1987][6]. Особняком в этом ряду стоят гипотезы Р.О. Якобсона [Jacobson 1929] и Н. Ван-Вейка [van Wijk 1934–1935].

В настоящей работе подробно рассматриваются только "редукционная"[7] теория А.А. Шахматова и гипотеза О. Брока, бегло намеченная им в работе [Брок 1916][8].

Концепция А.А. Шахматова наиболее полно сформулирована в его книге "Очерк древнейшего периода истории русского языка" [Шахматов 1915]. Основные положения теории А.А. Шахматова сводятся к следующим пунктам:

– аканье возникло в эпоху после падения редуцированных: "Едва ли было бы осторожно вывести, что редукция широких неударяемых гласных произошла до падения глухих" [Шахматов 1915: 334][9];

---

[5] Подробная критика гипотез этого направления дана П.С. Кузнецовым: "Обычно чисто фонетические изменения, происходящие на протяжении истории языка и сами по себе не обусловленные фонологией, являются причиной перестройки фонологических отношений, а не наоборот... Что касается самой гипотезы Руделева, то она, как и некоторые другие работы последнего времени... стремится истолковать историческое развитие звуковой системы языка, исходя из теории различительных признаков Якобсона и их отношений. Объяснения Руделева вызывают следующие возражения, которые могут быть обращены и к другим работам данного направления. Во-первых, сами дифференциальные признаки произвольно приписываются некоторым звуковым единицам (фонемам), которые соответствующими признаками могли и не характеризоваться, а порой и заведомо не характеризовались (древнерусским **е, о** компактность приписывается вполне произвольно). Во-вторых, достаточным мотивом для фонетического изменения признается тот факт, что некоторые признаки становятся в силу тех или иных обстоятельств избыточными" [Кузнецов 1964: 37–38]. Добавим, что и выбор признаковой базы для описания системы вокализма в этих работах является достаточно произвольным: не вполне ясно, почему в качестве основного ДП, противопоставляющего верхние и неверхние гласные, выбирается акустический признак "компактность/диффузность". Частично эта точка зрения сохраняется и в [Горшкова, Хабургаев 1997].

[6] "Можно установить следующую последовательность основных явлений: 1) переход неудар. ѣ в *е* (в белорусской области параллельно безударное *уо* > *о*); 2) совпадение неударного *о* с *а* в одном звуке ʌ (заднего ряда, среднего подъема, нелабиализованного); 3) переход неударного ʌ (и *а*) в *е* после мягкой согласной; 4) переход ʌ и *е* в *а* в непосредственно предударном слоге... Между 3-м и 4-м моментом следует поместить еще один, именно – сужение безударного *е* в *ę* и ʌ в ъ. Оба происходили в ограниченной области диссимилятивно акающих говоров при определенных условиях даже в непосредственно предударном слоге (при наличности в следующем слоге *а* и т.д.), прочие же говоры либо совсем не знали сужения, либо знали его лишь в не-непосредственно предударных слогах. Но кроме этого параллельного сужения неударного *е* и ʌ в *ę*(ε) и ъ (*а*) надо принять и специальное сужение *е* перед мягкими согласными – явление, трудно отделимое от перехода ударяемого *е* в *ę* перед мягкой согласной. Переходу в *а* подлежало, разумеется, только не суженное безударное *е*... Каждое из этих явлений имеет свою территорию... Так что "аканье" не является единым ни по своему содержанию, ни географически" [Трубецкой 1987: 429–430, 162].

[7] Редукционными принято называть теории, предполагающие нейтрализацию гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге в редуцированном гласном [ъ] ([ˈь]).

[8] В работе самого́ О. Брока не содержится детальной разработки предложенной им гипотезы; в дальнейшем изложении будет предпринята попытка ее развития.

[9] "Об этом свидетельствует то, что ни в одном акающем говоре не имеется никаких указаний на различия в вокализме исконного первого предударного слога и первого предударного слога, ставшего таковым после падения редуцированных" [Аванесов 1955: 28].

– исходной системой, из которой сформировались все типы аканья, было обоянское (архаическое) аканье;

– в фонетической системе древнерусского языка этого периода сохранялись праславянские различия по долготе/краткости гласных (на произносительном уровне, т.к. на фонологическом уровне количественные различия преобразовались в качественные еще в дописьменную эпоху), т.е. долгими были гласные верхнего, верхне-среднего и нижнего подъема, а краткими – среднего подъема: "Долгими могли быть узкие гласные, следовательно гласные **i, y, u,** ѣ **(ie)**, равным образом могло удлиняться[10] исконное **o** под восходящим ударением" [Шахматов 1915: 333], "гласная **a** была исконно долгой" [Шахматов 1915: 331]:

(1.1)

все слоги		
и: ě: e	ы: a:	у: o → ô: o

В дальнейшем, по предположению А.А. Шахматова, произошло сокращение гласного нижнего подъема: "Принимаю, во-первых, сокращение исконно долгих гласных широких, т.е. звука **a** различного происхождения; оно могло иметь место еще в общерусском праязыке, но возможно, что сокращение произошло позже, в восточнорусском наречии; вследствие такого сокращения оказывалось, что все широкие гласные кратки, все узкие долги" [Шахматов 1915: 332]; "Гласная **a** сократилась в восточнорусском наречии, а может быть, еще и в общерусском праязыке раньше, чем гласные **i, y, u, ě, ô**" [Шахматов 1915: 340]:

(1.2)

все слоги		
и: ě:	ы:	у: ô:[11]
e	a	o

Затем, в результате смены музыкального ударения "экспираторным"[12], происходит

[10] Таким образом, этот гласный был изначально кратким, а удлинился он, по мнению А.А. Шахматова, под влиянием аналогии с долгим *ě:* – гласным того же подъема.

[11] Гласный **ô** был представлен только в ударном слоге.

[12] Следует при этом иметь в виду, что термин "экспираторное/динамическое ударение" является в значительной мере условным. В современной фонетике практически общим местом стало положение о том, что не существует ударения, единственным (или даже основным) фонетическим коррелятом которого является интенсивность – в силу того, что увеличение дыхательного усилия влечет за собой как увеличение длительности, так и изменение спектральных свойств гласных. Наоборот, количественное ударение без динамического компонента представляет собой достаточно частое явление. В последнее время было убедительно показано, что интенсивность не является основным компонентом ударения даже в тех языках, ударение которых описывалось обычно как экспираторное – например, в чешском, русском и английском. Так, для английского языка основным физическим коррелятом ударения является длительность гласного (даже несмотря на то, что длительность используется в английском языке и на сегментном уровне – для противопоставления как

сокращение безударных гласных, причем долгие гласные изменяются в краткие (и сохраняют противопоставленность друг другу и гласным среднего и нижнего подъема), а краткие – в сверхкраткие (и нейтрализуются в редуцированном среднего подъема [ъ]/[ˈъ]): "В восточнорусском наречии редукции подверглись... гласные широкого образования; редуцировались они только в неударяемом положении; под ударением эти гласные сохранили свой первоначальный звук. Редукция этих гласных стоит в несомненной связи с их краткостью" [Шахматов 1915: 331].

(1.3)

безударные слоги		
и: → и ĕ: → ĕ	ы: → ы	у: → у
е → ь	а → ъ\ˈь	о → ъ(\ˈь)[13]

Сначала, впрочем, А.А. Шахматов постулирует переход

(1.4) **ĕ**: → **е** в безударном положении: "Что до звука, соответствующего исконному **ѣ**, он... не потерял своей дифтонгичности в восточнорусскую эпоху, но она удерживалась только под ударением; в неударяемом положении **ie** рано изменилось в **е**; ср. отсутствие дифтонгизации **о** в **uo** в неударяемых слогах и дифтонгизацию его под восходящим ударением. Вследствие этого под ударением исходное ѣ было звуком узким, а в неударяемом положении широким; редуцируясь в этом последнем положении, оно под ударением сохраняло долготу: bˈѣda, bˈѣlˈit' перешли в bˈεda[14], bˈεlˈit', откуда bˈalˈitˈ[15]; lˈetˈѣt', na sˈelˈѣ перешли в lˈεtˈѣt', na sˈεlˈѣ, откуда lˈatˈѣt', na sˈalˈѣ" [Шахматов 1915: 335], что дает

гласных, так и согласных фонем: *lid – lead* с одной стороны и *lid – lit* с другой) [Beckman 1986]. В русском языке по интенсивности достаточно надежно выделяются лишь заударные гласные, предударные же чаще всего превосходят ударный по этому показателю [Князев 1998]. Наконец, распределение интенсивности в слове в огромной степени зависит от фразовых условий, так что говорить о какой-то роли интенсивности в создании эффекта ударности можно только на материале произношения изолированных слов: "Традиционной является точка зрения, в соответствии с которой русское словесное ударение характеризуется как динамическое... Это положение можно объяснить только тем, что при описании свойств словесного ударения с сугубо теоретической точки зрения более или менее безразлично, как его назвать – динамическим или количественным. В тех случаях, когда необходимо практически использовать полезные признаки ударения, оказывается, что опираться на старые представления о его динамическом характере невозможно... Детальные исследования громкости показали, что она зависит от двух факторов: во-первых, от качества гласного... во-вторых, от положения слога в слове – чем ближе слог к началу слова, тем больше громкость гласного в этом слоге" [Бондарко 1998: 218–219]; "The intensity curve is generally independent of stress" [Kodzasov 1999]. Таким образом, сейчас вряд ли можно принять точку зрения, согласно которой в эпоху возникновения аканья "ударный слог противопоставлен остальным (безударным) по силе и интенсивности" [Горшкова, Хабургаев 1997:116].

[13] Если считать, что описываемый процесс произошел после перехода **е** → **о**; в противном случае – **о** → **ъ**.

[14] Символом "ε" А.А. Шахматов обозначает "редуцированную гласную (короче краткой) переднего ряда" [Шахматов 1915: 332] (в современной русской транскрипции [ь]), символом "α" – "редуцированную гласную (короче краткой) среднего ряда" [Шахматов 1915: 331] (в современной русской транскрипции [ъ]).

[15] Таким образом, [а] после мягких согласных возводится А.А. Шахматовым к широкому гласному на месте безударных **ѣ, е, а.**

(1.5)

безударные слоги		
и: → и	ы: → ы	у: → у
ĕ: → е → ь е → ь	а → ъ\ь	о → ъ(\ь)

В дальнейшем утрачиваются количественные различия в ударном слоге (сокращаются долгие, т.е. гласные верхнего и верхне-среднего подъема):

(1.6)

ударный слог		
и: → и ĕ: → ĕ	ы: → ы	у: → у ô: → ô
е	а	о

При этом происходит компенсационное удлинение гласного первого предударного слога, но только в том случае, если он был редуцированным:

(1.7) **ь\'ь → а** перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема: "Останавливаясь пока только на слогах предударных, видим, что при наличности здесь редуцированной полукраткой гласной, в следующем ударяемом слоге могли стоять или гласные долгие узкие, или гласные краткие широкие. В восточнорусском наречии слова второго типа сохранялись без изменения; напротив, еще в восточнорусскую эпоху слова первого типа должны были подвергнуться изменению вследствие наступившего здесь общего сокращения долгих гласных; сокращение долгой ударяемой гласной имело следствием удлинение полукраткой гласной предшествующего слога; удлиняясь, **α** переходило в **а**; **є** переходило в одних диалектах в **а**, а в других в **е**" [Шахматов 1915: 333]. Таким образом:

(1.8)

предударный слог	ударный слог
и, у, (о, а →) ъ → а и, у, (о, а →) ъ → а	и, ы, у ĕ, ô
и, у, (о, а →) ъ и, у, (о, а →) ъ	е, о а

Аналогично устроено и диссимилятивное яканье (после мягких согласных):

(1.9)

предударный слог	ударный слог
и, у, (ĕ, е, а, (о) →) ь → а и, у, (ĕ, е, а, (о) →) ь → а	и, ы, у ĕ, ô
и, у, (ĕ, е, а, (о) →) ь и, у, (ĕ, е, а, (о) →) ь	е, о а

Предложенная схема полностью соответствует обоянскому типу диссимилятивного яканья; все остальные типы аканья-яканья, в том числе и недиссимилятивный, рассматриваются А.А. Шахматовым как нарушения исходной (архаической) модели

предударного вокализма в результате аналогического выравнивания: "Бóльшая часть южновеликорусских и белорусских говоров отступили однако от сложных отношений восточнорусской эпохи. Из двух типов второй[16] получил перевес над первым[17] и вытеснил его. В предударных слогах была проведена однообразная система. Сюда относятся, например, московское наречие и сходные с ним, где после твердых согласных последовательно проводится **а**, после мягких **е(i)**... Наиболее архаичными должно признать те ⟨говоры⟩, в которых чередование гласных неполного образования и гласной **а** зависит от природы ударяемой гласной, ибо подобное различение гласных в предударном слоге должно быть признано более древним состоянием, чем то однообразие, которое наступало, в силу естественного влияния звуковой аналогии, в других говорах" [Шахматов 1915: 338–339].

Основные недостатки изложенной выше концепции состоят в следующем:

1. Предполагается сохранение в фонетической системе русского языка эпохи после падения редуцированных праславянских долгот (утраченных на фонологическом уровне еще в дописьменную эпоху) на "произносительном" уровне. Такое предположение вряд ли можно считать обоснованным. Так, исходя из этой гипотезы следовало бы ожидать, в частности, наличия "орфоэпических" различий по длительности между современными [о], восходящими к **ъ, о** и **ô**.

2. Постулируется раннее сокращение **а**:, не обоснованное ничем, кроме необходимости объяснить механизм формирования аканья[18].

3. Приходится предполагать удлинение **ô**, возникшего из краткого **о**. Вообще, история **ô** в соответствии с концепцией А.А. Шахматова выглядит довольно неправдоподобной: сначала предполагается его удлинение на фоне отсутствия фонологических противопоставлений по долготе, затем сокращение в ударном слоге.

4. Постулируется раннее сокращение **ě**: в безударных слогах, не обоснованное ничем, кроме необходимости объяснить механизм формирования аканья.

5. А.А. Шахматов не различает позиции перед конечными и неконечными ударными гласными при том, что по его же утверждению, еще на праславянской почве конечные долгие гласные (например, носовое **о**, давшее в восточнославянских диалектах **у**) подвергались сокращению [Шахматов 1915: 331–343]; в силу этого обстоятельства "сократившееся **-у** в *несу́* и сохранившее долготу **-у-** в *несу́т* должны были бы оказывать различное воздействие на гласный предударного слога, но оказывается, что воздействие это одинаково... Если же принять, что *несу́* содержит рано сократившееся **у**, в диссимилятивно якающем говоре должно было бы быть **нису́* (как *нисла́*)" [Кузнецов 1964: 32–33].

6. Наличие систем типа (1.1), (1.2) представляется маловероятным с общефонетической точки зрения. Согласно одной из фонетических универсалий, при отсутствии фонологического противопоставления по долготе собственная длительность гласных возрастает с понижением их подъема (подробнее об этом см. ниже).

7. Неясно, почему "экспираторное" ударение вызывает сокращение ударных гласных.

8. Приходится предполагать независимое возникновение сильного яканья на западе и востоке акающей территории: "Диссимилятивное аканье вообще старше сильного... Сильное яканье белорусских и южновеликорусских говоров развилось в каждом из них независимо от другого" [Дурново 1918: 26–27].

---

[16] с [а] в предударном слоге. – *С.К.*

[17] с [ъ] в предударном слоге. – *С.К.*

[18] "Взгляды Шахматова и Дурново основываются на недоказанном и теоретически в высшей степени неправдоподобном предположении, что долгое *а* сократилось якобы раньше, чем долгие *у, и, i*. Обычно, однако, как известно, именно узкие гласные сокращаются особенно легко, тогда как открытые гласные наиболее упорно сохраняют свою долготу" [Трубецкой 1987: 161].

9. Диссимилятивные модели вокализма чрезвычайно разнообразны и иногда осложняются ассимилятивным принципом (см. 1.10). Предложенная А.А. Шахматовым гипотеза объясняет возникновение только архаического (обоянского) типа аканья; остальные его типы в соответствии с этой гипотезой представляют собой либо результат разрушения исходной (архаической) модели, либо модели, сформировавшиеся параллельно с архаической. При этом если недиссимилятивное аканье может быть рассмотрено просто как упрощение исходной диссимилятивной модели (т.е. как обобщение предударного [а] в положении перед всеми ударными гласными), то разнообразные типы диссимилятивного яканья вряд ли могут быть выведены непосредственно из архаического[19]. То же относится к системе умеренного яканья, возникновение которого принято объяснять наслоением именно **недиссимилятивного** аканья на окающую модель владимиро-поволжского типа [Сидоров 1951; 1966].

(1.10). Типы диссимилятивного (в скобках – соответствующего ассимилятивно-диссимилятивного) яканья.

Ударный гласный	**и/у**	**ô**	**ё**	**о**	**е**	**'о**	**а**
Гласный 1-го предударного слога:							
донской*	а	и	и	и	и	и	и
дмитриевский	а	а	и	и	и	и	и
архаический	а	а	а	и	и	и	и
суджанский	а	а	и	а	и	и	и
(кидусовский)	а	а	и	а	и	и	а
мосальский	а	а	и	а	и	а	и
(култуковский)	а	а	и	а	и	а	а
щигровский	а	а	а	а	и	и	и
(новоселковский)	а	а	а	а	и	и	а
жиздринский	а	а	а	а	а	а	и

* Выделены типы яканья, для которых существуют параллельные типы вокализма после твердых согласных[20].

[19] Впрочем, Н.Н. Дурново считал возможным объяснить образование, например, суджанского яканья из обоянского в результате утраты гласных фонем средне-верхнего подъема, но не фонетическим путем, а путем аналогии: "Факты... заставляют отказаться от чисто фонетического объяснения возникновения яканья Суджанского типа и искать его в изменениях по аналогии. Такую аналогию, благодаря которой могло возникнуть яканье Суджанского типа, мы найдем, если предположим, что впервые оно развилось из яканья обоянского типа: 1) **о** старое под ударением приблизительно вдвое чаще, чем **о** из **ъ**; 2) **е** из старых **е, ь** под ударением в общем чаще раза в полтора, чем **ѣ**. Эти отношения должны были вызвать в говорах с яканьем Обоянского типа в случае утраты различия между ударяемыми **о** старыми и **о** из **ъ** и между ударяемыми **е** из **е, ь** старых и **е** из **ѣ** стремление к распространению предударного **а** на положение перед слогом с **о** из **ъ** и предударной редуцированной гласной на положение перед слогом с **е** из **ѣ**; перед слогом с **о** из **е** или из **ь** должно было сохраниться старое произношение с редуцированной гласной, если это **о** по качеству или по количеству в то время еще не совпало с **о** старым и из **ъ**" [Дурново 1918: 45–46]. Эта точка зрения развивается в работах К.Ф. Захаровой [Захарова 1959; 1961; 1971; 1977]. Имеются и попытки дать фонетическое объяснение Суджанскому типу яканья: "Поскольку Суджанский тип вокализма находится в зоне диссимилятивной зависимости гласных по ступеням подъема, то не исключено, что в эпоху его формирования в говорах этой территории непередние гласные были более высокими по подъему, чем передние, и граница между верхним и неверхним подъемами проходила между гласными типа [о] и гласными типа [е]" [Пожарицкая 1997: 49]. Такое объяснение вряд ли можно принять, так как даже в пределах одного подъема передние гласные всегда являются более высокими, чем задние: "Весь задний ряд (и его градации гласных по основным уровням подъема) расположен относительно ниже, чем средний, и, тем более, передний ряд" [Высотский 1967: 56].

[20] Для типа аканья, параллельного донскому яканью, Л.Л. Касаткин и Р.Ф. Касаткина

Так, например, формирование донской и жиздринской[21] моделей вокализма обычно объясняется как следствие утраты различий между гласными среднего и верхне-среднего подъема. В этом случае возникает вопрос о времени такой утраты. Если совпадение **ô** и **о, ě** и **е** относится к эпохе до момента формирования аканья, то формирование донской модели описывается совершенно непротиворечиво (гласные **ô** и **ě** просто исключаются из рассмотрения), но для объяснения механизма формирования жиздринского аканья необходимо предположить либо совпадение **ô**: и **о, ě**: и **е** в (долгих) гласных средне-верхнего подъема, либо удлинение исходных кратких **о** и **е** при сокращении исходного долгого **а**:, т.е. **о е а**: → **о: е: а**; оба эти предположения представляются в равной мере маловероятными.

Если же совпадение **ô** и **о, ě** и **е** относится к эпохе после момента формирования аканья (то есть донское и жиздринское аканье выводятся непосредственно из архаического)[22], то неясным остается вопрос о том, почему в этих говорах не сохранилась исходная реализация предударных гласных в зависимости от разных ударных гласных – ведь общеизвестно, что в современных говорах с архаическим аканьем часто фиксируется пятифонемный вокализм, но разная реакция гласного предударного слога на этимологические **ě** и **е** под ударением сохраняется: перед ударным [е] из **ě** произносится [а], а перед ударным [е] из **е, ь** – [ъ] ([нав'éс] – *навéс,* но [нъв'éрхн'ьм] – *на вéрхнем*[23]).

Наконец, этой гипотезе противоречит тот факт, что донское и особенно часто жиздринское аканье-яканье фиксируются не только в пятифонемных, но и в семи- и шестифонемных современных говорах (таков, в частности, говор дер. Губарёво Семилукского района Воронежской области, в котором семифонемный ударный вокализм сосуществует с жиздринским аканьем и донским яканьем). Такие случаи отмечаются достаточно часто – ниже (см. Табл. 1.11) приводятся сведения о составе гласных фонем и типах предударного вокализма после твердых и после мягких согласных в

предложили название "прохоровское аканье" [Касаткина и др., в печати]. Однако в тексте настоящей статьи термины "прохоровское аканье" и "донское аканье" употребляются как синонимы (хотя последнее название является гораздо менее удачным, такое словоупотребление удобнее, так как позволяет одним термином обозначать параллельные модели после твердых и после мягких согласных).

[21] Жиздринское аканье в настоящее время является самой распространенной из диссимилятивных моделей вокализма; оно свойственно западным говорам южнорусского наречия.

[22] "Если принять предложенное объяснение Задонского и Обоянского типов яканья, то яканье Донского и Жиздринского типов надо считать вторичным или возникшим при других условиях. Что касается первого из них, то возникновение его можно относить к той же эпохе, как и Обоянского, если предположить, что дифтонги... еще раньше сократились и совпали с **о** и **е** другого происхождения... Это предположение я не решаюсь выставлять как единственно возможное и считаю допустимым и другое предположение – что **о** под восходящим ударением и **ѣ** утратили дифтонгическое произношение и совпали с **о** и **е** другого происхождения значительно позднее эпохи возникновения аканья, и что это самое совпадение их с **о** и **е** другого происхождения и вызвало изменение бывшего ранее в этих говорах яканья Обоянского типа в яканье Донского типа. В таком случае замена предударного **а** через **и** перед слогом с **о** и **е** из бывших дифтонгов могла явиться только по аналогии со случаями, где было предударное **и** и перед слогом с **о** и **е** другого происхождения" [Дурново 1918: 59–60]; "Причины образования яканья Жиздринского типа могли быть те же, что и яканья Суджанского и, м.б., Донского типов, т.е. утрата дифтонгического произношения **о** под восходящим ударением и **ѣ** и совпадение их с **о** и **е** другого происхождения... Быть может, **а** сперва распространилось лишь на положение перед слогом с **о** из **ъ**, затем по аналогии с этими случаями на положение перед слогом с **о** из **е** и **ь** и, наконец, на остальные положения вследствие вытеснения редуцированной гласной из большинства случаев с положением перед слогом с гласными среднего подъема" [Дурново 1918: 61–62].

[23] См., например [Захарова 1959; 1961].

некоторых южнорусских говорах по данным звучащей хрестоматии [Касаткина и др., в печати].

(1.11)

Населенный пункт	состав гласных фонем	тип аканья	тип яканья
Смоленская обл., Руднянский р-н	а, о, е, ě, и, у	жиздринский	дмитриевский
Калужская обл., Хвастовичский р-н, с. Бояновичи	а, о, е, ô, ě, и, у	донской	
Белгородская обл., Алексеевский р-н, д. Афанасьевка	а, о, е, ô, ě, и, у		суджанский
Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Хитрово	а, о, е, и, у	архаический	
Воронежская обл., Россошанский р-н, пос. Лебедь-Сергеевский	а, о, е, ô, ě, и, у	жиздринский	архаический
Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, д. Поповка	а, о, е, ě, и, у	жиздринский	ореховский
Ставропольский край, Левокумский р-н, ст. Левокумская	а, о, е, ě, и, у	жиздринский	кидусовский

То же относится и к рязанским говорам с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем: "Обращает на себя внимание тот факт, что семифонемный состав ударенных гласных, которым характеризуются говоры северной, северо-восточной и юго-восточной окраины Рязанщины, ни в одном случае не сочетается с таким предударным вокализмом, который хотя бы указывал на былую зависимость от характера ударенного вокализма: говоров, в которых ассимилятивность наслаивалась бы на архаический тип диссимилятивного яканья, в Рязанщине не отмечено совсем. Чаще всего при семифонемном составе ударенных гласных предударный вокализм характеризуется новоселковским яканьем (см. населенные пункты 327, 329, 331, 332, 335, 550, 564, 569, 581, 594, 605[24]), но есть говоры, где при семифонемном составе гласных отмечено кидусовское яканье (296, 297)" [Мораховская 1962: 99][25]. Таким образом, непротиворечивое объяснение развития большинства диссимилятивных и ассимилятивно-диссимилятивных типов аканья-яканья невозможно ни исходя из первичности архаического аканья, ни исходя из гипотезы их параллельного развития путем, предложенным А.А. Шахматовым[26]. Тем самым, вряд ли можно согласиться с мнением о том, что анализ отношений между структурными типами аканья-яканья позволяет сделать вывод о первичности именно обоянской диссимилятивной модели, как полагали Р.И. Аванесов [Аванесов 1952: 39], К.В. Горшкова и Г.А. Хабургаев [Горшкова, Хабургаев 1997: 111]. По сути, системных аргументов в пользу такой точки зрения всего два: 1) этот тип безударного вокализма предсказывается концепцией А.А. Шахматова; 2) эта модель наиболее отчетливо отражает противопоставление гласных среднего и средне-верхнего подъема (однако из этого вовсе не следует, что все типы аканья-яканья развились именно из него). Этого явно недостаточно для того, чтобы принять подобную точку зрения.

Одно из приведенных выше соображений (см. п. 2, с. 80) как будто бы может быть отведено на основании данных, полученных в последнее время. Так, К.В. Горшковой и Г.А. Хабургаевым было выдвинуто предположение о том, что раннее сокращение *а*: можно считать необязательным вследствие существования ассимилятивно-диссимиля-

[24] Номера населенных пунктов по [АРНГ 1957].

[25] Отметим еще раз, что при новоселковском яканье предударный гласный одинаково реагирует на ударные [о] и [ô], а при кидусовском – и на ударные [е] и [ě].

[26] На возможность того, что различные типы аканья могли возникнуть одновременно, указывал еще Р.О. Якобсон [Jacobson 1929], а на то, что исходным типом аканья вероятнее всего было аканье недиссимилятивное, – О.Б. Курило [Курило 1928] и Н. Ван-Вейк [van Wijk 1934–1935].

тивных моделей аканья и яканья, которые не были известны А.А. Шахматову: "Современный диалектологический материал, указывающий на давность ассимилятивно-диссимилятивных разновидностей и единство происхождения ассимилятивно-диссимилятивного и собственно диссимилятивного аканья-яканья, не требует такого предположения: достаточно считать, что окраинные говоры Деснинско-Сейменского междуречья в период осуществления первой стадии сокращения гласных могли в узком ареале сократить также и под ударением компактный гласный [а], в то время как остальные говоры, первоначально с ним связанные (по среднему течению Оки), продолжали сохранять этот гласный как долгий" [Горшкова, Хабургаев 1997: 118–119].

Однако и привлечение для анализа этих типов диссимилятивного аканья-яканья не снимает всех вопросов: во-первых, все равно приходится постулировать сокращение [а:] в безударных слогах (т.к. иначе он не совпадает с рефлексами [е] и [о]) при отсутствии такого сокращения у безударных [и:] и [у:]. Во-вторых, принцип ассимилятивности обычно накладывается на многие типы диссимилятивного яканья, кроме как раз архаического, на анализе которого строится гипотеза А.А. Шахматова. В-третьих, в тех говорах, в которых предполагается наличие ассимилятивно-диссимилятивного аканья на основе архаического [Касаткина, Щигель 1995], имеет место не только **[а]**-образный редуцированный[27] в положении перед ударным [а], но и лабиализованные редуцированные в положении перед ударным [о], и упередненные редуцированные в положении перед ударным [е] [Касаткина, Щигель 1995] – таким образом диссимиляция (количественная) в этих говорах является системным фактом, фонологическим (лингвистическим) правилом, а ассимиляция (качественная) – поверхностным, фонетическим (коартикуляционным) явлением[28] (в отличие от юго-восточных говоров с "настоящим" ассимилятивно-диссимилятивным яканьем, где и ассимиляция ([ъ] → [а] перед [á]) уже фонологизирована и является лингвистическим правилом). Это обстоятельство позволяет характеризовать описанное Р.Ф. Касаткиной и Е.В. Щигель явление не как особую модель диссимилятивного аканья, возникшую на базе системы с сохранением праславянских долгот, а как простой факт межслоговой вокальной ассимиляции, широко известной не только большинству русских говоров (ср., например, *в*[*'о*]*дý* при *в*[*'е*]*лá* в севернорусских говорах; подробно об этом см. [Касаткина 1996]), но и литературному языку (*п*[*ъ*^{o}]*утрý*, *п*[*ъ*^{o}]*купáть*, *д*[*ъ*^{o}]*кумéнт*)[29] [Пауфошима 1980]. Наконец, в-четвертых, признание ассимилятивно-диссимилятивных моделей яканья наиболее древними заставляет отнести ареал первоначального возникновения аканья на восточную периферию территории его современного распространения, что противоречит мнению о том, что первоначально аканье возникло в самом центре этой территории [Хабургаев 1980: 142–145; Горшкова, Хабургаев 1997].

Таким образом, невозможно не согласиться с мнением П.С. Кузнецова о том, что "обращают на себя внимание противоречия... между различными положениями одной и той же работы, где как раз наиболее полно в последний раз ⟨А.А. Шахматовым⟩ излагается гипотеза возникновения и развития аканья" [Кузнецов 1964: 32].

Принципиально иной взгляд на механизм формирования аканья предложен О. Броком[30]. В своей работе "Говоры к западу от Мосальска" он писал: «Мена *съхá:saxú*, *s'istrá:s'astrú*, по-видимому, связана сначала с отношениями долготы в ударяемом и предшествующих слогах... Можно предположить, что появление **ă:а** зависело сначала

---

[27] О том, что это не "нормальное" [а] свидетельствует его "повышенное" образование и значительно меньшая длительность по сравнению с [а] в положении перед ударными гласными верхнего подъема [Касаткина, Щигель 1995: 298].

[28] Подробнее об этом см. [Князев 1999].

[29] Отметим, что именно редуцированные гласные в наибольшей степени подвержены ассимилятивным изменениям; знаком [ъ^{o}] обозначается лабиализованный редуцированный гласный.

[30] О. Брок во время написания своей работы еще не был знаком с книгой А.А. Шахматова "Очерк древнейшего периода истории русского языка", где наиболее полно изложена концепция А.А. Шахматова [Брок 1916:61].

от долготы следующего, ударяемого гласного... С первоначальными количественными отношениями общеславянской и общерусской эпох эти ударяемые долгóты:краткости не имеют, по-видимому, никакой прямой связи. Они выросли, напротив, по исчезновении старших, этимологических количественных отношений. За то обзор говоров, интересующих нас в данном вопросе, который показывает, что ударяемому ***а*** правильно предшествует ***ъ***, т.е. краткость, ударяемым же **і**, **и**, **у**, т.е. гласным высокого образования, так же правильно предшествует **а**, т.е. долгота. Заключаю из этого, что речь идет о количестве "натурой"; **á** было натурой "долгим", **í** и пр. натурой "краткими" гласными. Можно предположить, что такая разница зависит от того признакового явления, что при обстоятельствах, в остальном тождественных, гласный вообще тем длиннее, чем его образование шире» [Брок 1916: 57–59].

С точки зрения современных фонетических знаний это допущение представляется совершенно обоснованным. Так, в среднем, при прочих равных условиях, в современном русском литературном языке (далее – СРЛЯ) собственная длительность гласных верхнего подъема ([и], [ы], [у]) составляет около 75%, а длительность гласных среднего подъема ([е], [о]) – около 90% от длительности гласного нижнего подъема [а] [Кузнецов, Отт 1989: 68]. Тем самым, по собственной длительности гласные среднего подъема оказываются несколько ближе гласным нижнего подъема, чем верхнего.

Таким образом, можно считать, что распределение длительностей гласных в фонетической системе древнерусского языка в эпоху возникновения аканья было прямо противоположным тому, которое постулируется А.А. Шахматовым, т.е. самым долгим был широкий гласный [а], самыми краткими узкие гласные [и], [ы] и [у], а [е], [о], [ě] и [ô] занимали промежуточное положение, причем гласные среднего подъема были несколько более долгими, чем гласные средне-верхнего подъема, см. об этом ниже, с. 90.

Основываясь на гипотезе О. Брока, можно предположить далее, что механизм возникновения аканья был гораздо более простым и непротиворечивым, чем это допускается в соответствии с концепцией А.А. Шахматова: "Эта гипотеза гораздо убедительнее объясняет происхождение диссимилятивного аканья, чем гипотеза А.А. Шахматова, поддержанная Н.Н. Дурново и основанная на праславянских долготных отношениях гласных. К моменту образования аканья эти отношения должны были измениться, тогда как отношения, на которые опирался О. Брок, реально существовали и существуют до сих пор" [Касаткин 1998]. Впрочем, в работе О. Брока нет никаких указаний на то, что он считал первичным именно диссимилятивное аканье, более того, его гипотеза – в отличие от концепции А.А. Шахматова – не требует этого допущения в обязательном порядке. Наоборот, гипотеза О. Брока позволяет объяснить не только и даже не столько происхождение **диссимилятивного** аканья, сколько – и в первую очередь – аканья **недиссимилятивного** (включая сюда также сильное яканье и иканье) как системы вокализма, возникшей раньше более сложного диссимилятивного и уж тем более – ассимилятивно-диссимилятивного аканья-яканья – именно эта точка зрения представляется более адекватной из системных соображений[31] (как будет показано ниже, различные диссимилятивные модели достаточно просто и непротиворечиво выводятся именно из недиссимилятивной модели). При этом данная гипотеза позволяет не только отнести возникновение аканья к эпохе после падения редуцированных, но и рассматривать его как непосредственное след-

[31] Ср. сходную точку зрения в [van Wijk 1934–1935]. Н. Ван-Вейк считал, что первоначальным типом аканья было аканье недиссимилятивное, на базе которого сформировались умеренное яканье и диссимилятивное аканье-яканье. При этом, по мнению Н. Ван-Вейка, все типы диссимилятивного вокализма сложились на основе первичной жиздринской модели, а ступень, на которой все безударные гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге нейтрализовались в редуцированном гласном [ъ] ([ˈъ]), отсутствовала. Эта точка зрения нами не разделяется, в первую очередь потому, что вывод разнообразных типов диссимилятивного яканья из жиздринской модели столь же затруднителен, сколь и из обоянской, а изменение [ě], [е], [о] непосредственно в [а] представляется необъяснимым с чисто фонетической точки зрения.

ствие или продолжение той же самой тенденции – редукции кратких гласных в положении перед последующим долгим. Другим ее существенным достоинством является тот факт, что она позволяет предложить чисто фонетическое (не связанное с явлениями аналогии) объяснение формирования разнообразных моделей диссимилятивного аканья-яканья.

Итак, можно предположить, что в процессе формирования количественно-динамического ударения все ударные гласные определенным образом (в первую очередь, по длительности) оказались противопоставленными гласным безударных слогов. Их удлинение вело к сокращению безударных гласных и редукции их до степени [ъ] (['ъ])[32], в особенности – тех гласных, которые находились перед ударными[33] – точно так же, как сокращались сверхкраткие **ъ** и **ь** в позиции перед гласными полного образования в эпоху падения редуцированных[34]. При этом сокращению обычно подвергались все гласные, кроме самых кратких, каковыми являлись гласные верхнего подъема (**и**, **ы** и **у**)[35]:

(2.1)

предударный слог		
и → и ĕ → ь е → ь	ы → ы а → ъ\'ь	у → у о → ъ\'ь

[32] "Я рассматриваю качественные изменения вокализма безударных слогов скорее как прямое следствие утраты количества и развития экспираторного ударения. Подобные изменения очень часто наблюдаются в языках с сильным экспираторным ударением и без свободных количественных различий на индоевропейской почве" [Трубецкой 1987: 161].

[33] "С фонетической точки зрения редукция безударных гласных при таком ударении относится к явлениям такого же типа, как заменительное удлинение гласных, сокращение и синкопирование гласных при удлинении гласных следующего слога и т.п. Слово в потоке речи представляет собой некоторую структуру, имеющую тенденцию сохранения своего облика (колебания наблюдаются лишь в известных пределах) как по длительности, так и по сумме затрачиваемой произносительной энергии" [Кузнецов 1964: 34].

[34] Сокращение гласных первого предударного слога могло вести к удлинению гласных в позиции перед сократившимся гласным ([галъвá]), что отмечается в современных говорах с диссимилятивным аканьем и что было характерно для кратких гласных в положении перед павшими редуцированными.

[35] «Гласные высокие i, u, y, сохранились... Гласные же со средним и низким положением языка распались на две группы, в зависимости от положения после твердого или мягкого согласного. Нужно предположить, что разные гласные внутри каждой из этих групп все сливались в свое время в предударном слоге в одну и ту же "редуцированную" гласную артикуляцию, после твердого согласного в задний, а после мягкого согласного в передний "иррациональный" оттенок – т.е. в какие-то "ъ" и "ь", представлявшие относительные гласные положения безразличности. Первоначальная разница между гласными внутри этих групп (*а, о –'е, 'Ѣ, 'а, 'о*) таким образом исчезла совсем; зато развилась новая разница внутри каждой группы, но уже в зависимости от гласного следующего, ударяемого слога... в зависимости от **количества** его» [Брок 1916: 26]. Можно предположить, что краткие гласные не сокращались, т.к. их сокращение могло привести к полной утрате гласного; кроме того, [у] в силу его значительной лабиализации вообще редуцируется крайне редко. Впрочем, в части говоров с диссимилятивным аканьем нелабиализованные гласные верхнего подъема ведут себя так же, как и остальные безударные гласные, т.е. нейтрализуются с ними: "Старое *у* (*ы*) отмечено в предударном слоге... нередко как переходное к *ъ* или как несомненное *ъ* (*о*), переходившее иногда под влиянием соседнего гласного далее в *u*: *bъlá, slъxál, nъr'ät', zaγrъzálъ*... Все это оставляет вне сомнения, что мы стоим перед распространением на ряд случаев с *у* в предударном слоге того принципа, который видим при старших *о–а* в том же слоге: *trъwá* (*trowá*)–*trawú* и под." [Брок 1916: 61–62].

Таким образом сформировался наиболее архаичный тип аканья – **недиссимилятивное аканье** в широком смысле – с нейтрализацией фонем неверхнего подъема в звуках типа [ъ] после твердых согласных и типа [ь] или краткого [и] после мягких. Этот тип аканья является довольно распространенным[36] на территории России – он соответствует произношению значительной части носителей русского литературного языка, проживающих на юге и востоке современной Российской Федерации.

Особые отношения между гласными ударного и первого предударного слогов (в частности, зависимость длительности предударного гласного от длительности ударного, а также типичная для русского языка реализация одного фразового акцента на двух этих слогах акцентированного слова[37]) могли способствовать формированию так называемого "просодического ядра" слова (термин предложен С.В. Кодзасовым), объединяющего ударный и первый предударный слоги[38]; эти слоги отчетливо противопоставлены всем другим слогам слова по целому ряду фонетических параметров (в первую очередь, по длительности и спектральному составу гласных) преимущественно в акающих русских говорах[39], что создает типологически крайне редкую ритмическую схему слова[40], описанную еще А.А. Потебней[41]. В большинстве же северно-

---

[36] В произношении большинства современных носителей московского варианта СРЛЯ (особенно – младшей орфоэпической нормы) сейчас в первом предударном слоге после твердых согласных фиксируется гласный [а], практически не отличающийся качественно от соответствующего ударного гласного (по крайней мере, в случае отсутствия фразового акцента на данном слове [Князев 1998]). Однако еще недавно единственно допустимым считалось произношение в этой позиции звука [Λ] (точнее [aᵊ], т.е. гласного более закрытого, чем [а], среднего между [а] и [ъ]). Можно предположить, что еще раньше этот гласный был еще более закрытым, т.е. [ъ]-образным, тогда история его изменения может быть описана как последовательное понижение подъема: [ъ] → [aᵊ] → [а].

[37] "Типичная форма интонации такая, что слог *перед* ударяемым имеет высокий тон, между тем как ударяемый слог выговаривается на значительный интервал ниже" [Брок 1916: 8].

[38] "⟨Russian⟩ word consists of a heavy nucleus (stressed and prestress syllables) and light marginal parts" [Kodzasov 1999]. В целом, проблема формирования просодического ядра слова (причины и механизм этого явления) представляет собой, пожалуй, наиболее сложную, но и наиболее существенную проблему, связанную с историей аканья. Попытка ее решения предпринята С.В. Кодзасовым [Кодзасов, в печати]. С.В. Кодзасов связывает это явление с присутствием в словах русского языка, относящихся к акцентной парадигме В, фонационных переломов на стыках слогов (преимущественно корневых и аффиксальных): "Two prosodic features of the stems govern stress location in the words. The first one is [+/-AA]: presence/absence of Articulatory Accent... The second feature is [+/-LSSh]: presence/absence of Laryngeal Setting Shift" [Kodzasov 1999: 854]. Наличие таких переломов маркируется одновременным усилением слогов, находящихся как слева, так и справа от фонационного сдвига. По общему правилу русской ритмики (из двух сильных слогов второй всегда является более сильным) ударным с системной точки зрения является слог, находящийся после перелома.

[39] А также в восточных (Владимирско-Поволжских) говорах с неполным оканьем. Подробнее о соотношении по длительности ударного и безударных слогов в разных русских говорах см. [Высотский 1973].

[40] Гораздо более распространенной в европейских языках является ритмическая схема слова с чередованием сильных и слабых слогов; в этом случае первый предударный гласный наряду с первым заударным является самым слабым из безударных: "Существенно обратить внимание на своеобразный характер структурной модели фонетического слова в основной массе русских акающих говоров... Наиболее сильным является гласный ударного слога, второе место занимает гласный первого предударного слога, третье – гласные остальных безударных слогов... Эта модель отступает как от модели соседних финно-угорских языков (правда не все последние в этом отношении изучены, но большинство прибалтийских финских дает чередование по силе четных и нечетных слогов), так и от предполагаемой модели далекого предка не только восточнославянских наречий, но и славянской группы в целом. В общеиндоевропейской системе определенного периода, по-видимому, одним из наиболее слабых был первый предударный слог" [Кузнецов 1964: 34–35].

[41] "Слог третий от ударяемого слабее второго, предшествующего ударяемому и равен

русских говоров с полным оканьем первый предударный слог не входит в просодическое ядро слова, там ударный гласный в равной мере противопоставлен всем безударным или не противопоставлен им вовсе[42] [Альмухамедова, Кульшарипова 1980; Князев, Левина, Пожарицкая 1997][43].

В части говоров (акающих!), сформировавших просодическое ядро слова, отношения между ударным и первым предударным слогами далее не развиваются, что дает современное **недиссимилятивное (сильное) аканье** с нейтрализацией предударных гласных неверхнего подъема в звуке типа [ъ] после твердых согласных и **эканье** с нейтрализацией тех же гласных в [ь] или близком ему по спектральным характеристикам безударном ненапряженном [и] (или [и^{э}]) после мягких согласных (а в части говоров – **иканье**):

(2.2)

предударный гласный на месте ĕ, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
ъ	ь (→ и)	и, ы, у
ъ	ь (→ и)	ĕ, ô
ъ	ь (→ и)	е, о
ъ	ь (→ и)	а

В другой части этих говоров в результате формирования просодического ядра происходит удлинение редуцированного гласного первого предударного слога, что приводит к понижению его подъема сначала до средне-нижнего, т.е. до степени [Λ] (точнее [а^{ъ}]), а затем (например, в современном московском произношении) и до обычного

слогу, следующему за ударяемым. Если тоническую силу ударяемого слога обозначить через 3, то отношения других слогов к ударяемому в четырехсложном слове можно будет изобразить так: 1, 2, 3, 1" [Потебня 1865: 62]. При этом сам А.А. Потебня, по-видимому, имел в виду только различия гласных по интенсивности и тембру: "В данной работе А.А. Потебни... четко названы лишь два компонента ф. слова: в его структуре отмечены градации слоговых гласных по отношению к их **силе** и **тембру**... Впоследствии... стихийно и вполне правомерно был привлечен еще один компонент ф. слова – **длительность** гласных" [Высотский 1973: 27]. Современные исследования показывают, что длительность первого предударного гласного в большинстве русских говоров и литературном языке сопоставима с длительностью ударного. На это, впрочем, указывал еще О. Брок: "Гласные в слоге предударном заметно удлиняются, достигая, по моим наблюдениям, приблизительно, долготы гласного ударяемого слога, если не превышают ее" [Брок 1916: 9]. Он же предложил более точную формулу ритмической организации фонетического слова в русском языке – 62165(4) (где 1 – самый полновесный (ударный) слог, 2 – первый предударный и т.д.) [Брок 1916: 11].

[42] Об этом же может свидетельствовать и тот факт, что в севернорусских говорах именно гласный первого предударного слога в наибольшей степени подвержен межслоговой вокальной ассимиляции, которая распространяется обычно на наиболее слабые гласные (в южнорусских говорах – в первую очередь на гласные второго предударного и первого заударного слогов) [Касаткина 1996].

[43] С.С. Высотский, впрочем, считал, что "двуступенчатость ритмической структуры ф. слова в отношении длительности ее сегментов" выражена во всех русских говорах, хоть и в разной – часто ничтожно малой – степени: "Тип VIII – резко противоположный предыдущим тип по реализации двухступенчатости. Последняя выражена очень слабо... Все три гласные (ударный, первый и второй предударные. – *С.К.*), хотя и слабо, но в принципе различаются по длительности. Особенно мало контрастируют по длительности гласные I и II предударных слогов (соответственно 57% и 51% от длительности ударного. – *С.К.*)... Встречается в северной и северовосточной зоне с⟨еверно⟩ -р⟨усских⟩ говоров" [Высотский 1973: 36].

[а]. Этот тип аканья фиксируется преимущественно в тех говорах, где контраст между гласными первого предударного слога и другими безударными гласными выражен наиболее ярко[44] – в восточных акающих и в псковских говорах (о наличии в псковских диалектах подобной ритмической модели см. [Чекмонас 1998]):

(2.3)

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
ъ → а	ь → а	и, ы, у
ъ → а	ь → а	ě, ô
ъ → а	ь → а	е, о
ъ → а	ь → а	а

В московском варианте литературного языка произошло совмещение вокализма после твердых согласных системы (2.3) и после мягких – системы (2.2):

(2.4)

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
ъ → а	ь → и	и, ы, у
ъ → а	ь → и	ě, ô
ъ → а	ь → и	е, о
ъ → а	ь → и	а

Наконец, в говорах третьего типа гласные первого предударного и других безударных слогов противопоставлены не так ярко[45]. При этом отношения между гласными просодического ядра слова оказываются в этих системах наиболее тесными – в том смысле, что в них наличие или отсутствие удлинения редуцированного гласного первого предударного слога зависит от собственной длительности ударного гласного: в положении перед самым долгим из гласных ([а]) удлинения не происходит (сохраняется [ъ]), в позиции перед самыми краткими из ударных гласных (гласными верхнего подъема [и], [ы], [у]) предударный [ъ] удлиняется и переходит в [а], а промежуточные ударные гласные среднего подъема (и средне-верхнего при их наличии) могут вести себя в этом отношении либо как нижние, либо как верхние гласные[46]. Так

[44] Гласный первого предударного слога в этой системе по длительности практически равен ударному или слегка превосходит его, а длительность гласного второго предударного слога составляет лишь 10–16% от длительности ударного.

[45] Длительность гласного первого предударного слога в этих говорах составляет лишь 60–90%, а гласного второго предударного слога – 35–55% от длительности ударного.

[46] Нельзя, впрочем, исключать и такой возможности, что количественная диссимиляция гласных и нейтрализация в безударных слогах гласных неверхнего подъема сформировались одновременно, и редуцированный в положении перед ударным [á] был изначально более кратким, чем в положении перед более узкими (и более краткими) гласными [Jacobson 1929; Чекмонас 1987]. Тогда следует предположить, что в говорах первых двух типов это различие позднее нейтрализовалось (или сохранилось лишь в виде количественного), а в говорах третьего типа преобразовалось в качественное.

формируются наиболее простые типы **диссимилятивного аканья** – архаическое, жиздринское, донское (при том, что в положении после мягкого согласного редуцированный гласный [ь] изменяется в очень близкий ему по спектральным характеристикам безударный краткий ненапряженный [и] перед долгими и в долгий [а] перед краткими). Интересно при этом, что в диссимилятивных моделях после мягких согласных [и], противопоставленный [а], оказывается возможным в тех положениях, где после твердых согласных не встречается противопоставленный тому же [а] редуцированный [ъ] – например, перед гласными верхне-среднего подъема (донское яканье) – по-видимому, именно вследствие того, что он является несколько более долгим, чем [ъ], что еще раз подтверждает наличие компенсаторных отношений по длительности между гласными просодического ядра слова в говорах с диссимилятивным аканьем-яканьем.

(2.5.1) Архаическое яканье обоянского типа

предударный гласный на месте ĕ, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ĕ, ô
ъ	ь (→ и)	е, о
ъ	ь (→ и)	а

(2.5.2) Архаическое яканье задонского типа

предударный гласный на месте ĕ, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ĕ, ô
ъ	ь (→ е)	е, о
ъ	ь (→ е)	а

Наличие [а] в предударном слоге перед ударными гласными из **ĕ, ô** в архаическом типе аканья при [ъ] перед гласными из **е, о** отнюдь не противоречит излагаемой теории, так как дифтонги, вопреки довольно часто встречающемуся мнению, не обязательно превышают по длительности соответствующие монофтонги, наоборот, именно монофтонги – если они являются более открытыми (широкими) гласными – должны быть, в соответствии с общей закономерностью, более долгими: "В диалектологической литературе встречаются, по-видимому, не совсем точные указания на якобы конститутивный признак дифтонгов – их большую длительность по сравнению со всеми монофтонгами... Дифтонги русских диалектов в натуральной речи действительно представляются несколько продленными... Вместе с тем, статистическое обследование достаточно больших отрывков магнитофонной записи живой диалектной речи показало, что длительность [уо], [ие]... практически не отличается от длительности [о], [е] в таких же фразовых условиях, в противоположность гласному [а], длительность которого остается превалирующей" [Высотский 1967: 17].

Кроме того, дифтонги на месте ⟨ĕ⟩ и ⟨ô⟩ в ряде случаев ведут себя не как особые гласные, а как сочетания глайда (неслогового гласного, т.е. гласного, не входящего в слоговое ядро) с соответствующим (в этом случае совсем кратким) гласным среднего или средне-верхнего подъема: "Инструментальный анализ дифтонгов, принадлежащих различным русским говорам, показывает, что они все, по терминологии Л.В. Щербы,

принадлежат категории не истинных, а ложных дифтонгов. Их силовая вершина сосредоточена ближе к концу или началу гласного образования, так что один из двух основных тембральных компонентов сложного гласного всегда преобладает по силе, что обычно сопровождается и преобладанием его по длительности (последняя составляет 60–85% длительности всего дифтонга)... Под влиянием некоторых ритмико-интонационных условий фразы данные дифтонги могут представлять промежуточные формы, напоминающие истинные дифтонги с их равноправными компонентами. Последняя форма сложных гласных в русских диалектах не закреплена и встречается в них как случайное образование речи" [Высотский 1967: 56].

Наконец, чаще всего в говорах с шести- и семифонемным вокализмом дифтонги и монофтонги сосуществуют в качестве реализаций гласных фонем средне-верхнего подъема: в сильной фразовой позиции обычно произносится дифтонг, в слабой – монофтонг: "Здесь образуется закономерная просодическая вариация фонемы как функция определенных ритмико-интонационных условий фразы" [Высотский 1967: 15].

В говорах с жиздринским аканьем в качестве долгого функционирует ударный [а], а в говорах с донским типом вокализма – все гласные неверхнего подъема:

(2.6) Жиздринское аканье

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ě, ô
(ъ →) а	(ь →) а	е, о
ъ	ь (→ и)	а

(2.7) Донское аканье

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
ъ	(ь →) и	ě, ô
ъ	(ь →) и	е, о
ъ	(ь →) и	а

Особых замечаний требуют суджанский, мосальский, дмитриевский и щигровский типы диссимилятивного яканья. Для дмитриевского типа принято предполагать раннее совпадение ⟨ě⟩ и ⟨е⟩ при сохранении различения ⟨ô⟩ и ⟨о⟩ [Хабургаев 1975]:

(2.8) Дмитриевское яканье

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
	(ь →) а	и, ы, у
	(ь →) а	ô
	ь (→ и)	е, о
	ь (→ и)	а

В яканье суджанского и мосальского типов, различающихся только временем перехода **е** в **'о** после мягких согласных перед твердыми, как долгие были обобщены

все ударные нелабиализованные гласные неверхнего подъема, а в яканье щигровского типа – только нелабиализованные гласные среднего и нижнего подъема:

(2.9) Суджанское яканье

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
	(ь →) а (ь →) а	и, ы, у ô, о
	ь (→ и) ь (→ и)	ě, е а

(2.10) Щигровское яканье

предударный гласный на месте ě, е, о, а		ударный гласный
после С	после С′	
	(ь →) а (ь →) а	и, ы, у ô, о, ě
	ь (→ и) ь (→ и)	е а

Различия в реализации гласных фонем неверхнего подъема в положении перед ударными гласными одного и того же подъема, присущие дмитриевскому, суджанскому и щигровскому типам диссимилятивного яканья (во всех этих моделях [и] произносится перед ударным гласным, находящимся в положении после мягкого согласного, а [а] – в позиции перед ударным гласным того же подъема, находящимся в положении после твердого; см. 2.11) могут быть объяснены тем, что собственная длительность ударных гласных в положении после мягких согласных несколько больше длительности гласных в позиции после твердых – вследствие наличия при их произнесении [и]-образного переходного участка: «Гласные заметно длительнее после мягких, чем после твердых[47]. Объяснение этого явления очевидно: гласные после мягких согласных начинаются среднеязычными "переходными звуками" типа *i-e*, которые являются, по-видимому, существенным моментом для акустического восприятия мягкости согласного перед гласными. Для правильности этого восприятия среднеязычный элемент должен быть, по-видимому, настолько длителен, что при нормальной длительности всего гласного[48] он затруднял бы правильное восприятие качества самого́ гласного, результатом чего и является его удлинение» [Щерба 1912: 135].

(2.11)

предударный гласный	[′и]	[′а]
дмитриевский	перед гласным из **ě**	перед гласным из **ô**
суджанский	перед [е], [′о]	перед [о]
щигровский	перед [е], [′о]	перед [о]

[47] По данным Л.В. Щербы длительность ударного гласного в положении после мягкого согласного составляет около 115% от его длительности после твердого (для позиции перед глухим смычным согласным).

[48] Речь идет о длительности, равной длительности того же звука в положении после твердого согласного.

В истории славянских языков сходные явления наблюдались уже не раз. Так, в различных славянских диалектах интерпретация гласного как долгого или краткого могла зависеть не только от различий в собственной деятельности гласного, но даже и от различий в длительности гласного в зависимости от типа следующего согласного (например, в положении перед глухим согласным длительность гласного при прочих равных условиях составляет в разных языках 75–90% от его длительности перед соответствующим звонким). Так, наличие или отсутствие компенсаторного удлинения гласного полного образования в результате падения слабого редуцированного следующего слога в ряде славянских диалектов зависело от длительности находящегося между ними согласного и, соответственно гласного полного образования – чем короче был следующий согласный, тем дольше фонетически был гласный, тем в большей степени он был склонен к переходу в класс долгих [Timberlake 1983: 300]. Длительность согласных увеличивается в соответствии со следующей шкалой: сонорные – звонкие шумные – глухие шумные (при этом иногда еще имеет значение и способ образования – фрикативные оцениваются как менее долгие по сравнению со взрывными). Чрезвычайно существенным при этом представляется то, что разные языки проводят границу между долгими и краткими гласными в разных местах этой шкалы – ситуация, удивительно напоминающая ситуацию формирования многообразных типов русского диссимилятивного яканья в зависимости от того, какой из гласных оценивается как долгий, а какой – как краткий на шкале градуального увеличения длительности с понижением подъема гласного. Так, по данным А. Тимберлейка [Timberlake 1983 : 300], компенсаторное удлинение гласного полного образования в результате падения слабого редуцированного следующего слога при прочих равных условиях в северных чакавских диалектах сербско-хорватского языка происходит только в положении перед сонорным, в польском и южных чакавских диалектах сербско-хорватского – перед сонорным и звонким шумным, в украинском – перед сонорным, звонким шумным и глухим шумным и т.п.

Таким образом, все разнообразие диссимилятивных моделей вокализма связано, в первую очередь, с тем, к какому классу относятся гласные неверхнего и ненижнего подъема – к классу долгих или кратких гласных (при том, что гласные верхнего подъема всегда функционируют как краткие, а гласный нижнего подъема – как долгий).

Изложенная здесь гипотеза позволяет не только предложить чисто фонетическое объяснение возникновения различных типов диссимилятивного аканья-яканья (причем единое для всех этих типов); она позволяет отказаться и от представления о том, что причиной их возникновения была утрата противопоставления между гласными среднего и верхне-среднего подъема, а это, в свою очередь, позволяет объяснить наличие семифонемного ударного вокализма в говорах с жиздринской, донской, суджанской и другими предударными моделями. Таким образом, становится необязательным предполагать для говоров с дмитриевским яканьем шестифонемной системы ударного вокализма с ⟨ô⟩, но без ⟨ě⟩, тем более что "существование систем вокализма только с одной фонемой /ω/, по-видимому, не подтверждается, поскольку сведения о наличии в говоре /ω/ при отсутствии /ѣ/ можно пока почерпнуть лишь из недостаточно обстоятельных материалов" [Высотский 1967: 15].

Отметим еще раз, что недиссимилятивные модели вокализма распространены преимущественно на той территории, где наблюдается наибольшая степень контраста между гласными первого предударного и других безударных слогов, а диссимилятивные – там, где степень выраженности этого контраста меньше. Исходя из этого, можно предположить, что столь значительное удлинение гласного первого предударного слога было связано со значительным же сокращением гласного второго предударного слога.

Как уже отмечалось выше, возникновение **умеренного** яканья[49] принято объяснять

[49] Принцип умеренного яканья состоит в том, что в первом предударном слоге после мягких согласных на месте гласных фонем неверхнего подъема перед твердыми согласными

наслоением недиссимилятивного аканья-яканья на окающую модель владимиро-поволжского типа. Эта концепция, предложенная Е. Будде [Будде 1896], получила развитие в работах В.Н. Сидорова [Сидоров 1951; 1966].

Как полагал Е. Будде, а вслед за ним и В.Н. Сидоров, современные диалекты с умеренным яканьем (по крайней мере, та их часть, которая расположена на границе с окающими владимиро-поволжскими говорами) были изначально севернорусскими[50] говорами с произношением [о] перед твердыми согласными и [е] перед мягкими на месте как *е и *ь, так и *ѣ (т.е. *н[ˈо]сý, в[ˈо]лá* и *в л[ˈо]сý, р[ˈо]ка* при *н[ˈе]сú, р[ˈе]кú*). Под влиянием акающей модели, в которой безударное [о] отсутствует, в этих диалектах стали произносить [а] на месте любого [о], в том числе и после мягких согласных (а также [и] на месте [е]): т.е. *н[ˈа]сý, в[ˈа]лá* и *в л[ˈа]сý, р[ˈа]кá*, при *н[ˈи]сú, р[ˈи]кú*. "В результате образовался говор, представляющий собой по существу акающий слепок, отлитый по окающей модели" (Сидоров 1966: 105]. Однако такая система еще не есть умеренное яканье, так как во владимиро-поволжских говорах этого типа (в отличие от северовосточных – Костромских, Вологодских, Архангельских) на месте предударного ⟨а⟩ произносится [а] как перед твердым, так и перед мягким согласным *(п[ˈа]так, п[ˈа]ти)*, а в говорах с умеренным яканьем в словах типа *пряди, пяти, в грязи, глядят* предударная ⟨а⟩ реализуется звуком [и] ([пˈитˈй]). Этот факт (как и разнообразные диссимилятивные модели, см. выше) приходится объяснять аналогическим выравниванием: "В результате замещения предударного [е] (из старых **е** и **ѣ**) гласною [и] эта последняя в положении между мягкими согласными получила огромное численное преобладание над относительно редкой здесь гласной [ˈа]. Это, по всей вероятности, и послужило причиной постепенного вытеснения редкого звука [ˈа] наиболее частым и привычным в данном положении звуком [и]. Иными словами, система современного умеренного яканья образовалась в результате обобщения гласной и между мягкими согласными, поскольку в говорах с первичным умеренным яканьем гласная [ˈа] произносилась в предударном слоге между мягкими согласными только в соответствии с этимологическим [ˈа], во всех же прочих случаях произносилось [и]" [Сидоров 1966: 108].

Другим слабым местом предложенной интерпретации умеренного яканья как наслоения недиссимилятивного аканья–яканья на окающую модель именно владимиро-поволжского типа является тот факт, что говоры с последовательным произношением безударного [ˈо] на месте **ѣ** встречаются достаточно редко (по сравнению с умеренно якающими говорами), при этом реализация **ѣ** как [ˈо] в значительной степени лексикализована[51], умеренное же яканье распространено на довольно широкой территории, включая говоры Московской и Тульской областей, не связанные с владимиро-поволжскими говорами географически[52]. Впрочем, даже и в восточной части территории распространения умеренно-якающих диалектов "говоры с различением гласных влад.-поволж. типа нигде (кроме небольшого пространства около Касимова) непосредственно не граничат с умеренным яканьем" [ОСН 1970: 342]. Кроме того,

---

произносится [а], а перед мягкими – [и] ([и] произносится также и перед группой согласных, последний из которых является мягким – например, *п[ˈикл']ú, в в[ˈидр']é, з[ˈимл']я, с[ˈистр']ёнка* – это, по-видимому, объясняется тем, что согласные, находящиеся перед мягким, являются хотя и не палатализованными, но полумягкими [Дурново 1903] или просто нейтральными (невеляризованными) [Сидоров 1966: 139]).

[50] В современной лингвогеографии их принято относить не к севернорусскому наречию, а к среднерусским говорам [Захарова, Орлова 1970].

[51] "В сравнительно небольшом количестве пунктов произношение [ˈо] на месте **ѣ** отмечено как основное произношение... Во многих владимирско-поволжских говорах предударное **о** на месте этимологического **ѣ** наблюдается только в определенном круге слов" [Скобликова 1962: 113, 116]

[52] Видимо, именно этот факт позволил Р.И. Аванесову не связывать возникновение умеренного яканья именно с владимиро-поволжским вокализмом [Аванесов 1955: 41]. Другие аргументы против гипотезы Е.Ф. Будде-В.Н. Сидорова см. в работе [Котков 1952].

"современные процессы перехода от вокализма с различением гласных к вокализму с неразличением этих же гласных не ведут к формированию умеренного яканья... От вокализма с различением гласных влад.-поволж. типа обычно наблюдается переход к еканью и иканью" [ОСН 1970: 342]. Поэтому, возможно, логичнее было бы предположить, что умеренное яканье является просто результатом действия в говоре с сильным аканьем-яканьем тенденции к зависимости качества предударного гласного (в том числе и реализаций ⟨а⟩) от твердости/мягкости последующего согласного, а не наложением аканья на какую-то определенную модель окающего вокализма после мягких согласных (хотя в говорах, соседних с владимиро-поволжскими, развитие умеренного яканья могло быть поддержано наличием сходной модели безударного вокализма после мягких согласных). О возможности происхождения умеренного яканья вне связи с влиянием владимиро-поволжской модели безударного вокализма см. также [Дурново 1918: 83][53], [van Wijk 1934–1935; Калнынь, 1952]. Как кажется, такая интерпретация механизма возникновения умеренного яканья совершенно не противоречит общей идеологии гипотезы В.Д. Сидорова[54].

Наконец, формирование **ассимилятивно-диссимилятивных** моделей может быть связано с широко распространенным в русских говорах явлением межслоговой вокальной ассимиляции. При этом возникновение [а] на месте [ъ] перед ударным [а] при отсутствии безударных [е], [о] перед соответствующими ударными гласными может объясняться тем, что безударное [а] (в отличие от [е] и [о]) уже было возможным в первом предударном слоге в говорах с диссимилятивными типами предударного вокализма.

Иначе объясняли возникновение ассимилятивно-диссимилятивного яканья Н.Н. Дурново и В.Н. Сидоров, считавшие, что оно может быть возведено только к такой модели яканья, в которой различаются предударные гласные на месте фонемы ⟨и⟩, с одной стороны, и фонем неверхнего подъема, с другой (поскольку в ассимилятивно-диссимилятивных моделях на месте фонемы ⟨и⟩ произносится [и] в том числе и перед ударным [а], т.е. на реализацию этой фонемы принцип ассимиляции ударному [а] не распространяется; иначе говоря, предударное [а] в позиции перед ударным [а] не может быть из [и], так как тогда [и] любого происхождения давало бы [а]). Этому условию, по мнению Н.Н. Дурново и В.Н. Сидорова, удовлетворяет только задонский подтип архаического диссимилятивного яканья (отличающийся от обоянского наличием [е] на месте [и]): "Ассимилятивно-диссимилятивное яканье... получилось из диссимилятивного восточного (задонского) типа вследствие ассимиляции предударных открытых гласных ударяемого слога" [Дурново 1923: 369]; "Ассимилятивно-диссимилятивное яканье должно восходить к такому типу архаического диссимилятивного яканья, в котором предударная гласная на месте гласных неверхнего подъема различалась с предударной гласной из этимологического **и**. Этому требованию как раз удовлетворяло диссимилятивное яканье задонского типа" [Сидоров 1969: 13]. Основным недостатком этой гипотезы является тот факт, что в русских говорах ассимилятивно-диссимилятивное яканье на базе архаического не зафиксировано [Мораховская 1962]. Кроме того, исходя из этой точки зрения, очень сложно объяснить возникновение кидусовского, култуковского и новоселковского типов непосредственно из архаического.

С другой стороны, легко видеть, что предложенному Н.Н. Дурново и В.Н. Сидоровым ограничению вполне удовлетворяет не только задонская модель, но и система любого типа диссимилятивного яканья на этапе до изменения [ь] → [и] (тем самым ассимилятивно-диссимилятивные модели следует считать достаточно древними; об

---

[53] "Происхождение умеренного яканья на южновеликорусской почве без влияния со стороны вполне возможно" [Дурново 1918: 83].

[54] Отметим, впрочем, что и гипотеза Е. Будде-В.Н. Сидорова не противоречит излагаемой в данной работе концепции, так как умеренное яканье в ее рамках выводится из взаимодействия оканья и недиссимилятивного, а не архаического, аканья.

отражении этих моделей в документах XVII века, написанных в районе Ряжска и Рязани, см. [Новопокровская 1959][55]).

В заключение данного раздела необходимо отметить, что многие другие положения теории А.А. Шахматова представляются вполне обоснованными. В частности:

1. Возникновение аканья связано с формированием единого ударения в результате совпадения автономного и автоматического типов ударения: "Утрата физического различия между автономным и автоматическим ударениями... привела к образованию единого динамического ударения – такого же, как в современных восточнославянских языках. Прежние энклиномены перестали отличаться от прежних начальноударных ортотонических словоформ (в традиционных терминах это событие описывается как падение интонационных различий). К какому времени относится это событие, в точности неизвестно. Из общих соображений можно предполагать, что оно... в целом не слишком сильно отстояло во времени от падения редуцированных... Совпадение автономного и автоматического ударений произошло раньше, чем возникло аканье" [Зализняк 1985: 178].

2. С точки зрения фонетической аканье – это не проблема **о/а**, а проблема нейтрализации неударных гласных неверхнего подъема, которые первоначально, может быть, и не реализовались звуком [а].

3. Аканье в своем развитии прошло две стадии: а) стадию фонетического совпадения безударных гласных неверхнего подъема (в терминах фонологии – стадию унификации[56] их ДП) [Горшкова, Хабургаев 1997] и б) стадию формирования фонетических реализаций уже унифицированного гласного (по крайней мере в некоторых – диссимилятивно акающих – говорах)[57]: "Из предыдущего следует, что наиболее

---

[55] Иное (нефонетическое) объяснение возникновения ассимилятивно-диссимилятивного яканья см. в работе [Захарова 1977].

[56] Возможно, точнее было бы говорить не об унификации (т.е. совпадении значений) всех ДП, а об утрате некоторых из них (ряда и/или лабиализации) безударными гласными.

[57] Впрочем, возможно, это не относится к белорусским овтюковским говорам, в которых в первом предударном слоге наблюдается неразличение гласных неверхнего подъема в положении перед ударными гласными среднего и нижнего подъема (долгими) и различение, сопровождаемое удлинением, перед гласными верхнего и средне-верхнего подъема (краткими) [Войтович 1972: 18–26], а также к гдовской и полновской моделям безударного вокализма, свойственным русским говорам севера Псковской обл. [Чекмонас 1998]:

вокализм первого предударного слога **полновского** типа	ударный гласный	вокализм первого предударного слога **гдовского** типа
аканье-яканье	верхнего подъема	аканье-яканье
оканье	среднего подъема	оканье
оканье	нижнего подъема	аканье-яканье

Для этих говоров можно предположить отсутствие первой стадии.

Очевидно, что полновская и гдовская модели формировались не независимо друг от друга. По мнению В.Н. Чекмонаса [Чекмонас 1998: 119], основанному преимущественно на анализе лингвогеографических данных, полновская модель возникла в результате взаимодействия оканья и вокализма гдовского типа; последний, в свою очередь, сформировался под влиянием финно-угорских диалектов с гармонией гласных [Чекмонас 1998: 125–130]. Из системно-типологических соображений более вероятным представляется обратное предположение – развитие гдовской модели из полновской в результате наложения на нее принципа ассимиляции (подобно ассимилятивно-диссимилятивному и ассимилятивно-умеренному яканью). Т.Г. Строганова (см. [ОСН 1970: 451]) в соответствии со стандартной точкой зрения на возникновение аканья возводит полновскую и гдовскую модели к диссимилятивному аканью (несмотря на отсутствие диссимилятивных моделей в акающих говорах, соседствующих с гдовскими и полновскими). Критику этой гипотезы см. в [Чекмонас 1998: 121–122].

архаичными следует признать те говоры, которые в наибольшем числе случаев сохранили α в слоге предударном. И если в этих говорах в предударном слоге все-таки является и **а**, то это **а** не может быть древним: ясно, что оно заменило α под влиянием той или иной звуковой причины" [Шахматов 1915: 340].

4. Нормы реализации этого гласного после твердых и мягких согласных формировались параллельно, а поэтому не может ставиться вопрос о происхождении аканья (в узком смысле) и отдельно – о происхождении яканья [Горшкова, Хабургаев 1997: 116–117].

С другой стороны, с точки зрения изложенной выше концепции, необязательным представляется предположение А.А. Шахматова о первичности диссимилятивного аканья по сравнению с недиссимилятивным. Признание первичности недиссимилятивного аканья позволяет отказаться от предположения о том, что "зона старейших акающих говоров должна находиться в центре общего ареала аканья-яканья" [Горшкова, Хабургаев 1997: 111], то есть на "глухой восточнославянской периферии, удаленной от важнейших древнерусских (позднее великорусских) культурных центров" [Горшкова, Хабургаев 1997: 113]; данная гипотеза может считаться вполне вероятной лишь для объяснения формирования вторичных диссимилятивных моделей предударного вокализма. Возникновение же недиссимилятивного аканья (в том числе и иканья) может быть рассмотрено как процесс, общий для обширной группы современных акающих говоров.

Подробный анализ современных лингвогеографических данных в связи с проблемой территории возникновения аканья и вопросом о том, какой из типов аканья является первичным, содержится в работе [Хабургаев 1980]. Эти сведения являются, по существу, едва ли не единственным аргументом в пользу первичности диссимилятивных моделей аканья, поскольку, как это было показано выше, из системных соображений более вероятной представляется гипотеза о первичности недиссимилятивного аканья, а данные памятников письменности не дают никаких оснований считать наиболее древним архаическое диссимилятивное аканье[58]. Однако следует иметь в виду, что данные лингвогеографии сами по себе нельзя рассматривать как окончательные аргументы в пользу той или иной гипотезы: "Постановка подобных вопросов на основе интерпретации изоглосс всегда имеет предварительный и более или менее условный характер, их полное разрешение требует синтеза с показаниями памятников письменности и еще более детального изучения каждого явления в отдельности" [Орлова 1961: 5].

Г.А. Хабургаев, в частности, отмечает: «Поскольку, как это обнаруживается из исследований последних десятилетий, при столкновении аканья-яканья с оканьем "побеждает" акающая система как более последовательно реализующая общую для всех восточнославянских языков тенденцию к обобщению ДП безударных гласных, то можно считать установленным, что в целом ареал аканья-яканья в историческое время неуклонно расширялся. А это значит, что зона старейших говоров должна находиться в центре общего ареала аканья-яканья[59]... На территории старейших древнерусских поселений центр ареала занят говорами с различными разновидностями диссимилятивного аканья-яканья» [Хабургаев 1980: 143]. Однако, на наш взгляд, нет оснований считать, что территория, на которой первоначально возникло аканье, обязательно представляла собой "точку" в пространстве или даже какой-то очень маленький ареал; вполне можно допустить и то, что аканье изначально возникло на достаточно об-

---

[58] Более или менее надежные сведения письменных источников о диссимилятивном характере яканья (впрочем, при недиссимилятивном аканье) в южнорусских (курских) говорах относятся лишь к середине XVII в. [Хабургаев 1960], при том что возникновение аканья принято датировать концом XII – началом XIII вв. В более ранних памятниках следов диссимилятивности не обнаруживается [Филин 1972: 120–128].

[59] Впрочем, тот факт, что территория распространения акающих говоров увеличивалась за счет окающих, отнюдь не означает того, что первоначально аканье возникло именно в центре современного акающего массива.

ширной территории; тогда вопрос о том, какой именно тип аканья-яканья представлен сейчас в его центре, становится неактуальным. Кроме того, "явные признаки аканья, пробивавшегося сквозь окающую орфографию, в письменности XIV в. Москвы, Белоруссии, Смоленска, Пскова, т.е. на огромной территории, делают и вовсе невероятной гипотезу, по которой аканье возникло только в XIII в. на ограниченном пространстве районов южнее Оки. Объяснить почти молниеносное распространение аканья на обширных землях невозможно" [Филин 1972: 147]. Наконец, нельзя считать установленным, что смена оканья аканьем при "столкновении" этих систем является результатом действий какой-то тенденции, общей для всех восточнославянских языков. Во-первых, действия этой тенденции не наблюдается во многих (северно)русских и украинских говорах. Во-вторых, акающая система по сравнению с окающей является более сложной (как любая система с нейтрализацией фонем по сравнению с системой без их нейтрализации). В-третьих, нельзя исключать возможности того, что смена оканья аканьем при их взаимодействии происходит не в результате действия каких-то внутриязыковых тенденций, а просто в силу большей престижности аканья – в таком случае это явление не может быть отнесено к моменту формирования и распространения аканья (а о его точной хронологии достоверных сведений не существует: нельзя, например, с полной уверенностью сказать, когда оканье сменилось аканьем в том или ином диалекте – до или после формирования русского литературного языка нового типа).

Далее Г.А. Хабургаев (основываясь на мнении Р.И. Аванесова [Аванесов 1955]) пишет: "Данные лингвистической географии заставляют обратить внимание на целый ряд особенностей ареала разновидностей аканья-яканья, связанных с диссимилятивной зависимостью качества предударенного гласного от степени подъема гласного под ударением: в его границах диссимилятивное аканье в узком смысле (после твердых согласных), как правило, сопровождается диссимилятивным яканьем, в то время как недиссимилятивное аканье (в узком смысле) сопровождается самыми разнообразными разновидностями реализации ′α (после мягких согласных) – от диссимилятивного или ассимилятивно-диссимилятивного яканья до московского иканья, при котором фонетическая реализация ′α (после мягких согласных) не имеет ничего общего с фонетической реализацией α (после твердых согласных)" [Хабургаев 1980: 143–144]. Здесь представляется уместным заметить, что 1) недиссимилятивное аканье может сопровождаться не только диссимилятивным или ассимилятивно-диссимилятивным яканьем или иканьем, но и параллельным ему сильным яканьем; 2) и при диссимилятивном яканье, совершенно в той же степени, как при иканье, "фонетическая реализация ′α (после мягких согласных) не имеет ничего общего с фонетической реализацией α (после твердых согласных)" перед гласными нижнего и среднего подъема. Таким образом, утверждение о том, что «**только** (выделено мной. – *С.К.*) в ареале разновидностей аканья-яканья, "связанных с диссимилятивностью", встречаются говоры, в которых типы фонетической реализации α после твердых и после мягких согласных полностью совпадают» [Хабургаев 1980: 144] не соответствует действительности – кроме говоров с сильным яканьем и недиссимилятивным аканьем (т.е. с [а] как после мягких, так и после твердых согласных) существуют и системы, в которых гласные неверхнего подъема после твердых согласных нейтрализуются в звуке типа [ъ], а после мягких – в звуке типа [ь] или близкого ему спектрально краткого ненапряженного [и] (см. выше). Наконец, не совсем ясно, почему параллелизм реализации гласных после твердых и после мягких согласных должен быть явлением более древним, чем зависимость тембра безударного гласного от свойств предшествующего согласного (ведь именно такую зависимость предполагал еще А.А. Шахматов для диссимилятивного аканья-яканья).

Г.А. Хабургаев заключает свою мысль: "Именно представление о единстве изменения предударенных гласных после твердых и после мягких согласных лежит в основе шахматовской концепции происхождения аканья-яканья" [Хабургаев 1980: 144]. Легко видеть, что изложенная выше концепция возникновения аканья отнюдь не противоречит этому положению. Кроме того, эта концепция позволяет устранить вопрос о

том, почему при взаимодействии окающих и акающих моделей в истории русского языка оканье сменяется не диссимилятивным, а сильным аканьем. По мнению Г.А. Хабургаева, «при столкновении аканья с так называемым "оканьем" побеждает акающая система... К северу и к югу от предполагаемой зоны формирования, где аканье-яканье распространялось, охватывая славянскую речь, известны лишь его недиссимилятивные разновидности... Это означает, что носители соседних древнерусских говоров воспринимали лишь основной принцип аканья, не "улавливая" мнимо диссимилятивной зависимости качества предударенного гласного от степени подъема гласного ударяемого слога» [Хабургаев 1980: 142, 145]. Очевидно, что предположение о первичности недиссимилятивных моделей аканья позволяет описать отмеченный Г.А. Хабургаевым факт гораздо более реалистично – в этом случае при смене оканья аканьем как недиссимилятивное аканье усваивается именно недиссимилятивное аканье*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов Р.И. 1947 – Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник Московского университета. 1947. № 9.

Аванесов Р.И. 1952 – Лингвистическая география и история русского языка // ВЯ. 1952. № 6.

Аванесов Р.И. 1955 – Проблемы образования языка великорусской народности // ВЯ. 1955. № 5.

Альмухамедова З.М., Кульшарипова Р.Э. 1980 – Редукция гласных и просодия слова в окающих русских говорах. Казань, 1980.

АРНГ 1957 – Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Вступительные статьи и комментарии. М., 1957.

Будде Е. 1896 – К истории великорусских говоров. Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии. Казань, 1896.

Бондарко Л.В. 1998 – Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.

Борковский В.И., Кузнецов П.С. 1965 – Историческая грамматика русского языка. М., 1965.

Брок О. 1916 – Говоры к западу от Мосальска. Петроград, 1916.

Войтович Н.Т. 1972 – К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 1972.

Высотский С.С. 1967 – Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах (по материалам экспериментально-фонетического исследования) // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967.

Высотский С.С. 1973. – О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

Георгиев В.И. 1963 – Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка // ВЯ. 1963. № 2.

Георгиев В.И. 1964 – Общеславянское значение проблемы аканья // ВЯ. 1964. № 4.

Георгиев В.И. 1965 – Аканье и иканье в истории русского языка // Проблемы современной филологии. М., 1965.

Георгиев В.И. 1968 – Праславянский вокализм и проблема аканья // В.И. Георгиев, В.К. Журавлев, Ф.П. Филин, С.И. Стойков. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. 1997 – Историческая грамматика русского языка. М., 1997.

Дурново Н.Н. 1903 – Описание говора дер. Парфенок Рузского уезда Московской губ. Варшава, 1903.

---

* Я глубоко признателен своим коллегам по кафедре русского языка филологического факультета МГУ – Е.Л. Бархударовой, Е.Ф. Васеко, Л.А. Илюшиной, Т.В. Михайлычевой, Е.А. Нефедовой, С.К. Пожарицкой, А.В. Птенцовой и М.Н. Шевелевой, а также Р.Ф. Касаткиной, Л.Л. Касаткину, С.В. Кодзасову (Институт русского языка РАН) и С.Л. Николаеву (Институт славяноведения РАН) за то, что они нашли время прочитать несколько версий данной статьи; их замечания, дополнения и чрезвычайно интересные вопросы позволили очень существенно ее улучшить. Особую благодарность я хотел бы выразить Е.А. Галинской – ее помощь была просто неоценимой. Конечно, вся ответственность за ошибки, неточности и неясности, если они все же сохранились в тексте, целиком лежит на авторе статьи.

Дурново Н.Н. 1918 – Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. I. Южновеликорусское наречие. М., 1918.

Дурново Н.Н. 1923 – Ответ проф. Е.Ф. Будде // Известия ОРЯС. Т. XXIV. Кн. 2. Петроград, 1923.

Дурново Н.Н. 1924 – Очерк истории русского языка. М., 1924.

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Захарова К.Ф. 1959 – Архаические типы диссимилятивного яканья в говорах Белгородской и Воронежской областей // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. I. М., 1959.

Захарова К.Ф. 1961 – Некоторые случаи утраты архаического типа диссимилятивного яканья (По материалам "Атласа русских народных говоров юго-западных областей РСФСР") // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Вып. II. М., 1961.

Захарова К.Ф. 1971 – Типы диссимилятивного яканья в русских говорах // ВЯ. 1971. № 2.

Захарова К.Ф. 1977 – К вопросу о генетической основе типов ассимилятивно-диссимилятивного яканья // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.

Захарова К.Ф., Орлова В.Г. 1970 – Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Калнынь Л.Э. 1952 – Коломенские говоры в их истории и современном состоянии. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1952.

Касаткин Л.Л. 1998 – Некоторые фонетические особенности современных русских говоров, описанных в начале XX века О. Броком // A centenary of Slavic studies in Norway. The Olaf Broch Symposium. Oslo, 1998.

Касаткина Р.Ф. 1996 – Межслоговая ассимиляция гласных в русских говорах // Просодический строй русской речи. М., 1996.

Касаткина Р.Ф., Щигель Е.В. 1995 – Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // Проблемы фонетики II. М., 1995.

Касаткина Р.Ф., Касаткин Л.Л., Красовицкий А.М., Савинов Д.М., Щигель Е.В. (в печати) – Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Ч. II. Южнорусское наречие.

Князев С.В. 1998 – Фонетическая реализация ударения в различных фразовых позициях в современном русском языке // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование. Тезисы докладов Международной конференции. Звенигород, 25–27 ноября 1998 года. М., 1998.

Князев С.В. 1999 – О прогрессивной ассимиляции в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9.: Филология. 1999. № 4.

Князев С.В., Левина А.Н., Пожарицкая С.К. 1997 – О говорах Верхней Пинеги и Выи // Вопросы русского языкознания. Вып. VII. Русские диалекты: история и современность. М., 1997.

Кодзасов С.В. (в печати). – Краевые акценты в русском языке.

Котков С.И. 1952 – К изучению орловских говоров // Уч. зап. Орловского пед. ин-та. Т. VII. Вып. 3. Орел, 1952.

Кузнецов В.Б., Отт В.А. 1989 – Автоматический синтез речи. Алгоритмы преобразования "буква-звук" и управление длительностью речевых сегментов. Таллинн, 1989.

Кузнецов П.С. 1964 – К вопросу о происхождении аканья // ВЯ. 1964. № 1.

Курило О.Б. 1928 – До питання про умови диссимілятивного акання // Зап. історико-филологічного відділу Укр.АН. Т. XVII. Київ, 1928.

Лыткин В.И. 1965 – Еще к вопросу о происхождении русского аканья // ВЯ. 1965. № 4.

Мораховская О.Н. 1962 – Соотношение типов яканья в говорах рязанской мещеры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. III. М., 1962.

Новопокровская В.Н. 1955 – Диалектные особенности рязанских говоров XVII века (по рукописи Рязанского областного архива УМВД). Дис. ... канд. филол. наук. Рязань, 1955.

Новопокровская В.Н. 1959 – О некоторых особенностях вокализма рязанских говоров XVII в. // Материалы совещания по изучению южнорусских говоров и памятников письменности при Воронежском университете. Воронеж, 1959.

ОСН 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии). М., 1970.

Орлова В.Г. 1961 – Русско-белорусские языковые отношения по данным диалектологических атласов // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. II. М., 1961.
Пауфошима Р.Ф. 1980 – Активные процессы в современном русском литературном произношении (ассимилятивные изменения безударных гласных) // ИАН СЛЯ. 1980. № 1.
Пожарицкая С.К. 1997 – Русская диалектология. М., 1997.
Потебня А.А. 1865 – О звуковых особенностях русских наречий // Филологические записки. Вып. 1. Воронеж, 1865.
Руделев В.Г. 1963 – К фонологической интерпретации русского аканья // ВЯ. 1963. № 2.
Сидоров В.Н. 1951 – О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах // ИАН ОЛЯ. Вып. 2. М., 1951.
Сидоров В.Н. 1966 – Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье // В.Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
Сидоров В.Н. 1969 – Два пути образования умеренного яканья из ёканья // В.Н. Сидоров. Из русской исторической фонетики. М., 1969.
Скобликова Е.С. 1962 – О судьбе этимологического ѣ в первом предударном слоге перед твердым согласным в говорах владимирско-поволжской группы // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. III. М., 1962.
Трубецкой Н.С. 1987 – О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // Н.С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987.
Филин Ф.П. 1968 – О происхождении и развитии восточнославянского аканья // В.И. Георгиев, В.К. Журавлев, Ф.П. Филин, С.И. Стойков. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.
Филин Ф.П. 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., 1972.
Хабургаев Г.А. 1960 – К истории некоторых фонетических особенностей курских говоров // Вопросы русского языка и методики его преподавания. Курск, 1960.
Хабургаев Г.А. 1965 – О фонологических условиях развития русского аканья // ВЯ. 1965. № 6.
Хабургаев Г.А. 1975 – Географическое варьирование системных отношений как материал исторической диалектологии // Русские говоры. К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.
Хабургаев Г.А. 1980 – Становление русского языка (пособие по исторической грамматике). М., 1980.
Чекмонас В.Н. 1989 – Аканье (яканье) и редукция безударных гласных неверхнего подъема // Kalbotyra. № 40(2). Vilnius, 1989.
Чекмонас В.Н. 1987 – Территория зарождения и этапы развития восточнославянского аканья в свете данных лингвогеографии // Russian linguistics. 1987. № 11.
Чекмонас В.Н. 1998 – Аканье и оканье в северной части Псковской области (полновские говоры) // Kalbotyra. № 47(2). Slavistica Vilnesis. Vilnius, 1998.
Шахматов А.А. 1893 – Исследования в области русской фонетики. Варшава, 1893.
Шахматов А.А. 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии / Под ред. И.В. Ягича. Петроград, 1915.
Щерба Л.В. 1912 – Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912.
Beckman M.E. 1986 – Stress and non-stress accent. Dordrecht, 1986.
Halle M. 1965 – Akan'e. The treatment of unstressed nondiffuse vowels in Southern Great Russian dialects // Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kurylowicz. Wrocław; Warszawa; Krakow, 1965.
Jacobson R. 1929 – Remarque sur l'évolution phonologique du russe // TCLP. 2. 1929.
Kodzasov S.V. 1999 – Russian // H. van Hulst (Ed.). Word prosodic systems in the languages of Europe. Berlin; New York, 1999.
Timberlake A. 1983 – Compensatory lengthening in Slavic. 2: Phonetic reconstruction // American contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Kiev, September 1983. V. I. Linguistics / Ed. by M.S. Flier. New York, 1983.
Vaillant A. 1950 – Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Paris, 1950.
van Wijk N. 1934–1935 – Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Jakanje // Slavia, 1934–1935. № 4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. Г.М. БОГОМАЗОВ

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЯЗЫКЕ РЕБЕНКА*

Многообразные формы речевого общения и взрослых, и детей обеспечиваются двумя основными процессами: восприятия речи и порождения речи [Леонтьев 1969]. Первый процесс строится, вероятно, на основе модели "текст – смысл", т.е. при восприятии процесс протекает в направлении от звуковой формы к содержанию. Во втором случае процесс ориентируется на модель "смысл – текст" и протекает в направлении реализации смыслового содержания в звуковой форме [Мельчук 1974].

Несомненно, что оба процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. Однако это не исключает и того, что механизм восприятия отличен от механизма порождения речи. Возможно, за счет их самостоятельного и различного характера действия повышается степень надежности человеческого общения. Подтверждением этой мысли, в частности, служат клинические наблюдения над больными анартрией: эти больные от рождения лишены собственной речи в результате церебрального паралича, однако они способны понимать речь в довольно широких пределах [Винарская 1971].

Можно предположить, что эти два глобальных процесса обслуживаются двумя фонетическими системами, которые могут отличаться друг от друга не только по своим целевым установкам, но и по количеству и характеру своих единиц.

Известно, что фонологический слух в целом опережает артикуляторные возможности ребенка. Если в процессе восприятия ребенок различает фонемы /б/ – /в/, /с/ – /ш/, /р/ – /л/, то в своей продуктивной речи он может долгое время не различать их [Бельтюков 1964]. Это свидетельствует о том, что фонологическая система, которую ребенок использует в процессе восприятия речи, не равна фонологической системе, которую ребенок использует в процессе порождения речи. Этим объясняются явления субституции звуков, сокращения групп согласных и другие явления детской речи [Гвоздев 1961]. И лишь с развитием продуктивных форм речи уравниваются возможности двух фонологических систем, обслуживающих процессы восприятия и порождения речи.

Раздвоение фонетической системы можно наблюдать и тогда, когда ребенок овладевает новым видом речевой деятельности, в частности, чтением. Каждый может убедиться в том, что интонационные возможности читающего ребенка резко отличаются от тех же его интонационных способностей в обычной речи [Эльконин 1998]. Если в обычной речи возможности фонетических систем, обслуживающих процессы восприятия и порождения речи, в целом равны друг другу, то при чтении фонетическая система, обслуживающая процесс порождения речи, интерферирует с письменной формой речи, в результате чего ее возможности сокращаются.

Уже при устных формах речи у ребенка появляются возможности устанавливать различные типы связей между живыми фонетическими чередованиями звуков, лежащими в основе фонологических обобщений, и значимыми единицами, в частности, морфемами. В одних случаях эти связи носят потенциальный характер. Они потенциальны в том смысле, что ряд чередующихся звуков входит в состав обобщенного образа

* Работа осуществляется при поддержке РФФИ, грант № 97-06-8033.

фонемы потому, что они могут ассоциироваться со значением определенной морфемы. Так, различные виды фонемы /а/ [а, ·а, а·, ·а·, ã, ъ] ассоциируются с морфемой "а" как показателем ед. числа, жен. рода, им. падежа в словах типа *рука, дама, сказка* и т.п., а различные виды фонемы /л/ ассоциируются с морфемой *л* как показателем прошедшего времени, муж. рода, ед. числа в словах типа *читал, выключил* и т.п. В других случаях эти связи носят непосредственный характер и ряд чередующихся звуков представляет фонему в определенной позиции в конкретной морфеме. Так, предлог *с* ассоциируется с фонемой ⟨с⟩ и представлен в виде намерения, которое реализуется в потоке речи как ряд закономерно чередующихся звуков [с] *с Аней,* [с°] *с Улей,* [с'] *с Тимошей,* [з] *с Дашей,* [з'] *с Димой,* [ш] *с Шурой,* [ж] *с Женей,* [ш'] с Чуком и др.

Таким образом, потенциальные связи живых фонетических чередований звуков с морфемой способствуют формированию системы фонем, обеспечивающих процессы восприятия речи, а непосредственные связи ряда закономерно чередующихся звуков с конкретной морфемой обеспечивают формирование системы фонем, обслуживающих процессы порождения речи. При этом главная задача системы фонем, принимающих участие в процессе восприятия, – опознать слово и установить его содержание. Основная цель системы фонем, обслуживающих процесс порождения речи, – закрепить результаты мыслительного процесса в виде последовательности тождественных и отличных друг от друга морфем. Фонемы, входящие в систему первого типа, условно назовем семасиологическими фонемами. По своему лингвистическому содержанию они сходны с фонемами щербовской фонологии [Зиндер 1979]. Фонемы, образующие систему второго типа, условно назовем ономасиологическими фонемами. Их лингвистическое содержание сходно с фонемами в понимании Московской фонологической школы [Панов 1979].

Эта специализация двух систем фонем особенно активизируется, когда дети начинают знакомиться с письменными формами речи в результате обучения чтению. До знакомства с письменными текстами внутренняя речь ребенка находилась под контролем прежде всего семасиологической системы фонем. При обучении чтению внутренняя речь ребенка все чаще опирается на закономерности ономасиологической системы фонем. К этому их подталкивают регулярные расхождения между звуковым и буквенным обликом слова. Косвенно об этом свидетельствует смена тактики субъективного слогоделения у детей. Так, дети, не обученные чтению, стремятся делить слова преимущественно на открытые слоги, а дети, обучаемые чтению, стремятся делить слова (там, где это возможно) на закрытые слоги. При этом слогоделение все чаще (там, где это возможно) совпадает с морфоделением, например, до обучения чтению по-до-ко-нник, а после обучения: под-о-кон-ник и т.п. [Винарская и др. 1977]. Смена ориентиров внутренней речи ребенка и переход с семасиологической системы фонем на ономасиологическую у каждого ребенка происходит весьма индивидуально, хотя здесь, вероятно, существуют и общие закономерности.

Фонологические принципы организации внутренней речи ребенка приобретают особую роль в процессе стихийного и сознательного освоения им норм русского письма. Прежде чем написать любое слово дети проговаривают его про себя. Вероятно, между проговариванием слов про себя и внутренней речью ребенка существует определенная связь. По крайней мере, можно предположить, что во внутренней речи ребенка и при проговаривании слов про себя перед их написанием используется одна и та же система фонем. Вероятно, у каждого ребенка, который знакомится с нормами русской письменной речи, эта фонологическая система носит переходный характер и движется в направлении освоения ономасиологической системы фонем. Вероятно, освоение ономасиологической системы фонем каждым ребенком зависит от многих факторов психологического и лингвистического характера.

Изложенные здесь предположения вполне согласуются с наблюдениями других авторов. Так, отмечается, что в начальный период стихийного освоения норм письма ребенок проходит этап, когда "письмо для него... представляет собой фактически своего рода неосознанную "фонетическую транскрипцию" [Князев 1997; ПДР 1997;

Павлова 1998]. Н.П. Павлова замечает: "Большинство детей постепенно усваивают основной принцип русской орфографии, пишут сначала по произношению, нарушая при этом единообразие морфем, переходя затем к освоению морфологического принципа" [Павлова 1998].

Для подтверждения представленных выше взглядов и более детального рассмотрения перехода детьми от одного способа написаний к другим был проведен эксперимент в первых, вторых и третьих классах. В эксперименте приняло участие 48 учащихся первых классов, 134 учащихся вторых классов и 88 учеников третьих классов. Им было предложено написать диктант, состоящий из слов и словосочетаний. В первом случае дети записывали отдельные слова и сочетания прилагательных с существительными, например, *воробей, под елкой, широкая дорога* – всего 19 единиц. Во втором случае диктовались лишь отдельные слова, т.е. существительные без прилагательных, например, *воробей, под елкой, дорога* – по-прежнему 19 единиц. Следовательно, многие слова в обоих диктантах повторялись. В первом случае в словосочетаниях род, число и падеж существительных подчеркивался окончанием прилагательных, например, широкая дорога. Во втором диктанте ученики были лишены подобного рода дополнительной информации. Диктант проводился в два этапа в конце февраля – начале марта 1999 г. Разница между проведением двух диктантов могла равняться двум–трем дням, а максимально – неделе. Количество учащихся, принимавших участие в первом диктанте, могло незначительно отличаться от количества участников второго диктанта. Например, в первом диктанте принимало участие 134 учащихся вторых классов, а во втором – 121 ученик. Результаты диктантов анализировались, затем определялось количество отклонений от нормативного написания. Далее количество отклонений выражалось в процентах к общему количеству учащихся определенных классов, что дает возможность сопоставлять однотипные отклонения в написаниях учеников первых, вторых и третьих классов.

Ниже приводится таблица с количественными данными, которые выражены в процентах, о типичных отклонениях в написаниях учащихся первых, вторых и третьих классов. В квадратных скобках указывается буква, которую ученик ошибочно использовал, а рядом стоящая цифра отмечает номер позициии, например, *до*[1а]*ро*[2а] – *гой*. В круглых скобках приводятся данные о количестве отклонений в процентах, которые допустили учащиеся во втором диктанте. Первый диктант из следующих слов и словосочетаний: 1) *дорогой друг*, 2) *карандаш*, 3) *под ёлкой*, 4) *воробей*, 5) *широкая дорога*, 6) *моё окошко*, 7) *под осиной*, 8) *белое облако*, 9) *наши дома*, 10) *голубая волна*, 11) *вкусные плоды*, 12) *высокие столбы*, 13) *голубые озёра*, 14) *голубое озеро*, 15) *топкие болота*, 16) *топкое болото*, 17) *высокая гора*, 18) *зелёная трава*, 19) *черные сапоги*. Второй диктант: 1) *друг*, 2) *карандаш*, 3) *под ёлкой*, 4) *воробей*, 5) *дорога*, 6) *окошко*, 7) *под осиной*, 8) *облако*, 9) *дома*, 10) *волна*, 11) *плоды*, 12) *столбы*, 13) *озёра*, 14) *озеро*, 15) *болота*, 16) *болото*, 17) *гора*, 18) *трава*, 19) *сапоги*.

Эксперимент лишний раз подтвердил, что в основе любого написания ребёнка лежит предварительное проговаривание того, что он должен написать. В связи с этим важно установить те основные факторы, под влиянием которых формируется это предварительное проговаривание. Вероятно, ключ к разгадке стихийной и осознанной грамотности ребенка и лежит в раскрытии основных закономерностей формирования этого предварительного проговаривания, которое предшествует написанию. Условно назовем такого типа проговаривания внутренней речью ребенка. Хотя заранее можно сказать, что внутренняя речь, которая фиксирует на определенном уровне результаты общего процесса порождения речи, представляет собой более сложное явление [Соколов, 1968].

Во время диктанта внутренняя речь ученика в значительной степени находится под влиянием звуковых образов тех слов, которые он последовательно воспринимает при диктовке и которые он должен записать. Однако трансформация звуковых образов во внутреннюю речь – это весьма самостоятельный процесс, который протекает тем

ТАБЛИЦА

	Первые классы	Вторые классы	Третьи классы
1. *до*[1а] *ро*[2а]*гой*	[1а] – 47% (23%)	[1а] – 3%(1%)	[1а] – 0%
друг	[2а] – 35%(23%)	[2а] – 2%(1%)	[2а] – 0%
2. *ка*[1о]*ра*[2о]*ндаш*	[1о] – 5%(0%)	[1о] – 8%(7%)	[1о] – 1%(1%)
	[2о] – 9%(0%)	[2о] – 7%(7%)	[2о] – 4%(0%)
3. *под ёлко*[1а]*й*	[1а] – 5%(0%)	[1а] – 6%(5%)	[1а] – 3%(4%)
4. *во*[1а]*ро*[2а]*бей*	[1а] – 4%(3%)	[1а] – 2%(3%)	[1а] – 0%(0%)
	[2а] – 12(14%)	[2а] – 2%(2%)	[1а] – 0%(0%)
5. *ши*[1е]*рокая*	[1е] – 41%(0%)	[1е] – 6%(0%)	[1е] – 0%
до[2а]*рога*	[2а] – 30%(41%)	[2а] – 2%(7%)	[2а] – 1%
6. *мо*[1а]*ё*	[1а] – 59%(0%)	[1а] – 2%(0%)	[1а] – 2%
о[2а]*кошко*[3а]	[2а] – 17%(27%)	[2а] – 2%(3%)	[2а] – 0%
	[3а] – 35%(5%)	[3а] – 10%(12%)	[3а] – 6%(6%)
7. *под*	[1а] – 29%(18%)	[1а] – 2%(1%)	[1а] – 0%
о[1а]*сино*[2а, ы]*й*	[2ай] – 23%(9%)	[2ай] – 2%(1%)	[2ай] – 1%(1%)
	[2ый] – 12%(9%)	[2ый] – 4%(3%)	[3ый] – 1%(1%)
8. *бело*[1а]*е*	[1а] – 0%	[1а] – 2%(0%)	[1а] – 3%(0%)
обла[2о]*ко*[3а, ы]	[2о] – 88%(91%)	[2о] – 71%(38%)	[2о] – 31%(38%)
	[3а] – 12%(5%)	[3а] – 2%(1%)	[3а] – 1%(3%)
		[3ы] – 1%(0%)	[3ы] – 1%(0%)
9. *наши до*[1а]*ма*	[1а] – 6%(9%)	[1а] – 3%(3%)	[1а] – 3%(0%)
10. *го*[1а]*лубая*	[1а] – 6%(0%)	[1а] – 0%	[1а] – 1%(0%)
во[2а]*лна*	[2а] – 6%(23%)	[2а] – 4%(3%)	[2а] – 5%(0%)
11. *вкусные*	[1а] – 1%(1%)	[1а] – 9%(5%)	[1а] – 1%(3%)
пло[1а]*ды*			
12. *высокие*	[1а] – 1%(0%)	[1а] – 4%(7%)	[1а] – 1%(0%)
сто[1а]*лбы*			
13. *го*[1а]*лубые*	[1а] – 0%	[1а] – 1%(0%)	[1а] – 1%(0%)
о[2а]*зёра*[3ы]	[2а] – 24%(55%)	[2а] – 1%(0%)	[2а] – 0%
	[3ы] – 0%	[3ы] – 6%(1%)	[3ы] – 3%(0%)
14. *го*[1а]*лубое*	[1а] – 0%	[1а] – 1%(0%)	[1а] – 1%(0%)
озеро[2а, ы]	[2а] – 24%(45%)	[2а] – 8%(7%)	[2а] – 2%(3%)
		[2ы] – 1%(0%)	
15. *топкие*	[1а] – 18%(36%)	[1а] – 8%(18%)	[1а] – 1%(4%)
бо[1а]*лота*[2о, ы]	[2о] – 12%(0%)	[2ы] – 4%(0%)	[2ы] – 2%(4%)
16. *топкое*	[1а] – 6%(36%)	[1а] – 8%(14%)	[1а] – 1%(3%)
бо[1а]*лото*[2а,ы]	[2а] – 41%(23%)	[2а] – 20%(4%)	[2а] – 22%(25%)
	[2ы] – 5%(0%)		
17. *высокая*	[1а] – 17%(36%)	[1а] – 8%(5%)	[1а] – 0%(0%)
го[1а]*ра*			
18. *зе*[1и]*лёная*	[1и] – 0%	[1и] – 1%(0%)	[1и] – 0%
тра[2о]*ва*	[2о] – 24%(59%)	[2о] – 12%(11%)	[2о] – 10%(4%)
19. *чёрные*	[1о] – 25%(14%)	[1о] – 17%(23%)	[1о] – 25%(14%)
са[1о]*по*[2а]*ги*	[2а] – 2%(1%)	[2а] – 5%(7%)	[2а] – 2%(1%)

успешнее, чем более понятны и близки жизненной практике ребенка значения воспринимаемых слов. Об этом свидетельствуют некоторые характерные замены слов при написании. Продиктовано: *высокие столбы, чёрные сапоги*. Записывается: *высокие сталы, черны батинки* (орфография оригинальной записи сохраняется). Для ребёнка в данном случае "столы" и "ботинки" более близки и понятны, чем "столбы" и "сапоги". С лингвистической точки зрения случаи "под ёлкой" и "под осиной" совершенно одинаковы, но с точки зрения жизненной практики ребёнка они различны: "под ёлкой" ассоциируется с новогодними праздниками, а "под осиной" – более абстрактная ситуация для ребенка. В связи с этим абстрактное "под осиной" заменяется более конкретным "подосиновик" (во вторых классах в 4% (0%) случаев, а в третьих в

1%(3%) случаев). Даже если записывается форма "под осиной", то допускается характерное отклонение, которое выражается в том, что предлог "под" не отделяется от слова ("подосиной"), например, в третьих классах такого рода отклонения составляют 4%(6%). В то же время написания "подёлкой" вместо "под ёлкой" по третьим классам составляют лишь 2%(3%). Вероятно, жизненная освоенность ситуации, с которой связано слово, оказывает существенное влияние на его трансформацию во внутренней речи, в частности, на его фонологическую трактовку и на его буквенную фиксацию.

Ряд других характерных отклонений от звуковых образов слов диктанта на письме свидетельствуют о том, что далеко не зеркально звуковой облик слова отражается во внутренней речи ребенка. Так, дети искажают ударные гласные: пишут "дорогай" вместо "дорогой", "карандош" вместо "карандаш", "воробой" вместо "воробей", "ширакая" вместо "широкая", "дорага" вместо "дорога", "домо" вместо "дома", "волно" вместо "волна", "горо" вместо "гора" и т.п. Такого рода отклонения для первых классов составляют 12%, для вторых – 5%, для третьих – 3%. Возможно, дело здесь не только в ослаблении внимания учащихся, но и причинах иного характера, которые требуют к себе большего внимания со стороны исследователей.

Вероятно, о сочетании лингвистических причин с чисто психологическими говорят и замены в сильных позициях звонких шумных согласных на глухие в написаниях типа "осера", "сопоки" (орфография оригинала сохраняется) или замены глухих на звонкие, например, "зопоги", "собоги" (сапоги), "высогое" (высокая гора) и т.п. Во вторых классах отклонения такого рода встречаются в 7%(5%) случаев, а в третьих – 5%(3%). У детей детсадовского возраста при записи слов под диктовку таких отклонений наблюдается значительно больше. Они имеют более четкую направленность: замена шумных звонких на глухие, при этом преимущественно заменяются щелевые, а не смычные. Например, дети пишут печатными буквами "береса" (береза), "ёшик" (ёжик), "шизнь" (жизнь) и т.п. Можно предположить, что в этом случае фонологическая система ребенка, обеспечивающая внутреннюю речь, интерферирует с письменной формой как новым видом речевой деятельности и в результате эта система деформируется. Деформированность фонологической системы выражается в том, что разные типы согласных по-разному проявляют свои признаки глухости/звонкости. Для смычных согласных, которые являются более краткими по сравнению с щелевыми, ведущим признаком является наличие или отсутствие работы голосовых связок. Это характерно для всей фонологической системы русского языка. Для щелевых же согласных, возможно, ведущим признаком является напряженность/ненапряженность в сочетании с работой голосовых связок. Это и ведет к замене звонких щелевых на глухие, т.к. корреляция между напряженностью артикуляторного аппарата и работой голосовых связок осваивается ребенком как бы заново при овладении навыками письма [Богомазов 1998]. Возможно, с подобными же явлениями лингвистического характера мы имеем дело и при анализе форм внутренней речи учеников начальных классов. Следует отметить, что подобного рода отклонения наблюдаются у слабых учеников, кроме того, они чаще встречаются в конечных словах диктанта, когда сказывается общее утомление учащихся. Таким образом, в такого рода написаниях проявляют себя лингвистические и психологические факторы.

Наиболее серьезные отклонения во внутренней речи ребенка, которые фиксируются на письме, связаны с нарушениями ритмической структуры слова, т.е. фиксируются на все слоги звучащего образца. Такого рода написания характерны для наиболее слабых учащихся. Например, в первом классе коррекционно-развивающего обучения, состоящего из 12 человек, отклонения подобного типа охватывают около 20% всех написанных слов, например, "балт" (болото), "влна" (волна), "вкусн" (вкусные)" "палб" (плоды), "ако" (окошко), "топоки" (топкие) и т.п. У обычных учащихся нарушения в отражении ритмической структуры слова отмечаются значительно реже и составляют 2–3%. Естественно, что отклонения в написаниях учеников класса коррекционно-развивающегося обучения не учитывались при общем подсчете отклонений обычных учащихся из-за их особой специфичности.

Итак, хотя внутренняя речь ребенка находится под существенным влиянием звуковых образов звучащих слов диктанта, она может значительно отличаться от этих звуковых образов и по количеству слогов, и по составу ударных гласных и отдельных согласных в сильных фонетических позициях. Подобные отклонения во внутренней детской речи могут быть вызваны лингвистическими и психологическими факторами различного рода. Ведущим из них является степень освоенности значения слова, а также уровень сформированности фонологической системы, которая используется при порождении речи и которая интерферирует с новой формой речевой деятельности, в частности, письменной формой.

Интересно сравнить количество отклонений в написаниях, которые допускаются детьми в первом и втором диктанте по всем трем классам. Учащиеся первых классов допускают приблизительно равное количество ненормативных написаний в первом и втором диктанте: в первом диктанте зафиксировано 146 случаев, а во втором – 159 случаев, хотя во втором диктанте количество слов сокращается. Следовательно, эффект обучаемости при написании второго диктанта у первоклассников не наблюдается. Иная картина складывается с учащимися вторых и третьих классов. Второклассники в первом диктанте допустили 326 отклонений, во втором – лишь 234 случая; ученики третьих классов: в первом диктанте – 121 отклонение, а во втором их встретилось 99 случаев. Таким образом, и в том и другом случае наблюдается определенный эффект обучаемости, который выражается в снижении количества ненормативных написаний в целом. На эффект обучаемости, вероятно, не оказывают существенного влияния те грамматические подсказки, которые заключены в формах прилагательных и местоимений, играющих роль согласованных определений. Полученные данные косвенно намекают и на то, что внутренняя речь первоклассника прежде всего находится под влиянием звуковых образов, а внутренняя речь учеников вторых и третьих классов формируется под влиянием иных факторов, в частности, под влиянием зрительных и моторных образов.

Известно, что лексические и грамматические значения четко противопоставлены в русском языке, что проявляется на всех уровнях, в том числе и на фонетическом уровне. Анализ ритмической структуры русского слова приводит к выводу о том, что предударно-ударная (стержневая) часть слова по своему фонетическому устройству резко противополагается заударной: в стержневой встречаются преимущественно контрастные, а в заударной – неконтрастные слоги [Бондарко 1977]. С функциональной точки зрения это объясняется тем, что стержневая часть слова отвечает за лексические, а заударная – за грамматические значения слова. Это подтверждается рядом статистических и экспериментальных данных. Например, ударение в русском слове чаще падает на корень и суффикс и значительно реже на окончание [Зубкова 1984]. Этим можно объяснить и то, что носитель русского языка способен читать тексты без заударной части, где в основном сосредоточена повторяющаяся и менее важная для него грамматическая информация [Богомазов 1996].

В связи с этими положениями важно установить, где чаще встречаются ненормативные написания гласных: в предударной или заударной части слова, т.е. лексические или грамматические значения в большей мере связаны с данным явлением. Подсчеты показывают, что в первом варианте диктанта 33 гласные фонемы находятся в предударной позиции, а в заударной тоже 33 гласные, т.е. равное количество; во втором варианте диктанта (без прилагательных и местоимений) 22 гласные находятся в предударной позиции и 11 гласных – в заударной, т.е. в предударной позиции в два раза больше, чем заударной. Статистические данные по первому диктанту показывают, что первоклассники допускают больше ненормативных написаний гласных в предударной позиции по сравнению с заударной: 90 предударных к 63 заударным, т.е. грамматические в 0,7 раза слабее оказывают влияние на внутреннюю речь и написания, чем лексические значения. Следовательно, основные орфографические проблемы у первоклассников связаны с лексическими значениями, а не грамматическими. Иное соотношение наблюдается у второклассников и третьеклассников: у второ-

классников 129 (в предударной) к 181 (в заударной), у третьеклассников 49 (в предударной) к 70 (в заударной). Следовательно, в данные периоды орфографические навыки приблизительно в 1,4 раза больше зависят от грамматических значений, чем лексических: у второклассников в 1,4 раза, а у третьеклассников в 1,43 раза. Об этом свидетельствуют и ненормативные написания учеников вторых и третьих классов типа: *под осиный, белое облакы, голубые озёры, топкие болты* и др. (статистические данные по классам см. в таблице). Во втором диктанте тенденции приблизительно те же, хотя имеются и серьезные отличия. Полученные расхождения свидетельствуют о различном влиянии грамматической подсказки, заключенной в прилагательных и местоимениях, которая отсутствовала во втором варианте диктанта. Для первоклассников такого рода подсказки важны, т.к. грамматические значения превалируют над лексическими в 1,06 раза (в первом диктанте они составляли лишь 70% от лексических). У второклассников роль подсказки не обнаруживается, т.к. соотношение между заударными и предударными отклонениями снижается: в первом диктанте оно составляет 1,4 раза, а во втором 1,14 раза. Здесь обнаруживается незначительное увеличение роли лексических значений. Особенно ярко обнаруживается отсутствие грамматической подсказки у третьеклассников. Об этом свидетельствует резкое возрастание соотношения между предударными и заударными отклонениями. Если в первом диктанте соотношение равно 1,14 раза, то во втором 5,08 раза. Это явно свидетельствует о резком возрастании влияния грамматического фактора на формирование внутренней речи и ономасиологической системы фонем учащегося, сформированность которой во многом определяет орфографические навыки ребенка в данный период сознательного овладения русским языком.

Грамматические значения выражаются прежде всего в окончаниях существительных и прилагательных. Возникает вопрос, какие значения усваиваются первыми: морфологические свойства прилагательных, носящие более абстрактный и формальный характер, или морфологические параметры существительных, имеющие определенную семантическую значимость и поэтому менее абстрактные. Здесь важен учет и объективных, и субъективных показателей. Разброс в ненормативных написаниях окончаний прилагательных весьма широк, например, "высокае", "высокое" гора; "высокия" столбы; "зелёноя" трава; "черныи", "чернои" сапоги; "вкусныи" плоды; "голубыи", "голубое" озера и т.п. Однако такого рода написания носят одиночный характер и их количество незначительно. Гораздо больше отклонений встречается в написании окончаний существительных, хотя они более однообразны (количественные данные приводятся в таблице). И субъективно окончания прилагательных воспринимаются учащимися как более простые и понятные по сравнению с окончаниями существительных. Этот вывод подтверждается количественными данными эксперимента. В одном из первых классов, состоящего из 20 учащихся, ученики обязаны в диктанте ставить прочерк на месте безударных гласных, т.к. здесь возможны неверные написания. Однако учащиеся этого класса далеко не всегда прочеркивают безударные гласные. В первом диктанте встретилось 203, а во втором 35 подобных случаев. Косвенно это свидетельствует о том, что в этих позициях у них не возникает сомнений в орфографически правильном отражении безударных гласных на письме. Непрочеркнутые гласные следующим образом распределились по морфологическим позициям: 45 случаев встретились в основе, 24 – в окончаниях существительных, 134 – в окончаниях прилагательных (всего 203 случая); во втором диктанте: 17 – в основе, 18 – в окончаниях существительных (всего 35 случаев). Следовательно, учащиеся первых классов больше сомневаются в написании безударных гласных в окончаниях существительных, чем прилагательных.

Итак, на формирование внутренней речи ребенка оказывает влияние степень освоенности значения слова; прежде всего, насколько это значение соответствует его жизненной практике. Внутренняя речь в большой мере зависит и от языковой компетенции ребенка: на более раннем этапе она связана с лексическими, а на более продвинутом – с грамматическими значениями. Именно на этом фоне происходит

дальнейшее формирование и совершенствование двух фонологических систем (семасиологической и ономасиологической) и более четкое противопоставление их функций: первая из них обслуживает прежде всего процессы восприятия речи, а вторая – порождения речи, поэтому оказывает непосредственное влияние на формирование детской внутренней речи и соответствующих навыков закрепления ее в письменных формах.

На основе полученных данных постараемся проиллюстрировать динамику этого процесса. В первом диктанте 30 букв "о" и 11 букв "а" находятся в безударной позиции, во втором диктанте соответственно 21 буква "о" и 8 букв "а". Будем считать, что замена буквы "о" на "а" свидетельствует о том, что внутренняя речь ребенка и соответствующие ей написания формируются под влиянием звуковых (слуховых) образов, т.е. орфографические навыки формируются под влиянием семасиологической системы фонем, или, иначе говоря, под влиянием "транскрипционного" принципа. Замена же буквы "а" на "о" свидетельствует о том, что детская внутренняя речь и соответствующие ей написания находятся под влиянием развивающейся ономасиологической системы фонем, формирующейся на основе морфологических ассоциаций, или, в более обычных формулировках, орфографические навыки связаны с усвоением морфологического (морфематического) принципа русской орфографии.

В первом диктанте у первоклассников замены "о" на "а" составили 94 случая, т.е. 3,13 отклонения на каждую букву "о" диктанта в безударной позиции; замены "а" на "о" в том же диктанте составили 35 случаев, т.е. 3,18 соответствующих отклонения. Таким образом, в количественном отношении оба типа отклонений практически равны, или отношение второго типа к первому составляет 1,0159. Во втором диктанте наблюдается подобная же картина: замены "о" на "а" составляют 105 случаев, т.е. 5 отклонений на букву; обратная замена – 45 случаев, т.е. 5, 6 замены на букву, т.е. соотношение между ними составляет 1,12. Равенство замен в количественном отношении в обоих направлениях свидетельствует о том, что звуковые (слуховые) и морфологические образы слов в равной мере принимают участие в формировании внутренней речи и орфографических навыков ребенка. У второклассников мы имеем дело с иными соотношениями. В первом диктанте: замены "о" на "а" – 144 случая (4,8 отклонения на букву), обратные замены – 153 случая (13,9 отклонения на букву), т.е. соотношения второго к первому – 2,8958. Во втором диктанте замены "о" на "а" – 130 случаев (6,19 отклон. на букву); обратные замены – 105 случаев (13,13 отклон. на букву), т.е. соотношение второго к первому – 2,1212. Следовательно, морфологические ассоциации более чем в два раза превалируют над звуковыми. Это можно расценить так, что ономасиологическая система фонем активно формируется и становится ведущей в процессах порождения речи и усвоения морфологического (морфематического) принципа написаний. Подобная тенденция стремительно набирает темпы у третьеклассников. О чем свидетельствуют следующие количественные показатели. В первом диктанте замены "о" на "а" – 50 случаев (1,6 отклон. на букву); обратные замены – 61 случай (5,54 отклон. на букву), т.е. соотношение второго к первому – 3,4625. Во втором диктанте замены "о" на "а" – 39 случаев (1,86 отклон. на букву); обратные замены – 47 случаев (5,88 отклон. на букву), т.е. соотношение второго к первому – 3,1613. Таким образом, у третьеклассников морфологический фактор более чем в три раза опережает звуковой при влиянии на внутреннюю речь и отражении ее на письме.

Итак, у первоклассников – равенство факторов, а у второклассников наблюдается преимущество морфологического над звуковым более чем в два раза, у третьеклассников этот разрыв достигает более чем трехкратной величины.

Таким образом, статистические данные в определенной степени подтверждают выдвинутые вначале положения. Хотя полученные количественные показатели можно интерпретировать и в иных аспектах и направлениях. Статистика демонстрирует направленность процесса и динамику его развития. Однако статистические выводы не мешают поиску основ самого процесса. И здесь выводы могут быть различными. Здесь

лишь предлагается один из возможных вариантов объяснения сути самого процесса стихийного и сознательного овладения грамотностью. Уже сейчас ясно, что это многофакторное явление. У каждого ребенка процесс овладения навыками письма протекает весьма индивидуально, т.к. при одной и той же комбинации факторов на первый план на определенном этапе у отдельного ребенка могут выступать разные факторы. Вероятно, общие тенденции основываются на общих закономерностях развития внутренней речи ребенка. Возможно, именно с этих позиций следует давать оценку сложности тех или иных орфограмм. Именно с этих позиций нам станет ясно, почему слова "облако", "сапоги", "трава" вызывают особые трудности у учеников всех классов при их написании, а в словах "дорогой", "дорога", "карандаш", "окошко", "воробей" таких трудностей не возникает. И здесь дело не только в классификации орфограмм: орфограммы в сильных позициях – в слабых позициях, теоретические – практические. Главное состоит в том, что при прогнозировании написаний следует более полно учитывать психолингвистические аспекты: степень освоенности значения слова, подсознательная и сознательная способность противопоставлять лексические значения грамматическим, уровень владения теми и другими видами значений, насколько полно усвоена фонологическая система языка ребенком, является ли она единой или функционально противопоставлена по своим основным характеристикам, как формируются звуковые (слуховые) образы слов у детей, как эти образы взаимодействуют с морфологическими ассоциациями, каким образом на такого рода ассоциации влияют буквенные образы печатного текста, насколько подобного типа процессы протекают сознательно и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бельтюков В.И. 1964 – Об усвоении детьми звуков речи. М., 1964.

Богомазов Г.М. 1996 – Информативная значимость ритмической структуры слова // Тезисы II Международного симпозиума МАПРЯЛ "Фонетика в системе языка". Москва, 19–22 ноября 1996 г. М., 1996.

Богомазов Г.М. 1998 – О вариативности фонологической системы ребенка, овладевающего различными видами речевой деятельности // Проблемы детской речи-1998. Доклады всероссийской научной конференции. Череповец, 1998.

Бондарко Л.В. 1997 – Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.

Винарская Е.Н. 1971 – Клинические проблемы афазии. М., 1971.

Винарская Е.Н., Лепская Н.И., Богомазов Г.М. 1977 – Правила слогоделения и слоговые модели (На материале детской речи) // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.

Гвоздев А.Н. 1961 – Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка // Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

Зиндер Л.Р. 1979 – Общая фонетика. 2-е изд. М., 1979.

Зубкова Л.Г. 1984 – Части речи в фонетическом и морфологическом освещении. М., 1984.

Князев Ю.П. 1997 – Спонтанная орфография дошкольника как фонетическая транскрипция // Проблемы детской речи. СПб., 1997.

Леонтьев А.А. 1969 – Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.

Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ⇔ Текст". М., 1974.

Павлова Н.П. 1998 – Нарушение морфологического принципа в письме школьников. Череповец, 1998.

Панов М.В. 1979 – Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

ПДР 1997 – Проблемы детской речи. Материалы межвузовской конференции. СПб., 1997.

Соколов А.Н. 1968 – Внутренняя речь и мышление. М., 1968.

Эльконин Д.Б. 1998 – Развитие устной и письменной речи учащихся. М., 1998.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. А.М. КУЗНЕЦОВ

ГЛАГОЛИЦА: МЕЖДУ ГРЕЧЕСКИМ И ЛАТИНСКИМ

Светлой памяти Г.А.Хабургаева

> Сколько народу разбирало эту речь – все находили в ней то, что хотели.
>
> *Умберто Эко.* Маятник Фуко. (VI. Тифарет). *Пер. Е.Костюкович (испр.).*

Сегодня, кажется, уже трудно найти серьезные аргументы против сложившегося в славистике мнения, что Константин-Кирилл изобрел глаголицу, а кириллица была введена позднее. Собранные вместе и критически осмысленные факты и свидетельства составляют убедительную картину распространения письменности среди славян [Хабургаев 1994]. Но если общая картина представляется ясной, то характер глаголицы, ее соотношение с кириллицей по внутреннему устройству остаются спорными моментами и по-прежнему дают возможность исследователям предлагать противоречащие друг другу гипотезы.

В свое время Л.П.Жуковская обратила внимание на зависимость кириллической цифири непосредственно от греческой ионийской нумерации [Жуковская 1964: 37-43]. Достаточно долго в кириллице сохранялись греческие знисемы *стигма, коппа, сампи* в числовых значениях, а сменившие их в этом употреблении кириллические буквы не совпадают в различных школах письма [Симонов 1964: 14-36]. Это позволило утверждать, что в зоне греко-византийского влияния славяне использовали греко-кириллическую цифирь (точнее – собственно греческую) еще до изобретения глаголицы и не отказались от нее даже после того, как здесь появилась глаголица, а потом составленная на базе глаголицы и греческого алфавита кириллица. Т.е. кириллица в том облике, который мы обычно представляем (буквица и цифирь), не является результатом единого акта творения. Одновременно дославянская греческая цифирь свидетельствует об употреблении греческой азбуки "без устроения" до изобретения собственно славянского письма, о чем говорил и черноризец Храбр в сочинении "О письменах". Соответственно на территории славянства, находящегося под римско-латинским влиянием, использовалась латинская азбука – также "без устроения". Кстати, европейские народы в это время – в IX веке – продолжали "устраивать" свое письмо на базе латиницы [Черняк 1985: 55-61], так что западные славяне не были в этом смысле исключением.

Что же касается вопроса о том, как создавалась глаголица, какой алфавит был положен в ее основу и какие цели ставил перед собой Константин-Кирилл, то решений имеем много. Н.И.Толстой, подводя итог этим разысканиям, писал: "Ряд ученых (Тейлор, Беляев, Ягич, Мареш и др.) выводили глаголицу из греческого минускульного письма, отдельные ученые – из хазарского (Груньский), армянского (Гастер), коптского (Фортунатов) и т.п. ... Наибольшей популярностью пользовалась минускульная гипотеза, которая, по моему мнению, должна уступить свои по-

зиции гипотезе Юрия Чернохвостова об изобретении Константином-Кириллом глаголических букв путем его единоличного вдохновения, букв, за редким исключением (Ш и др.), не заимствованных из других азбук, а выдуманных вновь..." [Толстой 1998: 53]. Гипотеза Ю.Чернохвостова (1888-†1956) стала известна в науке с конца 50-ых годов благодаря пересказам В.Кипарского [Сборник ответов... 1958: 315-316], и только несколько лет назад интересующие нас главы его магистерской диссертации 1947 г. были опубликованы [Tschernochvostoff 1995: 141-150] (пользуюсь случаем выразить благодарность профессору Х.Томмола, любезно приславшему мне копию).

По мнению Ю.Чернохвостова, Константин-Кирилл, как постоянный оппонент "треязычников", при создании глаголицы, письменности которая от самых истоков будет носить православный характер, решил не использовать алфавиты сакральных языков в качестве основы новой азбуки. Он получил рисунки глаголических букв из сочетания трех символических геометрических фигур: + – креста ("христианство", "мученичество"), О – круга ("вечность" и "полнота") и Δ – треугольника ("Троица"). Соответственно исследователь классифицировал все знаки азбуки по группам: 1 – включающие круг, 2 – включающие прямые линии (т.е. элементы креста), 3 – треугольник и круг, 4 – прямые линии и круг. "Неопределенными", однако, остались буквы *есть* Ѥ, *юс малый* Ѧ и *гервь* Ꙗ.

Ю.Чернохвостов не стремился дать символическое истолкование рисунка каждой буквы, но некоторые символы привлекли внимание славистов: буквы *иже* Ѹ и *слово* Ѿ получили одинаковые рисунки ("троичность" и "вечность") в связи с написанием под титлом имени ІС. Об этих двух буквах от себя добавлю, что возможно и символическое их прочтение как знаков рыбы – символа Иисуса Христа: по-гречески ἰχθύς расшифровывалось как аббревиатура формулы "Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель". На то, что буква *аз* ⸸ неслучайно имеет форму креста, исследователи указывали еще раньше. Тем не менее, сам Ю.Чернохвостов признавал происхождение некоторых букв глаголицы и из алфавитов сакральных языков – Ⰱ *буки*, Ⱋ *веди*, Ⱁ *добро*, Ѥ *есть*, Ь *рци* из греческого (иногда с зеркальным отражением), Ш *ша* из еврейского [Tschernochvostoff 1995: 143, 147]; их символизм в таком случае следовало бы считать вторичным явлением.

Несомненно, некоторые буквы глаголицы были оригинальными. Однако нельзя не заметить при этом, что Константин-Кирилл использовал для мотивации рисунка не только христианскую символику, но и фонетическое сходство. Так, обнаруживается "родство" букв звонких и глухих согласных: Ⰳ *глаголь* и Ь *хер*, Ⰴ *добро* и Ѿ *твердо*, Ꙗ *гервь* и Ѱ *шта* (по Н.Н.Дурново обозначавших рефлексы **dj* и **tj*), может быть, даже Ⱋ *веди* и ⸸ *ферт*, Ⰱ *буки* и Ґ *покой*, Ѕ *дзело* и Ѵ *ци*. Обычно родство букв по фонетическим признакам отмечали только среди гласных: Ѻ *он* и Ѧ *ер*, Ѥ *есть* и Ѥ *юс малый* и т.п. Признав родство букв согласных, мы могли бы задуматься над тем, что в паре *глаголь* и *хер* подразумевается фрикативный характер звука [γ] в солунском говоре.

В завершение этой темы попробуем сблизить названия букв твьрдо и фрьтъ. Может быть, второе название было придумано в методических целях – для обучения произношению чуждого звука [f] путем отталкивания от родного звука [v] в позиции после глухого [t]? В таком случае название фрьтъ оказывается "оглушенным" вариантом первого названия. Кстати, если бы не было такого сближения, то как в древней Руси могли усвоить название фрьтъ с редуцированным перед плавным (ср. *ферт*), а не после плавного (что дало бы *фрет*), ведь опоры в родном языке не было? О том, что эти две буквы *твердо* и *ферт* могли следовать друг за другом, см. ниже. Искусственные слова использовались в качестве названий и для других букв (менее вероятна связь с латинским fertus).

Несколько иной тип фонетической мотивации рисунка можно видеть у буквы *червь* Ч: по-моему, она представляет собой соединение букв *шта* Ѿ и *ша* Ш, первая из которых обозначала [t'], а вторая [š'] (т.е. [t'š'] = [č']).

Как бы мы ни старались доказать оригинальность глаголицы, уже тот факт, что порядок ее знаков ориентирован на порядок букв в греческом алфавите, говорит в пользу того, что Константин-Кирилл вовсе не отказывался от греческой основы для своего изобретения. Наверное, бесполезно спорить, скорописное или уставное греческое письмо было использовано им для рисунка глаголических букв, вобравших в себя и символические фигуры. Возможно и то, и другое. Но, исходя из задач обучения новому письму, нельзя было предлагать славянам сразу на первом этапе усваивать скоропись. Необходимо было дать "идеальный", стандартный тип письма. Так что глаголица по замыслу должна была представлять и действительно представляла собой устав [Гранстрем 1953: 427-442]. Да и в кириллическом письме скоропись появилась достаточно поздно.

Вряд ли рассуждения Ю.Чернохвостова о борьбе с "треязычниками" и отказе в связи с этим первоучителя от использования алфавитов сакральных языков нужно считать убедительными. Ведь Константин-Кирилл, грек по рождению и образованию, добился официального признания глаголицы римским папой, т.е. он работал в среде, где еврейский, греческий и латинский почитались сакральными языками, а глаголицу он явно не собирался превращать в тайнопись. Скорее наоборот, преемственность существующих и новой азбуки сообщала этой азбуке ту же и даже бóльшую святость. Именно эта бóльшая степень святости потом и эксплуатировалась защитниками славянского письма.

Замечательно и то, что греческое и латинское письмо сложились на базе семитского финикийского письма. Таким образом, системы письменных знаков всех трех сакральных языков находятся в родственных отношениях, рисунки их остаются довольно близкими, иногда зеркально отражаясь один в другом. Естественно, Константин-Кирилл знал о происхождении греческого и латинского алфавита и знал; что греки, используя знаки семитского письма, сохранили их названия, но приписали буквам свои фонетические значения. А латинский алфавит (западный вариант греческого [Федорова 1966: 487-498]) иногда по фонетическим значениям отличается и от греческого.

Все это давало возможность творить новый алфавит по образу и подобию существующих. Недаром же исследователям виделся рисунок греческих, латинских и семитских знаков в буквах глаголицы, и только некоторые буквы признавались за оригинальные (слишком мало основных элементов букв, чтобы, несмотря на различия, не заметить сходства). Главной задачей Константина-Кирилла в этом плане было придать новому алфавиту такой вид, чтобы он легко узнавался как особый – славянский, а не греческий или латинский. Солунские братья распространяли славянскую письменность среди тех славян, которые уже знали и использовали или греческий, или латинский алфавит. Обучение новому алфавиту не могло не строиться на принципе сопоставления с уже известным в данной среде алфавитом. Предлагаемая вниманию читателей таблица включает все три алфавита-основы. Из семитских приводится древнее финикийское письмо и некоторые буквы еврейского квадратного письма [Дирингер 1963: 233-267; Фридрих 1979: 95-120, 182].

Цифирь. Константин-Кирилл при создании глаголицы опирался прежде всего на состав букв греческого алфавита, однако он отказался от ионийской нумерации. Не только потому, что вводил оригинальные буквы "взамен" греческих, но и потому, что "раздвигал" греческий алфавит, вставляя буквы для специфически славянских звуков. При этом он, вероятно, дважды поменял последовательность букв в греческом алфавите, соотнося их со славянскими: рядом оказались *эта* и *йота* (ср. в латинском последовательность **H, I**) и *пси* и *сампи* (о последней стоит вести речь, поскольку она могла быть прообразом глаголической *ци*). Пренебрежение ионийской нумерацией оправдано более всего тем, что солунские братья намеревались рабо-

Таблица 1. **Соответствие знаков семитского, латинского, греческого и славянских алфавитов.**

Семитский		*Латинск.*	*Греческий*		*Глаголица*		*Кириллица*		*Славянские названия*
1	𐤀 'алеф	**A** a	1	**A** ἄλφα	1	ⰰ	1	а	азъ
2	𐤁 בּ бет	**B** be			2	ⰱ		б	боукы
			2	**B** βῆτα	3	ⰲ	2	в	вѣдѣ > вѣди
3	𐤂 גּ гимел	**C** ke < ge	3	**Γ** γάμμα	4	ⰳ	3	г	глаголи
4	𐤃 далет	**D** de	4	**Δ** δέλτα	5	ⰴ	4	д	добро
5	𐤄 хе	**E** e	5	**E** ἒ (ψιλόν)	6	ⰵ	5	є	єсть
6	𐤅 вау	**F** ef	6	(**F** διγάμμα)	7	ⰶ		ж	живѣте
				S στίγμα			6	·ѕ̄·, ѥ̄·	(ѕѣло)
7	𐤆 зайин	(**Z**)	7	**Z** ζῆτα			7	ѕ	ѕемля
		G ge			8	ⰷ		ꙁ (> ѕ)	ѕѣло
8	𐤇 хет	**H** ha	8	**H** ἦτα			8	и	иже
9	𐤈 ⊗ тет		9	**Θ** θῆτα ↘			9	·ѳ̄·	ѳита
				↓	9	ⰸ			ѕемля
				(X=) (H)	10	ⰹ		(=и, Ягич: =ї)	иже
				(Υ)		ⰹ¹		- (Ягич: = ι)	(иже, нжица)
10	𐤉 йод	**I** iot	10	**I** ἰῶτα	20	ⰺ	10	і (Ягич: = и)	иже, и
					30	ⰻ		- (Ягич: = ѣ)	ѣе (ѣѣрва, ѣрава)
20	𐤊 כּ каф	**K** ka	20	**K** κάππα	40	ⰼ	20	к	како
30	𐤋 ламед	**L** el	30	**Λ** λάμβδα	50	ⰽ	30	л	людие
40	𐤌 מ мем	**M** em	40	**M** μῦ	60	ⰾ	40	м	мислите
50	𐤍 נ нун	**N** en	50	**N** νῦ	70	ⰿ	50	н	наша
60	𐤎 ס самек		60	**Ξ** ξῖ		-	60	·ѯ̄·	ѯи (кси)
70	𐤏 **O** 'айин	**O** o	70	**O** ὂ (μικρόν)	80	ⰾ	70	о	они
80	𐤐 פּ пе	**P** pe	80	**Π** πῖ	90	ⰿ	80	п	покои
90	𐤑 צ цаде								
100	𐤒 **Φ** коф	**Q** qu	90	**Ϙ** κόππα		-	90	·ҁ̄·(> ·ѵ̄·)	(ископита)
200	𐤓 ר реш	**R** er	100	**P** ῥῶ	100	ⰿ	100	р	рци
300	𐤔 **W** шин	**S** es	200	**Σ** σίγμα	200	ⰾ	200	с	слово
400	𐤕 ┼ тау	**T** te	300	**T** ταῦ	300	ⰿ	300	т	твердо

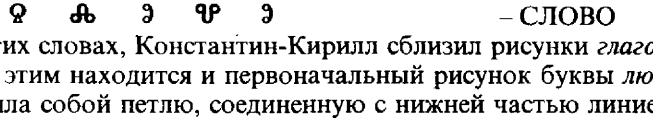
Таблица 1 (продолжение). **Соответствие знаков семитского, латинского, греческого и славянских алфавитов.**

	(Ч вау)	U u	400	Υ ὗ (ψιλόν)	400	(ꙋ[3] < ⲫ[1])	400	ѵ, ·ѿ·	(ю > нкъ, нжнца)
				(ΟΥ)		ⲟⲩ		оу	оукъ, оннкъ
			500	Φ φῖ	500	ⲫ	500	ф	фрѧтъ
60	ⲝ самек	X (= Ξ)	600	Χ χῖ	600	ⲭ	600	х	хѣръ (< хлъмъ?)
			700	Ψ ψῖ		-	700	·ѿ·	ѱн (псн)
70	Ο ʿайин	Y (=X)	800	Ω ὦ (μέγα) ↘	(700)	(Ш?> ⲭ?)			(шѣръ? хѣръ?)
				↓	700	Ⲟ	800	ѡ	ѡтъ
80	ⲡ пе			(Ψ)	(800)	(Ψ? > ψ?)			(кѣ, пѣ?)
			900	ⲥⲁⲙⲡⲓ		-	900	ⰾ· (> ·ⰾ·)	
90	Ϡ цаде	Z			900	Ϡ	(900)	ц	цн
100	Φ коф				1000	ⲫ	(90)	ч	чрѧвѧ
	(Ϣ шин)					Ш		ш	шѧ
					800	Ψ		щ	щѧ (штѧ)
200	ⲣ реш	R er				ⲣ, ⲣ		ъ	ѥръ
						ⲣⲓ		ъі (Ягич: ън)	ѥръі
						<ⲣⲣ, ⲣⲣ>		<(Ягич: ъі, ъі)>	<=[ъ-jь]>
						ⲣ		ѧ	ѥрѧ
		(AE)				Ⲁ		ѣ	ѩтѧ (< ѩдѧ)
				(X)		(ⲭ)		-	(хѣръ > хлъмъ?)
				(Υ)		ⲩ[2] (< ⲫ[1])		ю	ю, (юсъ)
						-		ѩ	(а йотиров.)
						-		ѥ	(е йотиров.)
				(EN)		Є, (Ⲉ)	(900)	ѧ, ѧ	юсъ (малый)
				[ON]		Ⲟ, [ⲟ̀]		ѫ, [ѫ̀]	юсъ (большой)
						Ⲉ		ѩ, ѧ	юсъ (малый йотиров.)
		(OE)				Ⲉ, (Ⲉ)		ѭ, (ѫ)	юсъ (большой йотиров.)
		(X)		(Ξ)		-		ѯ	ксн
				(Ψ)		-		ѱ	пси
				(Θ)		ⲑ		ѳ	ѳнтѧ
		(Y)		(I=H=X=Υ)	400	ꙋ[3] (<ⲭ)	400	ѵ	нкъ, нжнца

тать в среде с латинской образованностью, где греческая система не использовалась.

Состав глаголицы. Греческая *бета* в IX в. уже была *витой* и, совпадая по форме с латинским **B**, наводила на мысль о расположении славянских букв для [b] и [v] рядом.Ни латинская, ни греческая буква не были взяты за образец для глаголической *буки* из-за двусмысленности. Константин-Кирилл скорее всего использовал знак семитской письменности *бет*, может быть, из квадратного письма – ב (по Ю.Черноxвостову, глаголическая ⰑⰑ символизировала троичность Бога и богочеловеческую природу Иисуса). Кстати, и рисунок глаголической буквы *аз* в форме прямого креста, возможно, подсказан *алефом* из квадратного письма – א, приближающимся по форме к косому кресту. Да и *глаголь* получил рисунок по еврейской букве *гимел* ג, потому что латинский и греческий разошлись здесь в рисунке буквы и в ее значении (латинский присвоил букве **C** значение [k] и вынужден был ввести новую букву **G** на месте **Z** в III в. до н.э. [Федорова 1966: 487-498]). Как видим, начало глаголицы возвращает нас к истокам европейских алфавитов.

Букву *веди* пытались вывести и из греческой *беты-виты*, и из латинской **U**. Ни одна из возможностей не может быть отброшена. Однако ближе всех к разгадке был Ю.Чернохвостов, отметивший сходство символических фигур в написании глаголицей по-гречески и по-славянски ключевого для христианства понятия (Ин. 1, 1):



Подгоняя буквы в этих словах, Константин-Кирилл сблизил рисунки *глаголя* и *веди*. Возможно, в связи с этим находится и первоначальный рисунок буквы *людие*: верхняя часть представляла собой петлю, соединенную с нижней частью линией справа, т.е. *людие* и *глаголь* зеркально отражались друг в друге.

Я склонен считать, что для славянского *живете* Константин-Кирилл использовал греческую эписему *дигамму*, пренебрегая ее утраченным звуковым значением [w], но обращая внимание на смысл греческого названия буквы (по форме) – "двойная гамма". Действительно, глаголическая буква *живете* представляет собой две буквы *глаголь*, расположенные зеркально друг к другу. Почему *дигамме-живете* приписано значение [ž']? Следующая далее *дзета-дзело* имеет общее значение для греческого и славянского – [ʒ (= d͡z)]. И *живете* и *дзело* обозначают мягкие звуки, чередующиеся с [g], а название *дигамма* и латинская **G**, сменившая **Z**, на связь с этим звуком намекáют, причем **G** уже иногда читалась в романских странах как [ǯ] (см. [Черняк 1985: 57]). Кстати, славяне в кириллической письменности иногда могли использовать греческую *дигамму* в значéнии [g]: ϝλ̄ετε 126а, ϩαϫϝλαϩ 105а в Волкановом ев. и подобно в др. рукописях (см. [Карский 1979: 183]). А вариант *дигаммы – стигму* **S**, как известно, стали использовать в значении [ʒ'].

В латиноязычной среде греческий звук, обозначавшийся *фитой*, передавался латинским сочетанием *th* с произношением [t^h>t], в этом значении *фита* оказалась лишней в славянском алфавите. А чтобы передать заимствованный звук [f], обозначаемый в греческом буквой *фи* и в латинском – **F** или **PH**, достаточно было глаголического *ферта* ⰦⰦ, который ради славян греческого мира совместил в своем рисунке греческие **Φ** и **Θ**, читаемую как [f]. Таким образом, как и в случае с *дигаммой*, создатель славянского алфавита пренебрег фонетическим значением *фиты* и использовал ее для звука [z], т.е. превратил в *землю*. Интересно, что рисунки *дзело* и *земли* имеют много общего.

Уже во время деятельности братьев и их учеников глаголица должна была получить несколько редакций, поскольку они работали в разных диалектных условиях и в разной культурной среде. Как думают исследователи, первая – "солунская" – редакция включала букву *ю псилон* для передачи греческого [ü] в заимствованиях и славянских звуков ['ü, jü], – она-то и была первоначально буквой *ю* ⰥⰥ. Именно ее сле-

дует видеть во втором элементе диграфа *ук* (звук [u]) – ⱁ, ср. греческий диграф ου, причем ⲩ положена на бок. Во второй же – "мораво-паннонской" редакции в связи с латинизированным чтением *ю псилона* как [i] (то же наблюдалось и в народной греческой речи) эта буква переместилась к началу глаголического алфавита, заняв место рядом с буквой *иже* ⰻ, соответствующей греческой букве *эта* (разбор мнений см. в [Кузьменко 1985: 53-54]). Но не только этот третий знак для [i], но и два первых – ⰻ и ⰾ – волновали ученых в плане значения и соответственно необходимости введения в славянский алфавит. Не достаточно ли было иметь только "рыбообразный" знак, соответствующий (вопреки В.Ягичу) греческой *йоте* и писавшийся в имени ⲓⲏⲥⲟⲩⲥъ? Оправдание существованию двух знаков для [i] нашли в различной записи диграфа для [у(=ы)] – ⱁⰾ и последовательности [ъ-jь] – ⱁⰻ или ⱁⰻ.

Мне представляется, что и Константина-Кирилла волновали знаки для [i], причем не только первые два, но и третий, волновали с самого начала работы над азбукой. Для чего он переместил *эту* к *йоте*, только ли из-за одинакового чтения этих букв в IX веке? Но и две буквы не нужны были славянам (насколько различались последовательности [i], [ji], [jь] в произношении, мы не знаем). Константина-Кирилла завораживала игра значений буквы **H** в латыни и в греческом – [h, i] – и совпадение в произношении греческих **I** и **Υ**. Если следовать вверх по латинскому алфавиту и на букве **H** переходить на греческий вниз, то почти складывается слово ἰχθύς при условии **I** = **Υ**. Не хватает конца – буквы **Σ**. Именно поэтому первоучитель для начала и конца слова – **I** и **Σ** – предпочел рисунок рыбы, создав кольцо:

Латинский	*Греческий*
H (=X) ↘	(H)
↑	Θ↓
I	I (=H,Υ)↓
	(Σ–?)

⇒

Глаголица			
	↗ ⱁ ↘		=Θ
H (=X)	ⰻ	↓	
	↑	ⰻ	=Υ
I=	↖ ⰾ ↙		=Σ

Чтение по кольцу начинается с головы рыбы и кончается хвостом, поэтому знак для [i] имеет хвост вверху, а знак для [s] – внизу. Но загадочная игра буквенных значений на этом не заканчивалась: греческая **H** по-латыни передавалась через **E**, в глаголице *фита* получила значение [z], греческий **Υ** соответствовал по порядку алфавита латинской **U**, т.е. теперь по кольцу читается латинизированное произношение имени Иисуса [jezus] (лат. Iesus)!

Так что все три знака для [i] были дороги Константину-Кириллу, он совместил на месте греческого **H** глаголические ⰻ и ⰻ, производя первую не от **H**, а от **X**, чтобы подсказать правильное чтение по кольцу. Но как же читалась буква ⰻ? Вероятно, в словах греческого происхождения ее можно было читать двояким образом – как [i] и как [ü], в славянских же – как [i]. Отныне знаки **X** и **Υ** всегда будут рядом и в других местах азбуки (начала слов *Иисус Христос*). Для славянских звуков ['ü, jü], вероятно, пришлось ввести в конце алфавита букву *ю* ⱂ, полученную из того же *ю псилона*, а числовое значение 400 закрепить за ⱁ (не буквой, а диграфом,– вот и встали рядом буквы *твердо* и *ферт*). Связь букв по происхождению отразилась в их названиях – полулатинских, полугреческих: *икс* + *ю* = *икъ* + *юсъ*. Славянское название *ижица* произведено от *иже* и является деминутивом; название *ижеи* для буквы, соответствующей греческой *йоте*, указывает на древнее чтение по слогам (ср. *слово-ер* [Успенский 1997: 246-288]): *иже* + *и* = *ий* (так называется теперь буква **Й** в русском алфавите).

Сам факт, что азбука непременно должна заканчиваться *ижицей-юсом*, должен получить объяснение через особенности греческого и латинского алфавитов: на буквах *ю псилон* и **U** кончается родство этих алфавитов друг с другом и с семитским письмом (причем для **U** и *ю псилон* использована второй раз семитская *вау*, давшая уже выше по алфавиту *дигамму* [w]). Далее греческий и латинский алфавиты расходятся: в греческом добавлены буквы для особых греческих звуков, а латинский за-

имствовал три буквы греческого алфавита для передачи грецизмов, но порядок везде свой.

Наиболее сложный вопрос – происхождение, значение и место в алфавите *герви*. Палатальные [dʾ] (а *гервь* обозначала рефлекс **dj*) и [gʾ] практически совпадают в произношении. В самом греческом мягкое [γ] переходило в [j] [Черняк 1985: 57], возможно, поэтому Константин-Кирилл расположил *гервь* после знаков для [i]. Кстати, это последняя буква звонкого согласного в азбуке, с **К** начинается ряд глухих (сонорные не в счет). Рисунок же буквы по происхождению может быть связан с греческой лигатурой γι (или ΔΙ), однако возможно и родство с буквой *шта*.

Считается, что *омега* и *пси* отсутствовали в солунской редакции глаголицы. Мне хочется в связи с этим обратить внимание на числовое значение буквы *шта* – 800 и отсутствие такового у ее предшественницы *ша*. Две эти буквы должны были, следовательно, располагаться перед *ци*, имевшей значение 900. А эти места в греческой азбуке принадлежали *пси* – 700 и *омеге* – 800. Только рисунки славянских букв предлагают обратный порядок: *ша-омега*, потом *шта-пси*. Может быть, создатель азбуки здесь также исправил порядок греческих букв, приблизив *пси* к эписеме *сампи*, когда-то обозначавшей близкий к *пси* звук? Поддержать такое предположение может обнаруженная С.А.Высоцким кириллическая азбука-граффити XI в. в киевском Софийском соборе: она дает порядок букв ...**Ф Х Ш Щ Ѡ**. Причем В.Л.Янин, комментируя эту азбуку, не согласился с чтением С.А.Высоцкого и предложил в **Щ** видеть **Ψ** [Янин, Зализняк 1986: 55]. С другой стороны, в сохранившихся азбучных молитвах отмечают два стиха для П, причем второй, начинающийся со слов пѣснь (не перевод ли греческого ψαλμός?) или пѣѵалъ, располагался после буквы *от* [Иванова 1977: 22]. Здесь явно подразумевается буква, соответствующая греческому *пси*. Предполагаемое название этой буквы пѣ или пє возводить к семитскому вовсе не обязательно (ср. [Иванова 1969: 54]), это может быть латинизированное название; следовательно эту букву или поставили, или только видели вместо *шта* в моравских и паннонских землях, а может быть – в Болгарии.

Но главным доказательством того, что Константин-Кирилл "переставил" *пси* и *омегу*, является сравнение с семитским алфавитом. Начиная с греческого *хи* и латинского *икса*, рисунки которых совпадали, и используя соответствие *икса* еврейской букве *самек*, Константин-Кирилл повторяет азбучный цикл до буквы *реш-эрро*. Только числовые значения теперь увеличиваются в 10 раз.

Если это кажущееся невероятным сближение славянских букв с греческими – *омега-ша, пси-шта* – продолжить, то надо ответить на вопрос: почему их названия являются латинизированными (ср. названия букв **Н, К** в латинице). В солунской редакции у них, вероятно, были другие названия, например, шѣръ = шаръ (т.е. 'краска' [Старославянский словарь 1994: 789]) и цн [tʾi], а далее шла буква *ци*: слоговые названия, включающие гласный [i], характерны для греческой азбуки. На моравопаннонской почве была создана вторая редакция глаголицы. Буквы *гервь* и *шта* в славянских словах там были не нужны в звуковых значениях [dʾ], [tʾ]. Им были приписаны новые значения – палатализованные заднеязычные [gʾ] и [kʾ], встречаемые только в заимствованиях. Поэтому пришлось добавить знак для палатализованного [xʾ] (не палатального, поскольку [xʾ = šʾ]). Знаки для [kʾ], [xʾ] в принципе были лишними, нарушающими основной слоговой принцип славянской графики, а вот буква *гервь* в западной глаголице, вероятно, была нужна для передачи греческого фрикативного мягкого [γʾ], поэтому она удержалась.

Новый "паукообразный" знак *хер* имеет прообразом или греческую букву *хи*, или латинский *икс*. Он занял место сразу за первым глаголическим *хером*, который, может быть, в то время имел название *холм*. Паукообразный знак вытеснил с этого места букву шѣръ, получив название от нее – хѣръ. Буквы шѣръ и цн переместились (может быть не одновременно!) вниз, встав после *ци*. На мораво-паннонской

почве они получают латинизированные названия *ша* и *к'а*, ведь слово шѣръ на западе славянства не известно. Возможно, уже на болгарской почве паукообразный *хер* также покинул свое место, вытесненный *омегой-от*, а в следующей букве *к'а* по ошибке могли видеть *пси-пе*, пока ее не поставили после *ша*. Новое место "паукообразного" *хера* – перед *ю* Ꙗ, ср. латинский порядок **XY**. Судьба связала паукообразный *хер* с *ипсилоном-ижицей* еще раз, возможно, на болгарской почве: под влиянием греческой и кириллической азбук в глаголицу была введена новая буква *ижица* – ꙇ в грецизмах. Эта буква напоминает паукообразный *хер* (он сначала располагался в азбуке напротив латинского *ипсилона*) и положенную набок первую *ик-ижицу*.

Первоначально место буквы *ци* указывает на ее соответствие греческой *сампи*, из которой ее не трудно вывести. С другой стороны в романских странах известно употребление латинской **Z** в значении [c (= t͡s)] (вспомним, что греческая *дзета* стала *дзело*). Но и семитское происхождение *ци* очень убедительно: *цаде* действительно оказывается напротив глаголической *ци*, а вот ныне располагающиеся после нее *ша* и *шта* явно были не здесь. Славянская буква *червь* оказывается связанной происхождением с семитской *коф*, что отзовется через века в присвоении кириллической ч числового значения буквы *коф*.

Последняя буква первоначального славянского алфавита была *ер*, соответствующая *реш-эр-ро*. Этот славянский гласный не мог быть в начале слова, но приближался к латинскому [e] (вспомним подпись Анны Ярославовны анѧ рѫнна - Anna regina). Поэтому латинское название буквы **R** было использовано для глаголической гласной буквы. Соблазнительно прочесть в ее рисунке ⲣ греческое название *ро*. Остальные буквы – *еры, ерь* – не входили в основной алфавит (об основных и дополнительных буквах см. [Янин, Зализняк 1986: 52-56]), поскольку являлись или диграфами-лигатурами, или вариантами. Может быть, и *ять* Ѣ не считался основной буквой, представляя лигатуру латинского типа **AE**.

Лигатурами были и буквы для носовых [ę] и [ǫ], по крайней мере – *юс малый*: Ѳ+Ꙗ=Ꙗ в зеркальном отражении. Недавно был обнаружен в учебной азбуке 1 четв. XIII в. на бересте *юс большой* без среднего штриха: Ꙋ[Янин, Зализняк 1998: 31-32]. Находка позволила подтвердить чтения из других берестяных грамот; такой же знак отмечен и в болгарских материалах. Хочется предположить в связи с этим существование в первоначальной глаголице знака ꙋ=Ѳ+Ꙗ. Многие исследователи полагают, что в солунской редакции было всего два *юса* для [ę] и [ǫ], а третий носовой ['ǫ̈, jǫ̈] появился по морфологической аналогии во многих славянских диалектах, но не в солунском. Для третьего носового Константин-Кирилл вводит лигатуру, подобную латинскому диграфу **OE**: Ѫ. Но прозрачное чтение первой части как Ѳ [o] спровоцировало появление лигатуры по этому образцу – Ѫ, с одной стороны, а с другой – чтение Ѫ как [ǫ], а не ['ǫ̈, jǫ̈]. Тогда и родился знак четвертого *юса* – Ꙗ с загадочной первой частью, которую я склонен рассматривать как ꙋ с угловатой верхней частью (в рукописях встречается начерк с округлой верхней частью, например, в Киевских листках), т.е. перед нами та же лигатура **OE**.

Почему же создатель глаголицы расположил буквы носовых гласных после буквы *ю-юс*, т.е. за "пределами" алфавита? Может быть, ему было трудно определить их полугласную-полусогласную природу? Ведь лигатуру *ять* для чистого гласного он поместил до *ю*.

На болгарской почве добавлены еще две буквы под влиянием кириллицы – *фита* и *ижица*, намекающие на греческий порядок ΘΙ с равенством I = Υ.

***

Итак, глаголическая азбука – продукт долгих размышлений над славянским языком и алфавитами священных языков. Она соединяет качества семитского, грече-

ского и латинского алфавитов, вводит славян в христианскую культуру слова. Такое прочтение глаголицы заставляет нас по-новому взглянуть на мотивы, побудившие солунских братьев заняться миссионерской и просветительской деятельностью среди славян. Мысль о единстве христианского мира намеренно была заложена в первую славянскую азбуку, отказ от нее и переход на более "простую" кириллицу мог восприниматься как отход от заветов солунских братьев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гранстрем Е. Э. 1953 — К вопросу о происхождении глаголической азбуки // Труды отдела древнерусской литературы. Т. IX. М.; Л., 1953.

Дирингер Д. 1963 — Алфавит / Пер. с англ. Общ. ред., предисл. и примеч. И. М. Дьяконова. М., 1963.

Жуковская Л. П. 1964 — К истории буквенной цифири и алфавитов у славян // Источниковедение и история русского языка. М., 1964.

Иванова Т. А. 1969 — О названиях славянских букв и о порядке их в алфавите // ВЯ. 1969. № 6.

Иванова Т. А. 1977 — Старославянский язык. М., 1977.

Карский Е. Ф. 1979 — Славянская кирилловская палеография. М., 1979. [Репринт изд.: Л., 1928].

Кузьменко Ю. К. 1985 — Появление письменности в средневековой Европе // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.

Сборник ответов... 1958 — Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов). М., 1958.

Симонов Р. А. 1964 — О некоторых особенностях нумерации, употреблявшейся в кириллице // Источниковедение и история русского языка. М., 1964.

Старославянский словарь 1994 — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков). Около 10 000 слов / Под ред. Р. М. Цейтлин. М., 1994.

Толстой Н. И. 1998 — Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян // Толстой Н. И. Избранные труды. Т. II: Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998.

Успенский Б. А. 1997 — Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. III: Общее и славянское языкознание. М., 1997.

Федорова Е. В. 1966 — Происхождение латинской письменности (Эволюция букв K и C в архаическом латинском письме) // Вопросы античной литературы и классической филологии. [Москва], s. a. et l.

Фридрих И. 1979 — История письма / Пер. с нем. Отв. ред. И. М. Дьяконов. М., 1979.

Хабургаев Г. А. 1994 — Первые столетия славянской письменной культуры. Истоки древнерусской книжности. М., 1994.

Черняк А. Б. 1985 — К истории алфавитов в романоязычных странах // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.

Янин В. Л., Зализняк А. А. 1986 — Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977—1983 годов. М., 1986.

Янин В. Л., Зализняк А. А. 1998 — Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1997 г. // ВЯ. 1998. № 3.

Tschernochvostoff G. 1995 — Zum Ursprung der Glagolica // Studia Slavica Finlandensia. 1995. T. XII.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000 г. Г.П. НЕЩИМЕНКО

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПО ПОВОДУ НОВЫХ ГРАММАТИК ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Девяностые годы уходящего столетия в чешской лингвистике ознаменовались значительной активизацией деятельности по созданию комплектных грамматических описаний современного чешского литературного языка, рассчитанных на широкую читательскую аудиторию.

Убедительным примером этого является прежде всего фундаментальная (800 с.) "Настольная грамматика чешского языка" [Příruční mluvnice češtiny 1995]. В 1996 г. увидели свет учебный курс "Чешский язык. Речь и язык" (далее – ЧЯРЯ) [Čeština. Řeč a jazyk 1996], а также осуществленное А. Едличкой новое, переработанное и дополненное, издание "Чешской грамматики" Б. Гавранека и А. Едлички (первое издание вышло в 1960 г., последнее – в 1981 г.; см.: [Havránek, Jedlička 1960]). Названные книги удачно дополняют друг друга, создавая емкое, хотя и не всегда идентичное в концептуальном отношении представление о современном чешском языке.

Заслуживает упоминания и такое менее масштабное, хотя и весьма наглядное и удобное для использования учебное пособие как "Чешский язык сегодня" [Čeština našich dní 1996]. Ориентация авторов последнего (Р. Брабцова, О. Мартинцова, К. Вондрак, В. Станек) на вполне конкретного адресата – школьников – предопределила и выбор популярного стиля изложения (не случайно в текст книги включен и краткий терминологический словарик, облегчающий усвоение учащимися современных научных представлений о языке).

Нельзя не отметить, что бережное и даже трепетное отношение к литературному языку и его культивированию традиционно принадлежит к приоритетам чешской лингвистики, достигшей исключительных успехов не только в чисто научных изысканиях, но и в научно-популярном жанре. Назовем выборочно лишь некоторые из работ подобного рода (мы намеренно приводим перевод названий на русский язык): Вл. Шмиляуер, Фр. Вагала "О чешском языке для чехов" [Šmilauer, Váhala 1963]; Фр. Йилек "Остроумие чешского языка" [Jílek 1967]; Я. Хлоупек "Поверья о чешском языке" [Chloupek 1968] и "Книжка о чешском языке [Chloupek 1974]; "Чешский язык повседневный и не повседневный" [Čeština všední i nevšední 1972]; Кв. Кожевникова "Чтобы речь не прерывалась" [Koževniková 1984]; Д. Шлосар "Пособие по языку" [Šlosar 1985]; П. Эйснер "Советы чехам, как играючи научиться чешскому языку" [Eisner 1992]; Св. Чмейркова, Фр. Данеш, Й. Краус, И. Свободова "Чешский язык, каким вы его знаете и каким не знаете" [Čmejrková, Daneš, Kraus, Svobodová 1996] и мн. др. Авторы этих книг в ходе остроумной и увлекательной беседы знакомят читателя со всеми перипетиями и сложностями, подстерегающими его при пользовании родного языка.

В ходе последующего изложения в поле нашего зрения главным образом будет находиться "Настольная грамматика чешского языка" (далее: НГ). Оговоримся, однако, что в наши задачи не входило подробное рассмотрение содержания НГ, тем более ее рецензирование. Мы стремились по мере возможности уточнить значимость этой книги в общем контексте развития теории и методики чешской лингвистики

второй половины XX в., а также то, насколько она отражает специфику современной чешской языковой ситуации. Эпизодически мы будем касаться и другой книги – "Чешский язык. Речь и язык", заслуживающей, впрочем, в силу своей значимости специального рассмотрения.

Выход в 1995 г. НГ явился началом своего рода грамматической "атаки". И действительно после довольно длительного перерыва во второй половине 90-х годов была вновь продолжена традиция создания грамматических описаний чешского языка широкого профиля. Напомним, что предшествующие грамматики подобного рода относились к первой половине столетия (ср.: [Gebauer J., Ertl V. 1928; Gebauer J., Trávníček Fr. 1936; Trávníček 1951]).

Для чешской языковой культуры грамматики 90-х годов стали событием не только важным, но и в высшей степени симптоматичным и своевременным. Красноречивым подтверждением этого является факт, что уже в 1996 г., т.е. в беспрецедентно короткий срок, возникла потребность не только в переиздании НГ, что и было осуществлено, но и в переводе ее на другие языки, в частности, английский и немецкий. О значимости НГ свидетельствует и дискуссия, состоявшаяся в октябре 1996 г. в Карловом университете в Праге, в ходе которой ее участники имели возможность обсудить представленные авторами НГ концепции соответствующих глав грамматики.

Грамматики 90-х годов являются синтезом новейших достижений лингвистической мысли. Выработанная в результате этого синтеза концептуальная основа (ср., например, учет коммуникативного, семантического и прагматического аспектов) сформировалась в ходе предварительной селекции существующих теоретических воззрений.

Сказанное в полной мере относится к НГ, наглядно иллюстрирующей, в частности, эффективность коммуникативного подхода. Это прослеживается в главе о синтаксисе чешского языка, самой большой в книге (ср., например, интерпретацию такого понятия как "коммуникативная ситуация" или же типологию коммуникативных функций высказывания и т.п.). Коммуникативно-прагматический подход весьма продуктивно используется в главе о стилистике. Достаточно привести некоторые определения понятия "стиль": "стиль является **фактом речи**, а не языка. О стиле мы можем говорить тогда, когда язык участвует в коммуникации" [Příruční mluvnice češtiny 1995: 701] или же "стиль представляет собой совокупность сопутствующей информации об объективных и субъективных условиях коммуникации" [Там же: 702]. Соответственно именно коммуникативная функция считается важнейшим стилеобразующим фактором.

Большую роль в подготовке данных грамматических курсов сыграла фундаментальная академическая грамматика чешского языка, созданная в 80-х годах коллективом сотрудников Института чешского языка ЧСАН [Mluvnice češtiny (D. 1: Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov 1986; D. 2: Tvarosloví 1986; D. 3: Skladba 1987)]. Эта грамматика представляет собой исчерпывающее синхронное описание грамматической системы современного чешского языка, выполненное на основе новейших теоретических и методических достижений языкознания.

Немаловажное значение имели и результаты многочисленных монографических исследований различных уровней системы чешского языка. Назовем для примера капитальные исследования по чешскому словообразованию и ономасиологии М. Докулила (ср., в частности [Dokulil 1962]. Кстати, именно М. Докулилом написан словообразовательный раздел в ЧЯРЯ), коллективный труд по словообразованию существительных, выполненный в Институте чешского языка ЧСАН [Tvoření slov v češtině: 1967. D. 2], наконец подготовленные в том же Институте, но, к сожалению, до сих пор не опубликованные коллективные монографии по глагольному и адъективному словообразованию.

Нельзя не отметить, что в состав авторов как НГ, так и ЧЯРЯ входят известные ученые, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности в высшей (или же средней) школе. Многие из них участвовали в создании капитальных монографических исследований, существенно обогативших современную лингвистическую науку. Так, НГ является результатом усилий ученых из Института чешского языка философского

факультета университета имени Т.Г. Масарика в Брно (М. Крчмова – фонетика и фонология; З. Гладка – лексикология; Д. Шлосар – словообразование; З. Русинова и М. Некула – морфология; М. Грепл, П. Карлик, М. Некула – синтаксис; М. Елинек – стилистика). Написание ЧЯРЯ осуществлялось коллективом авторов, представляющих различные научно-исследовательские и педагогические центры Чешской республики (М. Чехова – предисловие, общий раздел, номинация, слово, части речи, грамматическое значение слов, коммуникат и текст; З. Главса – звуковое и графическое описание языка; М. Докулил – словообразование; З. Грушкова – система словоформ; Й. Грбачек – высказывание и предложение, комбинация высказываний и их разновидности).

Как следует из предисловия к НГ, основная цель этой грамматики – отнюдь не теоретическая, а **информативная**: она знакомит с языковыми фактами, относящимися к различным языковым уровням. Жанр информативного, справочного пособия предопределил необходимость компактного, четкого и наглядного изложения материала с тем, чтобы облегчить ориентацию в тексте книги. Это означало также максимальное ограничение полемики, вынуждало идти на определенные компромиссы, оставляя "за сценой" возможные теоретические и методические разногласия [Příruční mluvnice češtiny 1995: 17]. Характеризуя в целом данный труд, можно сказать, что это не просто нормативная, а нормативно-концептуальная грамматика.

Обобщая результаты современных исследований в области богемистики, авторы НГ делают это в форме, доступной для восприятия читателя, не имеющего профессиональной лингвистической подготовки. Как говорится в предисловии к НГ, ее адресат – активный пользователь литературного языка, который, не имея специального лингвистического образования, тем не менее хочет или же по роду своих занятий должен изъясняться правильно, кто имеет образование по крайней мере в объеме средней школы [Příruční mluvnice 1995: 17-18]. К сказанному выше следует добавить, что НГ может служить надежным справочным пособием и для профессионалов в лингвистике, т.е. для языковых консультантов, редакторов и т.д.

Очевидной является и ее полезность при преподавании чешского языка как иностранного. Ценными в этом отношении являются сведения о семантико-коммуникативной значимости интонации, о смыслоразличительной функции долгих и кратких гласных (например, в формах типа *kropicí* konev 'лейка' – *kropící muž* 'поливальщик; мужчина, который поливает', *brzdicí zařízeni* 'тормозное устройство' – *brzdící vůz* 'машина, которая тормозит' и т.п.), о членении связного речевого потока, о фонологических особенностях заимствований в чешском языке и их адаптации, о специфике графических систем. Для освоения чешского языка иностранцами важны и имеющиеся в НГ наблюдения за порядком слов в предложении (см. главу о синтаксисе), многочисленные стилистические комментарии и т.п.

Внимания пользователя грамматики заслуживают статистические данные об объеме активного и пассивного словаря чешского языка. Так, авторы НГ полагают, что активный словарь индивидуума (т.е. лексика, используемая как в устных, так и письменных высказываниях) в целом составляет примерно 5 000–10 000 слов (разброс зависит от интеллектуальных способностей, уровня образования, социального положения и пр.); пассивный словарь (т.е. численность слов, которые индивидуум понимает, но не использует активно) у человека со средним образованием – примерно 40 000 слов.

Интерес представляет и классификация типов словарей чешского литературного языка с их краткой характеристикой: к числу фундаментальных словарей нормативного типа относятся такие широко известные словари как Slovník spisovného jazyka českého, 1989 (около 192 000 словарных статей), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 1994 (48 000 словарных статей). Příruční slovník jazyka českého, 1935–1957 (250 000 словарных статей) характеризуется как описательный, он включает лексику не только из литературного языка, но и частично из других форм существования чешского языка (от себя добавим, что в нем представлена лексика, относящаяся к

различным синхронным пластам, что видно как из соответствующих словарных помет, так и приводимых примеров).

В отличие от НГ учебное пособие ЧЯРЯ адресовано более подготовленному в лингвистике читателю: "Книга может представлять интерес для читателей, которые, имея за собой начальный курс специализации по чешскому языку, хотят углубить и расширить свои знания предмета. Мы ориентировались на профессионального пользователя литературного чешского языка, на преподавателей, причем не только чешского языка, на студентов общественных дисциплин, включая богемистику, а также на учащихся средних школ, проявляющих глубокую заинтересованность в чешском языке" [Čeština. Řeč a jazyk 1996: 17]. Не случайно, помимо краткого предисловия, в ЧЯРЯ имеется достаточно развернутый общий раздел, в котором в свете коммуникативного подхода разъясняются такие принципиально важные понятия, как речь и язык, номинация и пр., уточняется диапазон задач, стоящих перед лингвистической богемистикой. Здесь же дается типологическая характеристика чешского языка, а также определяются его социолингвистические параметры.

Ориентация НГ на массового читателя сделала необходимым включение во все специализированные главы книги краткой интерпретации основного понятийно-терминологического аппарата. В этих интерпретациях удачно соблюден баланс: с одной стороны, предложенные дефиниции в своем большинстве доступны для читателя, не имеющего специальной подготовки; с другой, выдержанные в духе современных научных представлений, они вполне корректны и могут служить справочным материалом и для лингвистов различной профессиональной специализации.

Существенно и то, что понятийно-терминологический аппарат, как правило, удачно "вмонтирован" в текст изложения. Так, в главе о фонетике и фонологии термины-понятия (**фонема, фон, аллофон, фонологическая оппозиция, морфонема, фонологическая транскрипция** и пр.) вводятся постепенно, по мере включения соответствующего материала. В главе "Лексикология", весьма трудной для компактного написания, освещаются такие важнейшие понятия как **слово, лексема, лексическая единица, многословное наименование, фраземы** и т.п. (впрочем, здесь терминология вводится, на наш взгляд, несколько массированно).

В силу сказанного выше надобность в специальном терминологическом словаре в НГ отсутствует. Мало того, здесь имеется предметный указатель, отсылающий к определенным фрагментам текста. Менее оправданным является отсутствие библиографии, хотя отдельные отсылки к литературе вопроса все же имеются.

Примечательно также, что если в НГ вполне определенно заявляется о том, что данный труд является **грамматикой**, то авторы ЧЯРЯ, напротив, делают оговорку, что это не грамматика в обычном смысле слова. В предисловии к ЧЯРЯ также уточняется, что в поле зрения будут находиться речевые и языковые единицы более высокого уровня, т.е. такие, как номинация – слово; высказывание – предложение; коммуникат – текст; в меньшей степени – единицы низшего уровня (звук – фонема). Справедливости ради следует отметить, что НГ также выходит за рамки традиционных представлений о грамматике: наряду с такими разделами, как фонетика и фонология, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, она включает и большой раздел о стилистике. Расширенное понимание грамматики представлено, впрочем, и в "Чешской грамматике" Б. Гавранека и А. Едлички.

Основной целью НГ (равно как и ЧЯРЯ) является описание грамматической системы современного чешского **литературного** языка, т.е. той формы существования, "которая используется и которую надлежит использовать в публичной коммуникации, письменной и устной, т.е. это **обработанная** форма нашего национального языка" [Příruční mluvnice češtiny 1995: 17].

В силу этого интерпретация языкового материала в НГ (сказанное в полной мере относится и к ЧЯРЯ) носит не только описательный, но и **предписательный** характер, т.е. она отражает современную кодификацию литературного чешского языка (см. комментарии к вариативным языковым средствам). Приведем выборочно некоторые

примеры регламентации. Так, не рекомендуются для употребления в школьной речи обращения типа *pane řediteli*! (т.е. без звательной формы у второго существительного, они квалифицируются как субстандартные, т.е. нелитературные [Příruční mluvnice češtiny 1995: 236]. Как гиперкорректная, т.е. ошибочная [Там же: 247], оценивается форма *svůdče*! (зват. пад. по типу *otče*!) и т.п. Впрочем, упомянутая предписательность не является жесткой, прямолинейно директивной.

Существенно и то, что для смягчения различий между устным узусом и официальной "литературностью", обусловливающих определенную коммуникативную дискомфортность, в НГ (см., в частности, главу о стилистике) рекомендуется постепенно сближать кодификацию литературного языка и узус языка повседневного общения [Příruční mluvnice češtiny 1995: 728]. В этом отношении НГ во многом преемственна к новым Правилам чешского правописания [Pravidla 1993].

Следует подчеркнуть, что как в НГ, так и в ЧЯРЯ литературный язык интерпретируется **не как изолированный** феномен, а с учетом общего социолингвистического фона современного чешского национального языка, т.е. в контексте взаимосвязей литературного идиома с другими формами существования, прежде всего с разговорной речью. Примечательной особенностью НГ является то, что, помимо литературного языка, она выборочно включает также данные о других формах существования чешского языка. Подтверждением этого служит не только включение кратких социолингвистических сведений, предваряющих основное изложение, но и многочисленные стилистические комментарии внутри самого текста, сопровождающие приводимые вариативные языковые средства. В отличие от более ранних грамматик чешского языка социолингвистические параметры описания здесь определены достаточно четко. Не можем, однако, не отметить, что толкование некоторых социолингвистических понятий, тем более дискуссионных, все же остается не вполне проясненным – ср., например, понятие **hovorový jazyk**, не имеющее эксплицитного толкования.

Специфику НГ составляет и то, что в ней уделяется большое внимание сосуществующим в современном чешском литературном языке альтернативным формам. Центральное место в их ряду занимают **стандартные** языковые средства, которые, как говорится в предисловии к НГ, в принципе являются правильными, однако их использование приемлемо не во всех случаях [Příruční mluvnice češtiny 1995: 17].

Стандартным языковым средствам противопоставлены средства **субстандартные**, т.е. слова и формы слов, употребление которых, несмотря на их очень большую распространенность, не уместно в публичных высказываниях (ср. [Там же: 18]). Подобное определение субстандартных средств (тем более в таком установочном разделе как предисловие), на наш взгляд, оставляет множество вопросов, особенно если учесть, что сфера функционирования литературного языка отнюдь не ограничивается лишь публичной речью. Субстандартные средства в НГ не служат предметом систематического описания, однако в необходимых случаях они сопровождаются специальным комментарием.

Что касается стилистической характеристики языковых средств, то в грамматике применяется следующая шкала: средства **нейтральные**, т.е. беспризнаковые, с неограниченными возможностями включения в текст – именно они и составляют основной костяк, ядро описания. Менее распространены средства **книжные**, используемые в текстах с высшей культурной функцией, т.е. прежде всего в **письменных** текстах. К периферии отнесены средства **архаические**, заимствованные из литературы предшествующих эпох. Наконец, в устных обработанных текстах встречаются **разговорные** (hovorové) языковые средства (формы слов, слова и предложные конструкции), которые из сферы устной коммуникации постепенно проникают и в тексты письменные, прежде всего публицистические (ср. [Там же: 17]).

Приведенная стилистическая школа представляет собой своего рода канву, по которой и осуществляется в дальнейшем описание языкового материала. Это касается

морфологии, а также произносительных норм, представляющих для пользователя, особенно иностранного, наибольшие трудности. В какой-то мере та же шкала применяется и для синтаксиса. При характеристике словарного состава ее использование имеет преимущественно ориентационное значение и предполагает введение некоторых дополнительных показателей. Детально рассматривается данная шкала в главе о стилистике, где в соответствии с античной классификацией стилей (высокий/средний/низкий) выстраивается стилистическая ось (нейтральный/разговорный/книжный).

Заслуживает внимания проводимое в НГ разграничение произносительных норм на повседневные и нормы культивированного публичного общения. Так, для совершенствования речевой культуры в сфере устного публичного общения, в том числе и в устных СМИ (что, кстати, немаловажно и в практике преподавания чешского языка) необходимо учитывать три вида произносительных норм: произношение **тщательное** (торжественное), отличающееся четкой артикуляцией звуков в группах согласных, соблюдением долгих гласных, а также сегментации слов (с тем, чтобы слова не сливались друг с другом); **нейтральное**, уместное в высказываниях, в языковом отношении хотя и отшлифованных (культивированных), но не являющихся репрезентативными (имеется в виду речь дикторов радио и телевидения или же лиц, выступающих с важными в содержательном отношении сообщениями) и, наконец, **повседневное**, характерное для неподготовленных публичных устных высказываний, где допустимо упрощение некоторых групп согласных (ср. [Příruční mluvnice češtiny 1995: 28]). В дальнейшем, впрочем, используется еще одно понятие – "небрежное произношение" (nepečlivá výslovnost); ср.: "произнесение конечных гласных как долгих свидетельствует о небрежном произношении. Иногда это может нести экспрессивную нагрузку" [Там же: 28]. Важным представляется и итоговое утверждение о том, что культивированное произношение не исключает наличия дублетов [Там же: 28].

Приводимая выше градация произносительных норм в принципе вполне убедительна. Вызывает, однако, недоумение противопоставление в параграфе об упрощении групп согласных (глава о фонетике и фонологии) литературного и "тщательного, старательного" (pečlivý) произношения: произнесение форм *jsem, jsi* как [sem], [si] оценивается как литературное, а [jsem] [jsi] как тщательное [Příruční mluvnice češtiny 1995: 58]. Более уместным, на наш взгляд, был бы здесь термин "гиперкорректность", поскольку, как следует из предыдущего изложения, за исключением субстандартной все остальные произносительные нормы укладываются в рамки литературного произношения.

Говоря выше о своевременности выхода НГ, мы имели, в частности, в виду то, что данное событие пришлось на период, когда вопросы о состоянии чешской языковой культуры и чешской языковой ситуации после длительного перерыва привлекли к себе внимание не только лингвистической печати, но и общественности в целом. Именно в начале 90-х годов стихийно возникает публичная дискуссия о чешском языке, в которой, помимо специалистов, участвуют и непрофессионалы (ср. [Kořenský 1996]). Корни этой полемики восходят к концу 50-х – началу 60-х годов XX в., когда в чешской лингвистике проходила весьма острая дискуссия о состоянии вербальной коммуникации в чешском социуме, о динамике литературной нормы, взаимоотношении литературного языка с разговорными идиомами, прежде всего с феноменом obecná čeština. Значимость этой дискуссии для последующего развития не только богемистики, но и мировой славистики в целом общеизвестна.

Причиной дискуссии начала 90-х годов во многом стали упоминавшиеся выше Правила чешского правописания [Pravidla 1993], которые в определенной степени допускали включение в кодификацию литературного языка элементов языка разговорного. Именно эти подготовленные сотрудниками Института чешского языка Чешской академии наук Правила и вызвали в чешском обществе бурную, причем весьма неоднозначную реакцию, явились своего рода "спусковым крючком". Характеризуя вспыхнувшую полемику, Я. Корженский пишет: "Борьба, развернувшаяся

недавно в сфере орфографии, в сущности, сводилась к требованию... архаизации нашей орфографии, т.е. интеллектуальной аристократизации" [Kořenský 1996: 36].

Возникновение дискуссии, таким образом, во многом было обусловлено столкновением двух позиций: с одной стороны, намерением оградить литературный язык от разговорной стихии; с другой – попытками включить в кодификацию некоторые элементы языка повседневного общения в качестве допустимых вариантов. Объяснить остроту полемики лишь тем, что любая коррекция орфографических норм зачастую наталкивается на сопротивление (напомним о практически безуспешных попытках реформирования чешского правописания в 80-е годы), было бы все же упрощением.

Для чешской языковой среды проблема соотношения нормы разговорного и литературного узусов является особенно значимой в силу специфики языковой ситуации. Отметим в этой связи следующее.

1. В чешском языке в силу исторических обстоятельств дистантность литературной нормы и нормы языка непринужденного повседневного общения, присущая **любому** языку, выражена более выпукло. Прослеживаемая на всех уровнях языковой системы, она порой может служить причиной даже некоторой коммуникативной дискомфортности. Ср.: "Между живой языковой практикой и стандартным (т.е. литературным. – *Г.Н.*) чешским языком существует ощутимое напряжение, которое не смогло снять даже его функциональное культивирование, продолжающееся без малого полстолетия. Мы сталкиваемся с этим в школе, при переводе произведений художественной литературы. В полной мере это осознают и иностранцы, которые, выучив чешский язык по учебникам литературного языка, попали в чешскую языковую среду. С тем же сталкиваются телезрители, радиослушатели, читатели произведений художественной литературы. Точно такое же препятствие возникает, когда мы, пытаясь получить информацию о некоторых явлениях живой языковой практики, обращаемся за помощью к справочникам по литературному чешскому языку. Довольно скоро мы убеждаемся в том, что чем больше эти справочники отходят от своего исконного назначения информировать исключительно лишь об особенностях литературного языка, тем больше от них пользы" [Starý 1994: 18].

2. По сравнению с другими славянскими языками в чешском манифестации языка непринужденного повседневного общения имеют гораздо более высокий социолингвистический статус. Сказанное в особенности относится к феномену obecná čeština, нормативные элементы которого, начиная с середины XX в., широко проникают как в публичную коммуникацию, так и в язык художественной литературы (в том числе и в авторскую речь; ср. по этому поводу [Stich 1975]). Приведем в качестве иллюстрации примеры из авторской речи, а также речи персонажа в произведении современного молодого прозаика Я. Тополя (Jáchym Topol. Výlet k nádražní hale. Praha, 1995); (**авторская** речь): *Ale druhý den tam stála soška ženy, měla havraní vlasy, zelen**ý** oči, vsazen**ý** drah**ý** kameny, ty vlasy byly lidsk**ý*** (9 s); *Zkoumal jsem, jak umořit svý**h**o zdrav**ý**h**o** ducha v obchodním podnikání* (10 s); *Jeho gorilky ji pak ještě zpracovaly tak, aby jakž takž přežila, a i s tím mrtvým odborníkem na ochranu ji zabalenou v zločin**ama** potřísněném koberci vyklopili za město na smetiště* (11 s.); (речь **персонажа** – журналиста): *V**o**bojí, to je **fuk**. Dodaj ti brožuru s parametr**ama**. Ale **maj** zájem o deníky... Je tu seznam inženýrsk**ej**ch sviní;... Rozhovory s nim**a**, zaplaceň**y** expertýzy a tak. Stoj**ej** o podrobn**y** články v politick**ej**ch plátcích, hlavně mimopražsk**ej**ch. Máš to vobšlápnut**ý** i venku*? (32 c). Во всех этих примерах, пусть и не всегда последовательно, воспроизводятся типичные фонологические и морфологические (в данном случае мы оставляем в стороне лексические особенности) приметы разговорной чешской речи (obecná čeština), причем преимущественно в ее сленговой манифестации (они выделены нами жирным шрифтом, какая-либо графическая маркировка, т.е., к примеру, кавычки, здесь отсутствуют). Ср. в авторской речи: перегласовка *é* > *ý*, флексия *-ama* во мн. числе – данные изменения морфологически значимы, они фиксируют родовую унификацию при склонении прилагательных во мн.

числе. В речи персонажа приметы разговорной речи представлены несравненно больше: в добавление к приведенным выше это, например, наличие вставного *v* перед начальным *o*, переход *ý* > *ej*, использование усеченных глагольных флексий, специфической разговорной лексики и т.п.

Не случайно многие исследователи воспринимают и соответственно характеризуют феномен obecná čeština как **престижную** форму существования чешского языка. Нередко они даже опасаются возможности ее конкуренции с литературным языком. Подобное опасение, впрочем, представляется нам сильно преувеличенным, поскольку названные манифестации чешского языка не являются **изофункциональными** (а именно это необходимо для возникновения конкуренции), между ними существуют выраженные субстанциональные и коммуникативные отличия, не исключающие, разумеется, взаимопроникновения элементов.

3. Несмотря на компактность чешскоязычного континуума, его интеграция не зашла все же настолько далеко, чтобы obecná čeština стала **единственной** манифестацией разговорного языка, признаваемой на всей территории. Так, например, некоторые ее приметы противоречат региональному языковому сознанию, скажем, в Моравии, вызывая соответственно негативную реакцию. Примечательно, что нередко в зависимости от региональной принадлежности исследователя, т.е. от того, происходит он из западной или же из восточной части чешскоязычной территории, варьируется и оценка идиома obecná čeština: либо подчеркивается его **общеэтническая** значимость, его "центральность" (в первом случае), либо, напротив, он приравнивается к **другим** региональным интердиалектам (случай второй). Последнее, возможно, обусловливается инстинктивным желанием защититься от "прагоцентризма" (напомним, что obecná čeština является языком Праги и западной части региона в целом).

Учитывая важность процессов, происходящих в современной чешской языковой ситуации, главный редактор лингвистического журнала "Jazykovědné aktuality" Я. Корженский обратился к читателям с призывом начать уже не стихийное, а широкое обсуждение проблемы функционирования современного чешского языка: "Произошедшие в нашей стране огромные экономические, политические и общественные изменения не дают никому права на спокойствие и бездействие, ни отдельному человеку, ни какой бы то ни было социальной группе внутри нашей национальной и государственной общности. Эти изменения, затрагивающие все наши ценности, наше отношение к ним, с самого начала коснулись языка, характера, способностей и возможностей общения. Распространяются они и на наше отношение к национальному языку, к другим языкам, особенно международным" [Kořenský 1996: 36].

Нельзя не отметить, что первые статьи, появившиеся в ходе этой, уже организованной, дискуссии, не только выявили остроту и болезненность обсуждаемых вопросов, но и обозначили полярные позиции (ср. статьи Й. Гронека и П. Сгалла, Я. Бартошека, Ф. Чермака [Hronek, Sgall 1996; Bartošek 1997; Čermák 1997]).

Следует признать, что ограниченные возможности контроля за соблюдением литературной нормы, что особенно характерно для современной коммуникации как письменной, так и особенно устной, снижение качества языкового обучения в школе, вовлечение в состав пользователей литературного языка лиц с разным уровнем языковой компетенции, преимущественно "слуховое" приобщение к информации, т.е. не столько через чтение, сколько через устные СМИ и прежде всего ТВ и т.п. – все это, наряду с намеренным речевым эпатажем, "раскачивает" литературную норму, способствует ее большей лабильности, снижению авторитета кодификации. Очевидным является и происходящее изменение правил речевой эстетики в направлении бóльшего включения разговорных элементов, массовизации, усреднения и даже огрубления. Данное явление в целом имеет **универсальный** характер, т.е. наблюдается практически во всех языках. Подробнее мы касаемся этих проблем в монографии [Нещименко 1999].

При написании НГ использовались как общие, так и специальные теоретико-методические приемы, характерные для тех или иных научных дисциплин. Первостепенное место в их ряду, несомненно, занимает универсальная оппозиция "центр – периферия".

Учитывая важное операциональное значение данной антиномии, а также то, что она используется во многих главах книги, очевидно, имело бы смысл дать эксплицитное толкование ее релевантной основы либо в предисловии, либо в одной из глав НГ. К сожалению, подобные разъяснения практически отсутствуют. Так, в зависимости от того, на каком материале используется названная оппозиция, ее семантическая наполненность меняется. В главе о фонетике и фонологии предлагается следующая ее трактовка: "некоторые фонемы широко используются и, следовательно, образуют **центр фонемного инвентаря;** на **периферии** находятся фонемы, используемые минимально [Příruční mluvnice češtiny 1995: 25]. Следуя этому правилу, М. Крчмова относит к разряду периферийных в чешском языке, к примеру, фонему *ó*, встречающуюся главным образом в заимствованиях, а также *é*. Что касается последней фонемы, то характеристика ее дистрибуции особенно существенна, так как употребление *í* вм. *é* является одной из наиболее типичных примет разговорной речи. Как отмечается в НГ, вопрос о принадлежности форм с *í* к литературной или же, напротив, к разговорной речи решается по-разному: так, лексемы типа *mlíko, plíst*, т.е. с *í* в основе слова, могут оцениваться как литературные. Лексемы *polívka / polévka* квалифицируются как дублеты в рамках литературной нормы, причем форма с *é* считается более книжной. Частотность форм с *é* у слов, обозначающих понятия из культурной сферы, является более высокой, чем у слов, встречающихся в повседневном общении. Как субстандартные характеризуются формы с *í* (*ý*) в окончаниях прилагательных; ср. *nový šaty, novýmu sousedovi* вм. *nové šaty, novému sousedovi.* Четкую позицию занимает автор и в отношении так называемого протетического *v* в начале слова (*vokno, vodnese* вм. *okno, odnese*): его не следует употреблять в литературной речи, лишь иногда лексемы со вставным *v* могут встретиться в устной публицистике и то только при цитации субстандартной речи или же во фраземах типа *ten to zvoral.*

В главе о лексикологии (З. Гладка) эта оппозиция интерпретируется следующим образом: "**Центром словарного состава** является определенное **ядро.** Оно включает слова, которые, называя важнейшие реалии повседневной жизни, являются неотъемлемым компонентом коммуникации (напр., *syn, voda, slunce, hlava, pes, dům, sůl*). Ядерные слова в своем большинстве относятся к исторически наиболее древним и одновременно наиболее стабильным компонентам лексики в целом. В синхронном отношении они, как правило, не мотивированы и используются в качестве производящей основы для образования производных слов. Обычно это нейтральные обозначения, лишенные эмоциональной окраски, а также любой другой маркированности. Их численность в языке не велика, однако они отличаются высокой частотностью. Лексическому ядру противопоставлены лексические единицы с низкой частотностью, по разным причинам находящиеся на **периферии лексической системы** (напр., слова устаревающие: *batalion, kaprál* и т.п.)" [Příruční mluvnice češtiny 1995: 92–93].

Нетрудно заметить, что в обоих случаях при разграничении центра и периферии решающее значение придается частотности употребления языковых компонентов. Частотность в речевом потоке, социальная потребность в номинациях, характер социального заказа – все эти и другие факторы действительно играют существенную роль при определении центра и периферии, однако, на наш взгляд, они влияют прежде всего на **скорость** поляризации языковых средств между центром и периферией, а не на само их распределение. Хотелось бы также добавить, что вряд ли правомерно рассматривать периферию как нечто малозначительное, второстепенное. На самом деле это достаточно обширная и многослойная зона системы, оказывающая большое влияние на функционирование системы в целом. Следует учитывать также возможность миграции компонентов как центра, так и периферии, обусловливающей внутрисистемную динамику (см.: [Нещименко, Гайдукова 1994]).

Примечательно, что автор главы о словообразовании Д. Шлосар не использует оппозицию "центр–периферия", о чем, на наш взгляд, можно лишь сожалеть. Ее заменяет градация словообразовательных средств по степени их продуктивности, причем главным образом речь идет об оппозиции "продуктивность–непродуктивность". Как отмечает Д. Шлосар, его интересуют прежде всего продуктивные словообразовательные типы. Из числа непродуктивных предпочтение отдается наиболее репрезентативным типам. Используется, впрочем, и более развернутая шкала продуктивности, включающая и малопродуктивные, и ограниченно продуктивные форманты, хотя критерии разграничения этих ступеней продуктивности в тексте отсутствуют. Нельзя также не отметить, что в некоторых случаях пометы о степени продуктивности формантов либо отсутствуют (например, у дериватов на *-ník* на стр. 114 и 117), либо нуждаются в уточнении. Так, дериваты с суф. *-čno* типа *tragično, psychično, komično*, на наш взгляд, являются не столько редкими, сколько книжными, они используются в языке научной литературы, в эссеистике.

Для полноты описания системных словообразовательных закономерностей, по нашему мнению, важно было бы учитывать обе дифференциации, т.е. как по степени продуктивности, так и по принадлежности формантов к центру или же периферии системы, поскольку это вносит разную нюансировку в рассмотрение словообразовательной системы. Проведенные нами исследования по словообразованию (а также социолингвистике) показали исключительную результативность применения оппозиции "центр–периферия" как при систематизации языковых фактов, так и при выявлении **организующего принципа** строения любого уровня языковой системы. В ходе деривационного анализа семи словообразовательных категорий (исследование проводилось на материале чешского, русского, болгарского, сербохорватского, отчасти также польского и словацкого языков [Нещименко, Гайдукова 1994]) было, в частности, установлено, что в состав суффиксального центра как организующего ядра словообразовательной категории входят форманты, в комбинаторном отношении взаимодополняющие друг друга (правило так называемой комбинаторной достаточности). Последнее обстоятельство позволяет обеспечивать наиболее полный инвентарь производящих основ и, следовательно, способствует оптимальной реализации релевантного для данной словообразовательной категории деривационного значения.

В целом представленная в НГ характеристика словообразовательной системы чешского языка достаточно наглядно и информативно освещает такие способы словообразования, как аффиксальная деривация, словосложение, аббревиация. Уделяется внимание и такому важному явлению как адаптация заимствований (специальный раздел имеется почему-то лишь у прилагательных), что особенно актуально в нынешней ситуации при усилившемся притоке иностранной лексики, в первую очередь англицизмов. Не можем, однако, не отметить спорность отнесения к словообразованию степеней сравнения прилагательных – более оправданным, на наш взгляд, все же было бы их рассмотрение в главе о морфологии. Попутно, однако, выскажем предположение, что в современной речевой практике у прилагательных в сравнительной степени намечается некоторое ослабление градационного значения. В пользу этого говорят не только такие факты, как чешск. *starší pán* "пожилой господин", *mladší člověk* "молодой человек", но и распространенные ошибки, встречающиеся в русской устной речи, например, *все более* ***четче*** и им подобные, когда для усиления значения градационности, казалось бы избыточно, дополнительно привлекается наречие, т.е. привлекаются аналитические средства.

По имеющейся в главе о словообразовании маркировке сферы использования как отдельных образований, так и словообразовательных типов (ср., например, соответствующие пометы к словообразовательным типам с суф. *-ák, -áč, -l* и пр.) можно судить о взаимодействии литературного и разговорного языков. Нагляден в этом отношении и комментарий к дериватам, обозначающим различного рода документы, платежные и прочие подтверждения типа *platebka, doručenka, jízdenka, tramvajenka, povolenka,*

vstupenka, состав которых, как справедливо отмечает Д. Шлосар, активно пополняется за счет притока лексики из разговорного языка.

Наряду с основными способами выражения, встречающимися на всех уровнях системы (в произношении, способах номинации, формообразовании, синтаксисе), в НГ приводятся наиболее частотные **альтернативные** языковые средства, причем в некоторых случаях даже уточняется, в каких фрагментах системы отмечается наибольшее скопление вариантных форм – последнее, на наш взгляд, чрезвычайно важно для диагностирования потенциальных очагов напряженности в системе, очагов ее динамики.

Возникновение подобных альтернативных форм, с одной стороны, является результатом естественной эволюции языковой материи, ее склонности к вариативности (т.е. это внутриидиомные импульсы); с другой, отражает последствия взаимодействия литературного языка с иными идиомами чешского языка (межидиомный аспект).

Так или наче, возникновение вариативных языковых средств стимулирует развитие конкуренции, являющейся одной из интереснейших реализаций синхронной динамики. Кстати говоря, именно конкуренции языковых средств уделяется большое внимание в главе о стилистике; ср. определение стиля: "Стиль можно определить как результат отбора языковых средств из множества средств, конкурирующих друг с другом" [Příruční mluvnice 1995: 70]. Соответственно под понятием "конкурентное множество" имеется в виду группа средств, "которые реализуют основное коммуникативное намерение автора высказывания и которые в силу этого могут заменять друг друга. При этом компоненты конкурентных множеств могут различаться семантическими и стилистическими оттенками" [Příruční mluvnice 1995: 732]. В свете сказанного конкурентами признаются высказывания типа: *Měl bys ke mně přijet // Musíš ke mně přijet // Nepřijel bys? // Nemohl bys přijet? Nechtěl bys přijet? Co takhle jednou ke mně přijet?* Не можем, однако, не отметить, что подобная трактовка конкурентов нам представляется расширительной, поскольку в их состав включаются не только тождественные (как мы склонны думать), но и синонимичные языковые средства, не являющиеся, строго говоря, полностью эквивалентными единицами. С нашей точки зрения, конкурентные отношения могут возникать лишь между дублетами, т.е. полностью эквивалентными в семантическом и стилистическом отношении языковыми средствами; ср., например, дериваты со значением лица женского пола типа *dramaturgyně, dramaturžka; chirurgyně, chiruržka* или же формы 1 л. ед. числа *píšu // píši, kupuju // kupuji* и т.п.

Конкуренция, по нашему мнению, представляет собой равновесное состояние, кстати говоря, обычно кратковременное. Появление у дублетов семантических и стилистических отличий сигнализирует о прекращении конкуренции. В этом случае правомерно говорить не о синхронных, а о диахронных дублетах (ср. инфинитивные формы *nésti – nést*). С учетом сказанного правомерность квалификации в качестве синхронных дублетов некоторых форм, разошедшихся друг с другом в стилистическом отношении, у нас вызывает сомнение.

Анализ функционального соотношения исконных дублетов позволяет наглядно наблюдать синхронную динамику. Примечателен следующий комментарий НГ: форма род. пад. *do nohou*, являющаяся рефлексом формы дв. числа, по сравнению с формой мн. числа *do noh* в большинстве своем воспринимается как явно книжная. Форма *píšu* (1 л. ед. числа) смещается в разряд нейтральной лексики, дублетная форма *píši* приобретает книжный характер; формы *kryju, kupuju* (также 1 л. ед. числа) из разговорных становятся нейтральными, в то время как *kryji, kupuji* все больше приобретают оттенок книжности.

Учет альтернативных языковых средств дает возможность, с одной стороны, получить ценную информацию о функционировании чешского языка; с другой – осуществить в конечном итоге выбор языкового средства, наиболее пригодного для той или иной коммуникативной ситуации.

Материал, имеющийся в НГ, дает возможность наблюдать ряд тенденций, развивающихся в синхронии; ср., например, переход в твердое склонение существительных на согласные *l, s, z*, распространение некоторых окончаний сущ. жен. рода твердой разновидности (тип *žena*) на все родовые категории и типы склонения (ср.: *ženama* > > *pánama, městama*), признаки родовой унификации (под влиянием разговорной речи) в склонении прилагательных (ср.: *krásný jablka* вм. *krásná jablka*). В этом же аспекте могут рассматриваться динамические процессы в глагольном словоизменении; ср. инфинитивные формы глаголов типа *péct* (*vléct, téct, tlouct, moct*) вм. *péci, vléci, říci, téci* (последние, как комментируется в НГ, встречаются в литературе более раннего периода либо в текстах высокого стиля). Симптоматичными являются факты изменения глагольного управления и пр.

Помимо фиксации альтернативных языковых средств, сосуществующих в литературной норме, в НГ приводятся (с соответствующей маркировкой) формы слов или же отдельные слова, имеющие специфический социолингвистический "шлейф". Как правило, речь идет о не санкционированных литературной кодификацией включениях из разговорной речи, в том числе из региональных или же социальных идиомов. Важное место занимает социолингвистическая характеристика в главе о лексикологии. Здесь разграничивается лексика, принадлежащая к "репрезентативному литературному языку", и лексика нелитературных языковых идиомов, в том числе территориальных и социальных диалектов.

В составе **социально** маркированного словарного состава выделяются пласты лексики, относимой к полуидиомам (poloútvary) – **профессиональной речи, арго.** Говоря о прозрачности границ между профессиональной речью и производственным сленгом, автор отмечает, что последний включает терминологические обозначения, не санкционированные кодификацией.

Внутри **хронологически** маркированной лексики выделяются, с одной стороны, слова устаревающие (архаизмы, историзмы); с другой – неологизмы, причем и те, и другие автором главы отнесены к периферии лексической системы.

В рамках словарного состава противопоставляются два лексических пласта: слова нейтральные, которые могут использоваться в любой ситуации, и слова, маркированные по временному, эмоциональному и функционально-стилевому признаку. Среди слов, имеющих **территориальную** маркированность, вычленяются **диалектизмы**, т.е. диалектные эквиваленты для литературных аналогов типа *peřina* 'перина' (лит.) – *duchna, svrchnice, devětnice, poduška, velká peřina*; **регионализмы**, связанные с более обширным региональным пространством – это прежде всего моравизмы (*deska, dědina, sdělat, stolař* и пр.) и чехизмы (соответственно: *prkno* 'доска', *vesnice* 'деревня', *sundat* 'снять', *truhlář* 'столяр'). Примечателен комментарий о том, что областная лексика нередко может восприниматься как допустимые в литературном языке варианты с региональной окраской. Приводятся здесь и так называемые **этнографизмы** типа *fěrtoch* 'фартук', *krpce* 'разновидность деревенской обуви типа сандалий', *kordule* 'жилетка как часть национального костюма'.

Нельзя не отметить, что авторы НГ по мере возможности комментируют территориальное распространение тех или иных языковых средств. Это прослеживается в целом ряде глав грамматики, например, в главе о лексикологии, где, помимо прочего, отмечается факт значительного совпадения словарного состава территориальных диалектов и литературного идиома. Последнее наблюдение является дополнительным подтверждением того, что различия между литературной и разговорной речью следует искать прежде всего в специфике речевого поведения и, соответственно, в специфике организации текста (см. по этому поводу: [Нещименко 1999]).

В качестве особого слоя словарного состава чешского языка рассматривается лексика идиома obecná čeština, который из интердиалекта стал ныне языком повседневного общения, правда, прежде всего в Чехии; ситуация в Моравии несколько

иная. Отмечается также факт проникновения элементов идиома obecná čeština в литературный чешский язык, особенно устный (*bál, bramboračka, holka, kluk*).

Важно подчеркнуть, что в НГ фиксируются различия между чешским и моравским речевым узусом – соответствующие примеры встречаются, в частности, при описании морфологических особенностей современного чешского языка (ср. колебания при определении рода у ряда существительных, например, *bronz, kyčel, rez, esej, Olomouc* и т.п.). Как региональный моравский вариант оценивается окончание *-i* во мн. числе у фамилий: *oba Stuchlíci*. Число подобных случаев достаточно велико.

Очень ценными представляются замечания, касающиеся использования тех или иных морфологических категорий не только в литературном языке, но и за его пределами, т.е. в разговорном (= субстандартном) узусе. Из множества иллюстративных примеров приведем лишь некоторые: замена зват. пад. на им. пад. в разговорной речи (типа *pane Novák* вм. *pane Nováku*); вытеснение кратких прилагательных полными (*Přišla v **maminčiné** sukni*) – небезынтересно наличие сходного образования в экономической терминологии современного чешского литературного языка: *dceřiný podnik* (русский аналог – *дочернее предприятие*). Большое количество помет подобного рода имеется в разделе о глагольном словоизменении (ср. субстандартные формы 1 л. мн. числа *budem, nesem, tisknem*, 1 л. ед. числа *bysem*). Отмечается также, что в отличие от литературного языка в разговорной речи семантическая специализация предлогов не является столь четкой. Так, предлог *skrz* может означать как "через" (*Prostrčil ruku **skrz** otvor*), так и "из-за" (***Skrz** tebe nemůže jít do kina*). Ср. также русск. просторечное: ***через** тебя я опоздал*.

Внимание к специфике разговорной речи выгодно отличает НГ от целого ряда предшествующих грамматик. Это тем более важно, так как разговорная речь в любом языке является мощным фактором влияния на развитие литературной нормы. В условиях чешской языковой ситуации данное обстоятельство приобретает особое значение в силу высокого социолингвистического статуса разговорных идиомов, прежде всего феномена obecná čeština.

Подытоживая, можно сказать, что грамматики 90-х годов и конкретно "Настольная грамматика чешского языка" вносят важный вклад в развитие чешской языковой культуры. В них содержится большой фактографический материал, осмысляемый в свете новейших достижений современной лингвистической науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нещименко Г.П., Гайдукова Ю.Ю. 1994 – К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994.

Нещименко Г.П. 1999 – Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков). München, 1999.

ЧЯРЯ – *Čechová M. a kolektiv autorů.* Čeština. Řeč a jazyk. Praha, 1996.

Bartošek J. 1997 – Diskutovat, ale ne pořád dokola. Jazykovědné aktuality. 1997. № 3–4.

Brabcová R a kolektiv 1996 – Čeština našich dní. Praha, 1996.

Čermák F. 1997 – Obecná čeština: je součásti české diglosie? // Jazykovědné aktuality. 1997. № 3–4.

Čeština všední i nevšední 1972 – Čeština všední i nevšední. Kolektiv autorů Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, 1972.

Čmejrková Sv., Daneš Fr., Kraus Jiří, Svobodová I. 1999 – Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha, 1996.

Dokulil M. 1962 – Tvoření slov v češtině. D. 1: Teorie odvozování slov. Praha, 1962.

Eisner P. 1992 – Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině / Ed. A. Stich. Praha, 1992.

Gebauer J., Ertl V. 1928 – Krátká mluvnice česká pro nižší třídy středních škol. Praha, 1928.

Gebauer J., Trávníček Fr. 1936 – Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. V Praze 1936.

Havránek B., Jedlička A. 1960 – Česká mluvnice. Praha, 1960.

Hronek J., Sgall P. 1996 – Některé aktuální otázky jazykové kultury češtiny // Jazykovědné aktuality. 1996. № 1–2.
Chloupek J. 1968 – Pověry o češtině. Brno, 1968.
Chloupek J. 1974 – Knížka o češtině. Praha, 1974.
Jílek Fr. 1967 – Vtipná čeština. Praha, 1967.
Kořenský J. 1996 – O češtině dnešní a zítřejší – výzva k diskusi // Jazykovědné aktuality. 1996. № 1–2.
Koževniková Kv. 1984 – Aby řeč nestála. Praha, 1984.
Mluvnice češtiny. D. 1–3. Ústav pro jazyk český ČSAV. Praha 1986–1987.
Pravidla českého pravopisu 1993 – Pravidla českého pravopisu. Ústav pro jazyk český AV ČR. Školní vydání. Praha, 1993.
Příruční mluvnice češtiny 1995 – Příruční mluvnice češtiny. Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne // Ed. P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová. Praha, 1995.
Stich A. 1995 – K obecné češtině v současné české próze (Ota Pavel) / Naše řeč. 1975. № 4.
Starý Zd. 1994 – Ve jménu funkce a intervence. Praha, 1994.
Šlosar D. 1985 – Jazyčník. Praha, 1985.
Šmilauer Vl., Váhala Fr. 1963 – O češtině pro Čechy. Praha, 1963.
Trávníček Fr. 1951 – Mluvnice spisovné češtiny. T. I–II. Praha, 1951.
Tvoření slov v češtine 1967 – Odvozování podstatných jmen. Kolektiv autorů Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

© 2000г. Н.Р. ДОБРУШИНА

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ*

Обзоры американской дискурсивной лингвистики можно найти в недавно вышедшем сборнике "Фундаментальные направления современной американской лингвистики" [Кибрик, Плунгян 1997], а также в работе [Кибрик 1994]. Задача настоящей статьи – рассмотреть только те исследования, которые посвящены одному распространенному явлению диалогической речи, называемому в американской лингвистике "back-channel items".

В современной русистике, вообще не балующей своим вниманием устную речь (за исключением нескольких известных работ, таких, как [РРП 1995; РРР 1978; РРР 1983]), исследования, посвященные этим единицам, немногочисленны (см., например [Добрушина 1997]). Выяснилось, однако, что американские лингвисты, давно занимающиеся устным бытовым диалогом, накопили довольно богатый материал, касающийся высказываний такого типа.

Первой работой, посвященной проблеме функционирования "back-channel items" (термин, который можно перевести как "средства выражения обратной связи"), в американской лингвистике считается исследование [Fries 1952]. Он объединил разнообразные средства, с помощью которых слушатель выражает свое внимание: *yes, uh huh, yeah, I see, oh* и т.п. Исследование этих средств было продолжено в работах 70-х годов [Kendon 1967; Dittman, Llewellyn 1967], а в работе [Ingve 1970] для них было найдено удачное название – back-channel items. В исследованиях [Duncan 1974] и [Duncan, Fiske 1977] это понятие было расширено. Наряду с такими словами, как *uh huh* и *yeah*, в него были включены и другие вербальные и невербальные средства: завершение вторым собеседником реплики первого, просьба о разъяснении, кивок, смех и т.д. Однако современный подход к описанию этих единиц основывается на понятиях, введенных в работе [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974]. Этой статьей было открыто целое направление американской лингвистики, называющее себя "Conversation analysis" (конверсационный анализ, или анализ бытового диалога – переводы, предложенные в [Кибрик, Плунгян 1997: 322]). Основная сложность исследования диалога, согласно [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974], заключается в том, что он всегда глубоко погружен в актуальную ситуацию, его свойства являются следствием конкретных обстоятельств, связанных с участниками беседы. С другой стороны, поскольку разговор может быть приспособлен к любой ситуации, поскольку он является средством общения, доступным самым разным людям в самых разных обстоятельствах, постольку должен существовать какой-то контекстно-свободный формальный аппарат, который позволяет собеседникам достигать всех этих целей. Универсальным свойством устной речевой деятельности является ее устройство по принципу чередования реплик собеседников. Не только речь, но и многие другие виды человеческой деятельности облечены в форму ходов, следующих один за другим, или "очередности"

* Работа выполнена при финансировании Программы поддержки научных исследований Института "Открытое общество" (RSS/HESP) в рамках гранта № 146/1996.

(turn-taking). Американские лингвисты предположили, что организация разговора как последовательности реплик является тем основополагающим свойством устной речи, формализация которого может стать исходным пунктом в исследованиях диалога. Исследователи сформулировали некоторые принципы такой организации, например:

– в любом диалоге происходит смена говорящих,

– как правило, единовременно говорит только один собеседник,

– нормой является переход от одного говорящего к другому без паузы и без наложения реплик друг на друга и др.

Проблемы, поставленные в статье [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974], во многом определили пути дальнейших исследований в этой области. Одним из наиболее волнующих вопросов, пожалуй, явился следующий: чем характеризуются моменты перехода разговора от одного собеседника к другому? Сакс, Щеглофф и Джефферсон предположили, что в пределах высказывания одного говорящего существуют моменты возможного завершения, наиболее благоприятные для смены говорящего. Тем самым, в высказывании можно выделить своего рода "диалоговые единицы" (turn-constructional units), границами которых являются такие моменты потенциального завершения.

Заданный в 70-е годы, этот вопрос остается актуальным и сегодня. Одной из последних работ, посвященных методам предсказания моментов возможной смены говорящего, является статья [Ford, Thompson 1996]. Авторы рассматривают три вида завершенности диалоговой единицы: синтаксическую, интонационную и прагматическую. Их исследование показывает высокую степень совпадений этих трех типов завершенности. Моменты в разговоре, характеризующиеся синтаксической, интонационной и прагматической завершенностью, авторы называют CTRP (complex transition relevance places). По подсчетам Форд и Томпсон, 71% от всех смен говорящего приходится на CTRP. Особый интерес представляют случаи несоответствия смены говорящего CTRP. Так, внеочередная реплика собеседника может возникнуть тогда, когда говорящий не находит нужного слова и собеседник помогает ему в этом. Другой пример несоответствия смены говорящего CTRP – характерный способ выражения согласия, а именно, завершение вторым говорящим реплики первого говорящего.

Одним из наиболее популярных объектов исследования среди лингвистов, занимающихся конверсационным анализом, стали "backchannels" – средства выражения обратной связи, "краткие нелексические высказывания слушателя во время речи другого собеседника" [Tao, Thompson 1991: 210].

В любом дискурсе заложено желание достичь каких-то интерактивных целей. Причем цели эти должны быть достигнуты в реальном времени, поэтому в разговоре всегда присутствуют, хотя бы и скрытые, механизмы, ведущие к их осуществлению. Так объясняет происхождение "backchannels" автор первой работы об этих языковых единицах, написанной в рамках конверсационного анализа, – [Schegloff 1982].

Один из механизмов достижения интерактивных целей срабатывает тогда, когда слушающий имеет возможность начать говорить, но удовлетворяется произнесением *uh huh*, тем самым уступая свою очередь говорящему. Если первый говорящий произносит "расширенное" (extended), в терминологии Щеглофф, высказывание (т.е. высказывание, содержащее более одной диалоговой единицы), то участие в разговоре второго собеседника, как правило, ограничивается произнесением словечек типа *mm hmm, uh huh, yeah*. Щеглофф подчеркивает, что все эти многочисленные средства выражения обратной связи являются не столько проявлениями внимания или понимания, сколько средствами заявить о своем внимании или понимании. Иными словами, *uh huh* вполне может быть произнесено и тогда, когда слушающий скорее делает вид, что включен в коммуникацию, чем действительно увлечен беседой.

Произнося *uh huh*, второй говорящий, по мнению Щеглофф, чаще всего выражает свое понимание того, что высказывание первого говорящего еще не закончено и что он может продолжать. Языковые средства, использующиеся таким образом, были

названы автором "продолжателями" (continuers); этот термин используется в лингвистической литературе и сейчас. Не следует считать, что *uh huh* и ему подобные являются конвенциональными средствами выражения понимания. Механизм их действия иной. Произнося *uh huh*, слушающий пропускает возможность сообщить о возникших проблемах понимания с помощью более членораздельного высказывания. Тем самым, сигналом о понимании является не столько *uh huh*, сколько пропущенная очередь высказаться. Поэтому, считает Щеглофф, "продолжатели" в разных языках часто используются и для выражения согласия (ср. русск. *Угу*). Щеглофф отмечает, что, помимо тонких семантических отличий между разными средствами выражения обратной связи, варьирование этих средств может использоваться слушающим просто для того, чтобы выразить заинтересованность: монотонное использование одного и того же слова на протяжении длинного разговора может быть воспринято как отсутствие интереса.

Целая серия работ по "backchannels", написанных после статьи Щеглофф, представляет собой сопоставительные исследования этих единиц в разных языках. Пока, впрочем, такие исследования ограничиваются тремя языками – английским, японским и мандаринским диалектом китайского.

Сравнению японского и английского посвящена статья [Maynard 1986]. Автор выделяет следующие разновидности средств выражения обратной связи: "продолжатели" (вслед за Щеглофф), сигналы понимания, сообщения о поддержке и сочувствии по отношению к говорящему, выражения согласия, проявления эмоциональной реакции. По наблюдениям Майнард, "backchannels" употребляются в японском гораздо чаще, чем в английском; этот тезис будет затем отчасти оспорен в работе [Clancy, Thompson, Suzuki, Tao 1996]. Автор статьи пытается выявить, чем характеризуются моменты разговора, когда японец произносит "backchannel". Чаще всего это происходит в паузах сразу после высказывания говорящего. Эти паузы нередко маркированы определенными языковыми средствами, а именно "завершающими предложение частицами" *sa, yo, no, ka*, а также *ne* (она отчасти соответствует английским "tag-questions"). Кроме того, паузы могут возникать в местах стыков частей сложного предложения – перед придаточными и внутри сложносочиненного предложения; при этом глагол в этих частях может иметь не только финитную форму, но и форму герундия. Последний слог высказывания говорящего, после которого употребляется "backchannel", может также сопровождаться кивком. Тем самым "backchannels" произносятся не в случайных местах, но в определенные моменты, маркированные специальными средствами.

В отличие от японского, основным свойством контекстов, в которых возникают "backchannels" в английском, является их грамматическая завершенность. Так, японские частицы, завершающие предложение, могут помещаться внутри его границ, а английские "tag-questions" – только в конце полного предложения.

Автор объясняет отличительные черты "backchannels" в японском языке (их более высокую частотность и возможность употребления в моменты, не характеризующиеся грамматической завершенностью) особенностями японской культуры. Расхожим является представление о том, что японцы избегают конфликтных ситуаций и всегда озабочены тем, как ощущает себя другой человек. Принцип японской коммуникации – гармония с другими. Высокая частотность "backchannels" свидетельствует о том, что слушающий постоянно стремится создать говорящему комфортное ощущение того, что его слушают, понимают и поддерживают.

В статье [Tao, Thompson 1991] рассматривается проблема употребления "backchannels" в речи двуязычных говорящих, живущих в окружении, в котором доминирует неродной язык. Объектом исследования является речь носителей английского языка и мандаринского диалекта китайского.

Результаты предварительного сравнения этих двух языков показали, что "backchannels" произносятся в английском значительно чаще, чем в китайском. Различается и функциональная нагруженность этих средств в двух языках: в английском 19% backchannels – "продолжатели". Ни в одном из имеющихся примеров средство

обратной связи в китайском не является "продолжателем": все они либо сигналы понимания, либо подтверждения, либо согласия. Кроме того, в большей части случаев произнесению китайских "backchannels" предшествует пауза; говорящий на китайском стремится не прерывать речь собеседника.

Однако главным объектом анализа Тао и Томпсон стали беседы на мандаринском диалекте китайского двуязычных говорящих, родным языком которых является китайский. При этом для некоторых из них основным языком общения в момент исследования был английский, а для других – китайский. Различия в речи тех и других оказались очень значительными. "Англоговорящие" носители китайского произносили "backchannels" значительно чаще, с более сильным акцентом и с долготой; к тому же они часто употребляли английские "backchannels". Функция средств выражения обратной связи также сильно различалась: в речи первых значительно больший удельный вес принадлежал "продолжателям".

Итак, "англоговорящие" носители китайского продемонстрировали почти полный переход к английской манере употребления "backchannels". Исследование привело авторов к выводу о том, что у билингв, доминирующим языком общения которых стал неродной язык, наиболее впечатляющие изменения в родном языке наблюдаются в области прагматики, а не фонологии, лексикона или грамматики. Этот вывод коррелирует с результатами исследований детской речи. Так, [Hess, Johnston 1988] в статье, посвященной освоению детьми средств выражения обратной связи, утверждают, что частота "backchannels" в речи сильно увеличивается с возрастом. По данным Тао и Томпсон, употребление "backchannels" принадлежит к числу наиболее поздних речевых умений, приобретаемых ребенком; оно же в первую очередь утрачивается при переходе на другой язык.

Другая работа [Clancy, Thompson, Suzuki, Tao 1996] посвящена сопоставлению уже трех языков – английского, японского и мандаринского диалекта китайского. Авторы статьи подчеркивают, что круг их интересов не ограничивается "backchannels". Предметом исследования являются так называемые реактивные единицы (reactive tokens), т.е. "короткие реплики, которые произносит слушатель во время высказывания первого собеседника".

Среди реактивных единиц авторы выделяют пять типов. Во-первых, к ним относятся "backchannels", т.е. нелексические реплики, которые выражают интерес или понимание. В английском языке таковыми являются следующие: *hm, huh, oh, mh* и *uh huh*. Во-вторых, слушающий может произносить реактивные выражения (reactive expressions); характерными для английского являются следующие: *oh really, yeah, gee, okay, sure* и другие. Collaborative finishes, реплики слушающего, которые завершают предыдущее высказывание говорящего, – так называется третий тип реактивных единиц. В отличие от них, повторения (repetitions), четвертый выделенный тип, являются высказываниями слушающего, которые дословно повторяют какие-то слова первого собеседника. В отдельный тип были выделены также нелексические реактивные единицы, произнося которые слушающий, после короткой паузы, начинает собственное высказывание; они были названы "resumptive openers", т.е. реплики, подводящие итог уже сказанному и открывающие новое высказывание. Таким образом, если "backchannels" являются реактивным средством, которое не сопровождается переходом очереди, то "resumptive openers" сопутствуют смене говорящего.

Авторы собрали данные относительно общей частоты реактивных единиц в английском, японском и китайском; подсчитали относительную частоту единиц разных типов; выяснили, как часто смена говорящего сопровождается произнесением реактивной единицы. Они предположили, что анализируемые языки различаются тем, какой момент выбирает второй говорящий, чтобы произнести реактивную единицу, и исследовали соотнесение реактивных единиц с CTRP (с моментами, обладающими комплексом свойств, которые релевантны для смены говорящего).

Языки обнаружили целый ряд впечатляющих различий. Так, при сходном общем числе реактивных единиц в английском и японском, выяснилось, что американцы склонны помещать свои реактивные реплики в CTRP или в местах, характеризующихся грамматической завершенностью, в то время как японские говорящие гораздо чаще реагируют непосредственно во время речи собеседника. То, что кажется вежливым японцу, – обеспечить собеседника эмоциональной поддержкой в то время, как он говорит, – оказалось бы для американца обескураживающим: несвоевременное вторжение слушающего воспринимается скорее как отсутствие интереса ("*Да-да, я и так знаю, что ты хочешь сказать*"). С другой стороны, китайский обнаружил отличия от других языков уже на уровне общей частотности: говорящие на китайском произносят реактивные реплики существенно реже, чем японцы и американцы. Кроме того, реагируя, говорящий на китайском стремится произнести свою реплику только в CTRP. Иными словами, стратегия поведения слушающего в китайском состоит в том, чтобы дать говорящему возможность полностью высказаться, не потревожив его никакими проявлениями реакции. Тем самым американец оказывается в положении, промежуточном между японцем и китайцем: японский слушатель показался бы ему навязчивым, а китайский, наоборот, слишком сдержанным.

В одной из последних коллективных монографий, выполненных в рамках конверсационного анализа [IG 1996], описания "backchannels" в разных языках пополнены данными из финского. Статья [Sorjonen 1996], в отличие от описанных выше, не является сопоставительной и не претендует на обобщения относительно речевого поведения говорящего на финском языке. Цель этой работы – углубленное описание семантики двух единиц (частиц *niin* и *joo*) в довольно узком типе контекстов – в качестве реакции на повтор : – *Арто не может прийти.* – *Арто.* – ***Niin.*** Выясняется, что частица *niin* является реакцией на повтор, сделанный в рамках более обширного, еще не завершенного разговора. При этом тот, кто произносит *niin*, воспринимает повтор как выражение неуверенности: недоверия, удивления, непонимания. Частица *niin* обеспечивает подтверждение. Напротив, *joo*, как правило, является реакцией на такой повтор, который завершает определенную речевую деятельность. Этот повтор не обнаруживает проблемы в предыдущем разговоре, не выражает удивления или недоверия, но является своего рода регистрацией того, что было сообщено собеседником. Произнося *joo*, говорящий соглашается с выражением уверенности, которое содержится в повторе.

Пожалуй, из всех работ, рассмотренных в этой статье, последняя написана в манере, наиболее привычной для российского лингвиста. Принимаясь за описание конкретных лексических единиц, даже таких своеобразных, как междометия, мы почти автоматически прибегаем к лексикографическому подходу с его традиционными атрибутами: выделением значений, толкованием, созданием семантического метаязыка и т.п. Работы американских лингвистов производят сильное впечатление не только своими результатами, но и самим подходом к исследованию. Анализ таких языковых единиц, как междометия, почти неизбежно требует обращения к материалу устной речи, а специфика работы с устной речью рано или поздно вынуждает искать новые методы исследования. Американская дискурсивная лингвистика – яркий пример таких нетрадиционных методов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Добрушина Н.Р. 1997 – Семантика междометий в реактивных репликах // Вестник МГУ. 1997. № 2.

Кибрик А.А. 1994 – Когнитивные исследования по дискурсу // ВЯ. 1994. № 5.

Кибрик А.А., Плунгян В.А. 1997 – Функционализм // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997.

РРП 1995 – *Китайгородская М.В., Розанова Н.Н.* Русский речевой портрет. М., 1995.

РРР 1978 – Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978.
РРР 1983 – Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.
Dittman A.T., Llewellyn L.G. 1967 – The phonemic clause as a unit of speech decoding // Journal of personality and social psychology. 1967. 6.
Duncan S. 1974 – On the structure of speaker–auditor interaction during speaking turns // Language in society.
1974. 2.
Duncan S., Fiske D.W. 1977 – Face-to-face interaction: research, methods, and theory. Hillsdale, 1977.
Ford C.E., Thompson S.A. 1996 – Interactional units in conversation: syntactic, intonational, and pragmatic resources for the management of turns // E. Ochs, E.A. Schegloff, S.A. Thompson (Eds). Interaction and grammar. Cambridge, 1996.
Fries C.C. 1952 – The Structure of English. New York, 1952.
Hess L.J., Johnston J.R. 1988 – Acquisition of back channel listener responses to adequate message // Discourse processes. 1988. 11.
Ingve V. 1970 – On getting a word in edgewise // Papers from Sixth Regional Meeting. Chicago Linguistic Society. Chicago, 1970.
IG 1996 – Interaction and grammar / Ochs E., Schegloff E.A., Thompson S.A. (Eds). Cambridge, 1996.
Kendon A. 1967 – Some functions of gaze direction in social interaction // Acta Psychologica 1967. 26.
Maynard S.K. 1986 – On back-channel behavior in Japanese and English casual conversation // Linguistics 1986. 24.
Sacks H., Schegloff E.A., Jefferson G. 1974 – A simplest systematics for the organization of turn-talking for conversation // Language 1974. 50.
Schegloff E.A. 1982 – Discourse as an interactional achievement: some uses of 'uh huh' and other things that come between sentences // D. Tannen (ed). Analyzing discourse: Text and talk. Georgetown, 1982.
Sorjonen M.-L. 1996 – On repeats and responses in Finnish conversations // Ochs E., Schegloff E.A., Thompson S.A. (eds). Interaction and grammar. Cambridge, 1996.
Tao H., Thompson S.A. 1990 – English backchannels in Mandarin conversations: A case study of superstratum pragmatic 'interference' // Journal of Pragmatics. 1991. 16.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2000 г. А.В. БАРАНДЕЕВ

ТЕРМИНОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТРУДАХ Э.М. МУРЗАЕВА (1908–1998)

В обширном научном наследии выдающегося топонимиста Эдуарда Макаровича Мурзаева ведущее место занимают труды, посвященные лингвистическому изучению географической терминологии русского и тюркских языков. Первые работы по данной проблематике связаны с разысканиями автора в Средней Азии и отличаются реальным, полевым характером сбора фактического материала, получившего убедительную интерпретацию в статьях, опубликованных в 1939–48 гг. [Мурзаев 1939; 1940; 1948]. Весьма примечательно, что эти работы появились именно в то время (1931–39 гг.), когда закладывались основы отечественного терминоведения в трудах таких ученых, как Д.С. Лотте, Э.К. Дрезен, С.А. Чаплыгин, Г.О. Винокур, о деятельности которых Э.М. Мурзаев, безусловно, знал.

С полным основанием Э.М. Мурзаева можно считать основоположником современного географического терминоведения, поскольку, опираясь на труды своих предшественников, он создал принципиально новое направление в топонимических исследованиях, утвердившее исключительно важный статус географической терминологии, предполагающий, в частности, учет ее топонимообразующей функции, и заявил об этом уже в статье "Значение местных терминов в образовании географических названий" [Мурзаев 1962]. В докладе, сделанном четырьмя годами позже, ученый отмечал: "Любое топонимическое исследование не может игнорировать местную терминологию, а должно начинаться со сбора и систематизации простых географических терминов" [Мурзаев 1966: 3–6], ср. также [Мурзаев 1964].

Терминоведческая проблематика продолжала оставаться в центре внимания Э.М. Мурзаева и в последующее время. Так, в 1970 г. он публикует статью, которая начинается с ценных размышлений о неоднозначной квалификации географических терминов в топонимической литературе: "индикаторы", "номенклатурные", "нарицательные", "народные" [Мурзаев 1970]. Сам автор одинаково оперирует понятиями "номенклатурный термин" и "местный термин", хотя, по-видимому, осознает неудобство, связанное с неоправданной дублетностью. Творческая мысль ученого настойчиво ищет выход из некорректной ситуации, и уже спустя четыре года в "Очерках топонимики", куда в переработанном виде вошла названная статья как отдельная глава, встречаем определение "народная географическая терминология" [Мурзаев 1974]. Слово "народная" в этом определении вполне оправданно и не должно смущать исследователей, так как географическая терминология – это терминология, естественно (стихийно) сложившаяся в своем древнейшем фонде на основе национального языка. Народная географическая терминология отражает природно-климатические особенности различных зон и во все эпохи теснейшим образом связана с характером хозяйственно-практической деятельности человека, поэтому она представляет собой мощный и неисчерпаемый источник формирования и пополнения научной терминологии, что традиционно свойственно и ряду других генетически народных терминологий [Коготкова 1991].

Такие народные географические термины, как *гряда, сопка, грива, тайга, степь,*

тундра, прочно вошли в состав русской научной терминологии. Причем, по свидетельству О.Н. Трубачева, слово *степь* было заимствовано из русского в английский язык уже в XVI в. и фигурирует в шекспировском тексте ("Сон в летнюю ночь"), впервые опубликованном в 1600 г. [Фасмер 1987: 755–756]. Слово *тундра* известно как научный термин уже более 100 лет. Термин *тайга, тундра, степь, талик* заимствованы из русского в другие языки и стали международными (англ. *taiga, tundra, steppe*; нем. *Taiga, Tundra, Steppe*; фр. *taiga, toundra, steppe*; англ., фр. *talik*).

В изучении терминологии Э.М. Мурзаев выделяет две взаимообусловленные и тесно взаимосвязанные проблемы: 1) сбор, систематизация, лексикографическая каталогизация терминов разной языковой принадлежности и 2) выяснение сложных вопросов сравнительного анализа терминологии, изменения форм и содержания терминов в разных регионах, установление ареалов. При этом убедительно доказана разная степень топонимообразующей функции географических терминов, поскольку динамика топонимических систем демонстрирует как утрату термина в составе топонима (*Дунай*, а не *Дунай-река*; *Вахш*, а не *Вахшдарья*), так и утрату термином семантического содержания и превращение термина в формант (*-еньга, -юга, -уга* в финно-угорских гидронимах). Глубокое понимание диалектики соотношения между термином и формантом позволило ученому прийти к выводу о наличии переходных форм. Например, в гидронимии Киргизии элемент *-кол* в составе названий типа *Каракол*, *Улахол* не осмысливается местным населением как термин *река*. Однако в Центральной Азии монголоязычное население активно употребляет местный термин *гол* 'река'. Э.М. Мурзаев обосновал необходимость привлечения терминов для разработки надежных этимологий топонимов. Он считал, что "местный термин – универсальный ключ, который в умелых руках раскрывает многие простые и трудные задачи, как семантические, так и информационные, помогающие географам, историкам, лингвистам, картографам" [Мурзаев 1974: 99–100].

Постоянное внимание к вопросам географического терминоведения проявилось и в разработке объективных классификаций, помогающих осмыслить категориально-понятийный аппарат современной географии и топонимики. В частности, была предложена родовидовая характеристика географических терминов. К "родовым" отнесены обозначения ландшафтов, крупных элементов рельефа, гидрографии, почвенно-растительного покрова, географических зон (*возвышенность, гора, хребет, река, озеро, лес, пустыня* и т.п.). К "видовым" – обозначения ограниченных элементов природной среды, видов ландшафтов (*белок, голец, гребень, сырт, старица, затон, рукав* и т.п.). Вместе с тем было выявлено наличие переходных случаев в родовидовом статусе терминов, что иллюстрируется серией доказательных примеров. Так, на Алтае и в Туве *тайга* не только 'безлесная гора, голец', но и 'горный лес'; в Монголии – 'горные лесные дебри'; в России – 'большие массивы глухих, нетронутых лесов вообще, преимущественно хвойных' [Указ. соч.: 100 и далее]. Э.М. Мурзаев установил, что причиной такой переходности является семантический сдвиг, типично проявляющийся в географической терминологии и обусловленный сменой природных ландшафтов, или системы хозяйства, или типов населенных мест. В связи с этим семантика одного и того же термина может оказаться противоположной в двух соседних регионах, и термин может обозначать как положительную, так и отрицательную форму рельефа: *бор* 'болото' и 'сухая возвышенность среди болот' (см. [Указ. соч.: 101–102] со ссылкой на [Толстой 1969]). Эта выявленная ученым закономерность убедительно обоснована уже на материале "Словаря местных географических терминов" [Мурзаевы 1959][1]. Она стимулировала последующие топонимические исследования

[1] Научно неряшливая энциклопедия в одной из своих скупых персоналий сообщает, что авторами "Словаря местных георафических (sic!) терминов" являются Э.М. Мурзаев с братом – В.М. Мурзаевым. Это – курьезное недоразумение, поскольку в работе над словарем Э.М. Мурзаеву помогала его супруга – В.Г. Мурзаева. Кроме того, глухая квалификация ученого лишь как "автора популярных трудов" представляется явно искаженной и неполной (см. [Глухов 1997: 365]).

других авторов, помогая понять причину удивительной стабильности терминов на колоссальных ареалах, помогая прояснить семантику и этимологию некоторых затемненных и эндемичных топонимов и терминов (например, *созо́ны, лиман, ильме́нь, е́рик, гирло, узе́нь*) [Барандеев 1987; 1991], а также установить генетические связи между значительно удаленными топонимическими системами [Мурзаев 1974: 108–122].

Э.М. Мурзаев сформулировал и ряд других топонимических закономерностей, среди которых переход термина в топоним: монг. *говь* 'безводное место с пустынной растительностью'〉 пуст. *Гоби*; *каракум* 'неподвижные, заросшие пески'〉 пуст. *Каракумы* [Мурзаев 1960: 71; 1985]. Противоположный процесс связан с образованием терминов от топонимов: *Бескиды* 〉 укр. *бескид* 'утес, гора, крутой склон'; *Памир*〉 *памиры* 'плоские высокогорья с сыртовой геоморфологией'. Однако, разрабатывая методику топонимического исследования, ученый подчеркивал, что "наиболее правильным и плодотворным методом оказывается путь от нарицательного термина к собственному названию, а не наоборот" [Мурзаев 1974: 123].

Деликатно полемизируя с исследователями, отрицавшими возможность прямого отражения в местном географическом термине или топониме свойств обозначаемого им объекта, Э.М. Мурзаев аргументированно доказал, что местные термины и образованные от них топонимы очень часто, хотя и не всегда, прямо соответствуют географическому объекту, что определено ученым как "топонимический позитивизм". Данная закономерность особенно наглядно проявилась в результате детального и всеобъемлющего анализа анатомической лексики разных языков, отраженной в составе народной географической терминологии. Формулировка закономерности принадлежит к классическим достижениям современной топонимики: "Термины-метафоры строятся в однотипные ряды, в которых прослеживается универсальная способность превращения слов, обозначающих части тела человека и животных, в географические термины, обладающие преимущественно геоморфологической (орографической) и гидрографической семантикой" [Указ. соч.: 135]. В статьях "Заметки по географической терминологии Русской равнины", "Топоними́ка и ландшафты прошлого" [Мурзаев 1976а; 1979], как и в ряде других работ, вошедших впоследствии в монографию "Топонимика и география" [Мурзаев 1995], ученый убедительно показал, какой большой информационный потенциал заключают в себе топонимы с формантами типа *новина, пал, починок, сеча, чисть* и др., способствуя пониманию динамичности ландшафтов разных природных зон, помогая в их реконструкции.

В работах по терминоведческой проблематике Э.М. Мурзаев указывал, что народные географические термины формируют основной фонд научной терминологии, а заимствования из языков народов СССР обогатили "терминологическое хозяйство" русского языка. Выводы и обобщения, сделанные ученым, служат надежным ориентиром для новых поколений исследователей, которым близки и понятны его слова о том, что "зная народную географическую терминологию, можно точнее записать и глубже понять происхождение многих собственных имен. 〈...〉 В народных терминах, часто специфичных и узкоспециализированных, иногда скрывается указание на наличие полезных ископаемых, состав и характер растительного и почвенного покрова, форм и типов рельефа и многих других особенностей природной среды, как и на наличие тех или иных типов поселений, что имеет исключительно большое значение для топонимических исследований в помощь историку, географу, лингвисту" [Мурзаев 1974: 124]. Этим идеям Э.М. Мурзаев оставался верен и в своих последних работах, в которых он размышлял о физико-географических, этнокультурных, историко-культурных апеллятивах в топонимии, о русской географической лексике тюркского происхождения, о странствующих терминах [Мурзаев 1996].

Научное наследие ученого наглядно свидетельствует о его пионерской деятельности и в сфере географической терминографии. Заметным событием в изучении географической терминологии стало издание "Словаря местных географических терминов" [Мурзаевы 1959], отразившего терминологию, бытующую в языках народов СССР. Впрочем, как сознавали сами авторы, словарь смог лишь частично отра-

зить богатство русской географической терминологии, так как обнаружилась неравномерность распределения материала в региональном аспекте. Полнее и подробнее были представлены северные области Европейской России, Сибирь, Казахстан и Средняя Азия и менее детально – Белоруссия, Прибалтика, Молдавия, Грузия, Дальний Восток [Мурзаев 1980]. Этот объективный недостаток был успешно преодолен в принципиально новой, обобщающей работе – "Словаре народных географических терминов" [Мурзаев 1984], выгодно отличающемся полнотой фактического материала (3878 словарных статей) – в него включены все наиболее распространенные термины из языков народов СССР. Закономерно, что словарь построен на основе сравнительного метода с привлечением материалов из этих языков, в него также помещена географическая лексика языков зарубежной Европы и даже Северной Африки. Такой подход позволяет получить полное представление как об ареалах терминов, так и о вкладе национальных терминологий в развитие русской терминологии. Например, русский термин *гора* имеет следующие параллели: азерб. *даг*, узб. *тог*, кирг. *too*, казахск. *тау*, алт. *туу* и т.п. В русской научной терминологии получили широкое распространение многие народные термины из национальных языков: якутск. *алас* 'поляна, луг, равнина'; туркм. *такыр* 'глинистое ровное место, лишенное растительности'; карельск. *лайда* 'низменный берег, отмель, высыхающая при отливе' и др.

Лексикографическая структура словаря хорошо продумана: каждому термину посвящена специальная словарная статья, содержащая толкование термина и комплекс его значений; указаны языковые параллели и этимология; приведены топонимы, образованные на основе терминов; определены ареалы терминов и топонимов, причем, как справедливо замечает автор, ареал топонимов обычно шире ареала термина; в конце словарной статьи даны пространные ссылки на литературу о семантике и этимологии конкретного термина. Все термины поданы в словаре в русском написании. Э.М. Мурзаев сознавал сложность установления единой орфографии для терминов и топонимов, вошедших в русский язык из других языков, поскольку нередко один и тот же термин или топоним варьируется по написанию. Так, в Киргизии предпочитают раздельное написание термина в составе топонима, а в соседнем Казахстане – слитное, поэтому название города в Ошской области воспринимается как двухкомпонентное: *Кара куль* (в русском варианте – *Кара-Куль*), а ороним *Каратау* в Джамбулской области – как одно слово, хотя термин *кара* 'черный' семантически самостоятелен и, следовательно, графически вычленим. Термин *абад* 'город, селение' в составе названия казахстанского города *Джалал-Абад* пишется через дефис и с прописной буквы, но в Азербайджане этимологически аналогичный топоним *Джалилабад* принят в слитном написании.

Предметно-образный характер народного мышления отражен в серии терминов, образованных в результате метафорического переноса семантики: например, сиб. *вавилон* 'изгиб реки или дороги'; *наковальня* 'коническая гора с плоской вершиной' (Восточный Саян); арханг. *сковорода* 'плоский подводный камень' и т.п. Достаточно образны по своему происхождению и такие термины, как *мыльные родники* 'небольшие грязевые вулканчики в окрестностях Шемахи'; *плакун* 'скудный родник, роняющий капли-слезы'; *кривун* 'речная излучина на реках Сибири'; *лобовик* 'встречный ветер на озере Селигер' и др.

Во многих словарных статьях нашел удачное воплощение принцип историзма в интерпретации географических терминов. В частности, обращено внимание на тот факт, что с древнейшей эпохи объекты гидрографии играли важную роль в хозяйственно-практической деятельности человека как места рыбной ловли, охоты на бобров, как важные пути сообщения, пути, по которым развивались экономические и политические отношения между государствами и вообще создавались цивилизации, что не могло не отразиться в языке [Мурзаев 1993]. Наиболее показательна в этом отношении история термина *река* с относящимися к нему видовыми определениями, широко представленными в древнерусском языке, но не сохранившимися в современной терминологии: *ходовая река* 'судоходная река'; *тяглая река* 'река с сильным

течением, пригодная для строительства на ней мельниц'; *голодная река* 'река без рыбы или "малорыбная" река' и т.п. Напротив, судя по материалам словаря, в русской географической терминологии сохранилось употребление термина *река* со следующими определениями: *глухая река* 'тупиковый рукав реки, старое русло'; *сухая река* 'маловодная, пересыхающая река'; *черная река* 'река, собирающая болотные воды, черные из-за наличия в них органических соединений' и др. Словарь также показывает, что значительный пласт в системе современной терминологии представляют термины анатомического происхождения, вполне прозрачные по своей внутренней форме: *глаз* 'окно воды на болоте'; *горб* 'холм, бугор, гора'; *горло* 'ущелье, проход, устье реки'; *губа* 'залив реки с устьем в его глубине' и т.д.

Ряд терминов, содержащихся в словаре, заключает в себе интересную культурно-историческую информацию. Так, в русской терминологии бытует термин казахского происхождения *конур* (*коныр*) 'растительность темно-бурого коричневого цвета'. Термин известен в составе топонимов типа *Саменконур, Коныртау, Конырсу, Байконур*. Согласно этимологической версии, предложенной Э.М. Мурзаевым, последний топоним обозначает местность, богатую разнообразной полынно-злаковой растительностью темно-бурого цвета: *бай* 'богатый' и *конур* 'растительность' [Мурзаев 1976б].

Без преувеличения можно считать, что словарь Э.М. Мурзаева, как результат многолетней кропотливой работы, уникален, он ни в чем не уступает таким зарубежным и отечественным произведениям, как словарь под редакцией Л.Д. Стампа [СОГ 1975–76], современный географический словарь (более 1800 терминов) американских авторов [MDG 1986–87; Александрова 1989]; словарь, составленный И.С. Щукиным (5700 терминов) [Щукин 1980]; географический энциклопедический словарь (около 4300 терминов) [ГЭС 1988], а по ряду признаков (полнота и качество отбора фактического материала, способы его подачи и глубина лингвистического анализа, свобода от прочно укоренившихся в научной литературе застарелых ошибок при этимологизации отдельных терминов, например, *гúрло* и др., ареальная характеристика терминов, иллюстративно-доказательный материал) существенно превосходит некоторые из них [ТСФГ 1993; Барандеев 1994]. Словарь продолжает оставаться ценным источником для историко-лексикологических и лексикографических разысканий и нуждается в переиздании, становясь библиографической редкостью.

Ценное научное наследие Э.М. Мурзаева в области географического терминоведения требует детального осмысления, сохраняя свою актуальность для теории и практики топонимических исследований, для создания обобщающих трудов по истории русской терминологии. Это наследие убедительно свидетельствует об органичном единстве теории и практики в трудах самого ученого – одного из основоположников современной отечественной топонимики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александрова Т.Д. 1989 – Современная география "глазами" словаря // Изв. АН СССР. Серия геогр. 1989. № 5.

Барандеев А.В. 1987 – Гидрографические термины тюркского происхождения в "Книге Большому Чертежу" // СТ. 1987. № 5.

Барандеев А.В. 1991 – Формирование русской географической терминологии и топонимии в процессе межэтнических контактов XVI–XVII вв. в южнорусском регионе // Топонимика и межнациональные отношения. М., 1991.

Барандеев А.В. 1994 – Географический словарь: оценка лингвиста // Вестник Моск. ун-та. Серия 5: Географическая. 1994. № 3.

Глухов М.С. 1997 – Tatarica. Энциклопедия. Казань, 1997.

ГЭС 1988 – Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. М., 1988.

Коготкова Т.С. 1991 – Национальные истоки русской терминологии. М., 1991.

Мурзаев Э.М. 1939 – К географической терминологии туркмен // Изв. Гос. геогр. об-ва. 1939. Т. 71. Вып. 6.

Мурзаев Э.М. 1940 – К географической терминологии и номенклатуре киргизов Тянь-Шаня // Изв. Всес. геогр. об-ва. 1940. Т. 72. Вып. 3.
Мурзаев Э.М. 1948 – Этюды по топонимике Средней и Центральной Азии // Вопросы географии. Сб. 8: Зарубежные страны. М., 1948.
Мурзаевы Э.М. и В.Г. 1959 – Словарь местных географических терминов. М., 1959.
Мурзаев Э.М. 1960 – Местные географические термины // Транскрипция географических названий. М., 1960.
Мурзаев Э.М. 1962 – Значение местных терминов в образовании географических названий // Питання топоніміки та ономастики. Київ, 1962.
Мурзаев Э.М. 1964 – Основные направления топонимических исследований // Принципы топонимики. М., 1964.
Мурзаев Э.М. 1966 – Местные географические термины и их роль в топонимике // Местные географические термины в топонимии. Тезисы докл. и сообщ. М., 1966.
Мурзаев Э.М. 1970 – Местные географические термины и их роль в топонимии // Вопросы географии. Сб. 81: Местные географические термины. М., 1970.
Мурзаев Э.М. 1974 – Очерки топонимики. М., 1974.
Мурзаев Э.М. 1976а – Заметки по географической терминологии Русской равнины // Топонимика и историческая география. М., 1976.
Мурзаев Э.М. 1976б – Байконур // Рр. 1976. № 3.
Мурзаев Э.М. 1979 – Топонимика и ландшафты прошлого // Вопросы географии. Сб. 110: Топонимика на службе географии. М., 1979.
Мурзаев Э.М. 1980 – Словарь народных географических терминов // Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980.
Мурзаев Э.М. 1984 – Словарь народных географических терминов. М., 1984.
Мурзаев Э.М. 1985 – Географические термины в топонимии Москвы // Вопросы географии. Сб. 126: Географические названия в Москве. М., 1985.
Мурзаев Э.М. 1993 – Речные имена в исторической и современной географии // Топонимия России. М., 1993.
Мурзаев Э.М. 1995 – Топонимика и география. М., 1995.
Мурзаев Э.М. 1996 – Тюркские географические названия. М., 1996.
СОГ 1975–76 – Словарь общегеографических терминов / Под ред. Л.Д. Стампа. Т. 1–2. М., 1975–1976.
Толстой Н.И. 1969 – Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969.
ТСФГ 1993 – *Мильков Ф.Н., Бережной А.В., Михно В.Б.* Терминологический словарь по физической географии / Под ред. Ф.Н. Милькова. М., 1993.
Фасмер М. 1987 – Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1987 / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева.
Шукин И.С. 1980 – Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии / Под ред. А.И. Спиридонова. М., 1980.
MDG 1986–87 – *Small J., Witherick M.* A modern dictionary of geography. [б/м] 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2000

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Е.С. Отин. **Избранные работы.** Донецк: "Донеччина". 1997. 470 с.

Книга известного русского языковеда Евгения Степановича Отина "Избранные работы" объединяет в себе наиболее значимые статьи ученого, вышедшие за последние 30 лет (1968–1997), что позволяет оценить широту его интересов и глубину проникновения во многие лингвистические проблемы, особенно в области ономастических разысканий.

В книге имеется шесть разделов. В разделе "Грамматика" помещены четыре статьи, посвященные некоторым лексико-грамматическим вопросам, связанным с историей оформления чужой речи в русском языке. Тематически эти статьи примыкают к кандидатской диссертации Е.С. Отина "Модальные отношения в конструкциях чужой речи и средства их выражения в русском языке XIII–XVII вв.", защищенной в Днепропетровском университете в 1963 году и интерес к проблематике которой автор сохранил до настоящего времени. В статьях основное внимание уделено не только и не столько грамматическим проблемам, сколько словам, сопровождающим чужую речь и выражающим ее конденсацию, подразумеваемое перечисление.

Во втором разделе (лексикологическом) "Из истории слов и фразеологизмов" представлено пять статей, раскрывающих интересные детали истории слов *товарищ, харчи, меланхолия* и *ипохондрия* и выражения *разводить антимонию*, а также элемента *-гейт* (=англ. *gate* "ворота") со значением "скандал", выделенного из названия вашингтонской гостиницы "Уотергейт", причем отмечается, что элемент *-гейт* в газетном языке публицистов может употребляться как самостоятельное слово со значением "скандал (преимущественно политический)"; такого рода наблюдения Отина говорят о том, что он не чужд занятиям и современным языком, интересуется живыми (синхронными) процессами, в нем происходящими.

Если в первой части книги, состоящей из двух названных разделов, сгруппированы статьи о нарицательной лексике, то вторая часть объединяет работы, свидетельствующие об особом интересе автора к именам собственным, которые стали объектом его разысканий уже в докторской диссертации "Гидронимия Юго-Восточной Украины" защищенной в Киеве в 1974 году.

Наибольшее число статей рецензируемого сборника и посвящено как раз изучению имен собственных и смежных явлений. Вторая часть книги включает в себя четыре раздела ("Теоретические вопросы ономастики", "Русская ономастика", "Украинская ономастика", "Древнерусская ономастика"), содержание статей которых противопоставляется не очень строго, поскольку все они построены преимущественно на материале древнерусского, русского и украинского языков, а последние составляют нечто единое в рамках восточнославянского языкознания на общей исторической базе – древнерусском языке.

Отличительная черта всех работ Отина – богатейший фактический материал, собранный в процессе разысканий, как извлеченный из самых неожиданных письменных источников, так и записанный в условиях полевой работы на местах, что всегда придает выводам автора особую убедительность.

Большое количество фактических данных преимущественно восточнославянских языков в их историческом развитии содержится в восьми статьях раздела "Теоретические вопросы ономастики". В этих статьях частично трактуются проблемы структуры топонимов в связи с выделением в них элементов, которые оказываются псевдо-

суффиксальными из-за их инородного происхождения и паронимической аттракции в ономастической и апеллятивной лексике. В статье "Геральдика и топонимика" показано, как реальное или народно-этимологическое осмысление топонимов сказывается на содержании гербов российских городов. Любопытны соображения автора по поводу метонимических переносов в области названий рек и населенных пунктов и относительно преодоления возникающей здесь омонимии.

Безусловный интерес представляют разыскания Е.С. Отина на стыке разных видов собственных имен (о непересоформленных личных именах в функции гидронимов, о метонимических связях названий поселений и рек и их дифференциации), а также на стыке имен собственных и нарицательных, в связи с движением нарицательных имен в собственные и наоборот. Здесь отметим статьи "Развитие коннотонимии русского языка и его отражение в словаре коннотонимов" и "Вторичная топонимизация коннотативных географических названий". Коннотонимами (коннотативными названиями) у Е.С. Отина едва ли удачно именуются имена собственные, получающие понятийную окрашенность (коннотацию) и становящиеся нарицательными, причем в некоторых случаях они вторично могут втягиваться в сферу имен собственных, что особенно характерно для топонимов. Эти статьи представляют собой как бы теоретическое обоснование для большого "Словаря собственных имен, употребляемых в переносном значении", материалы которого автор публикует в разных изданиях уже почти 20 лет[1].

Ярким примером смелой постановки проблемы, сопровождающейся строгим анализом материала, является довольно значительная по объему статья 1970 г. "Из этимологических исследований донской гидронимии (к вопросу о первичном звене в коррелятивной паре *битюг // Битюг*)" в разделе "Русская ономастика". Именно строгость анализа большого, но пока малоговорящего для этимологии и ономастики материала не позволила автору сделать окончательные выводы, и проблема остается еще нерешенной до настоящего времени. Автор склонен видеть в загадочном гидрониме *Битюг* старый тюркизм, соотносительный с тюркским прилагательным со значением 'большой, великий' (первоначально "высокий") типа **bedük* (ср. тув. *бедик*, хакас. *пöзік*, туркм. *бейик*, тат. *биек*, *бөек* и т.п.), в котором в интервокальном положении реализовано чередование *д – з – й – р – т*, причем форма с *т* должна быть представлена в качестве якутского рефлекса, но на якутской почве это слово, кажется, не зафиксировано. Ареально-фонетические трудности усугубляются чувашским рефлексом *пысăк* вместо ожидаемого **парă(к)* в чувашско-булгарском ареале, на который возлагал надежды Е.С. Отин. В данном случае мы имеем дело с четкой постановкой исследовательской задачи, решение которой зависит от обнаружения нового материала и его анализа на более широком фоне.

Несомненно ценными представляются монографические разыскания об отдельных топонимах со сложной историей: *Таганрог*, *Цимла* (в разысканиях об этом речном названии принимал участие и рецензент), *Осерёд*, *Калитва*, *Усёрд*, *Самара*, *Жигули*, *Белгород*, *Мценск*, *Харьков*, *Донецк*, *Саур-Могила* и др. Сюда примыкает серия разысканий под общим заглавием "Топонимия Куликова поля", в связи с чем О.Н. Трубачев обратил внимание на "птичью" природу топонима *Косово поле* в Сербии: первое связано с названием птицы *кулик*, а второе с *кос* "дрозд". Среди этих разысканий этюды о названиях *Белгород* и *Мценск* представляют собой ономастические материалы для будущей "Русской энциклопедии".

Комплексный топонимический анализ географических названий ограниченного региона на базе полевых материалов и материалов письменных источников блестяще осуществлен Е.С. Отиным в статье "Географические названия крымских греков в топонимии Северного Приазовья", где на высоком профессиональном уровне рассматриваются исторические изменения и взаимодействие греческих (румейских), тюркских (урумских) и славянских (русско-украинских) форм томонимов в местах расселения мариупольских греков.

Включение Е.С. Отиным в сборник его весьма любопытного этимологического этюда о топониме *Харьков* (река *Харьков* → город *Харьков*), где собран и проанализирован большой материал в пользу традиционного выведения топонима от формы *Харькó* личного имени *Харитон* (и *Захар*), является стимулом к продолжению спора, который возник в связи с моей попыткой объяснить этот топоним из иранских или германских языков на

[1] См., например [Отин 1996] со списком предыдущих публикаций материалов.

основании алано-германских изоглосс **här* "серый" → "седой" → "старший" → "большой" (ср. осет. *хäр* "серый" в составе *хäрäг* "осел" – немец. *Herr* "господин") и **qäu* "область" (осет. *хъäу* "селение" – немец. *Gau* "область"). В пользу аланско-германской этимологии топонима *Харьков* говорит ударение в нем на первом слоге (в отличие от конечного ударения в *Харькó*), а также несколько неожиданный мужской род гидронима, чего не было бы при славянском этимоне. Название города восходит к гидрониму *Харьков*, а последний отражает название местности, по которой протекает соответствующая река.

Из личных именований людей в книге рассматриваются лишь фамильные проименования, чему посвящены три статьи, в одной из которых тщательно и всесторонне анализируется довольно редкая фамилия самого автора *Отин*, явно соотносительная со старым русским этническим названием отдельных представителей поволжского финно-угорского народа удмуртов – *отяк, отин* и т.п., о чем мы когда-то говорили с автором. Иные обсуждаемые сближения, как показывает сам автор, представляются менее вероятными и даже ошибочными.

Другая статья историко-этимологического содержания «Отражение украинско-российских и украинско-тюркских контактов в "Реестрах войска запорожского" 1649 года» интересна по содержанию, но вызывает возражения анахроничностью формулировок, принятых в независимой Украине: прилагательное *украинский* в XVII в. соотносилось исключительно с географическим термином *украина* – "о к р а и н а (Речи Посполитой – Польши)", который в это время только превращался в собственно топоним, а производное прилагательное не имело еще этнического содержания, поскольку Польскую украину населяли *русь, казаки* и *поляки*, причем *русь* и *казаки* еще не слились в один этнос, а само *казачество* еще не гомогенизировалось и представляло собой пеструю смесь разноэтнических элементов, как бы напоминая о первоначальном содержании тюркского термина *казак*, передаваемом в тюркско-арабском словаре 1245 года арабским словом *алмуджаррад* "бродяга, одинокий, лишенный, голый, простой". Русское население Польской окраины противопоставлялось московскому только территориально, а не этнически, что хорошо видно из анализируемого в статье ономастического материала.

Фантастические индексовые именования персонажей типа *P13* в романе Е. Замятина "Мы" как своеобразный художественный способ раскрытия идей этого произведения стали предметом отдельной статьи, написанной в соавторстве с ныне покойной супругой Е.С. Отина кандидатом филологических наук Н.В. Максимовой[2].

Особого упоминания заслуживают все три статьи заключительного раздела "Древнерусская ономастика", посвященные соответственно обстоятельному анализу речных названий *Калка* и *Каяла*, а также половецкого племенного названия *Таргол(ове)*, самым тесным образом связанных с важными событиями русской истории конца XII – начала XIII вв. Относительно первой статьи о *Калке* приходится пожалеть, что в книге воспроизведен ранний (и менее четкий) вариант статьи 1976 года, а не более компактная и богатая идеями и литературой ее версия в монографии Е.С. Отина [Отін 1977, 9–16]. Зато исключительно ценная по своим итогам для изучения "Слова о полку Игореве" глава монографии 1977 г. о загадочном речном названии *Каяла*, оставшаяся неизвестной для составителей петербургской пятитомной «Энциклопедии "Слова о полку Игореве"» 1995 года, воспроизводится из этой монографии без изменений и делается более доступной для любителей и профессионалов этого интереснейшего памятника древнерусской литературы XII века, как и разыскание о названии половецкого племени *тарголове*, которыми, по летописным данным, был пленен князь Игорь в 1185 году. Если применительно к названию реки *Каяла* Е.С. Отину удалось убедительно доказать наличие в прошлом в Северном Приазовье тюркских названий рек типа *Кайалы* "скалистая", то довольно-таки сложное этимологическое объяснение этнонима *тарголове* требует дополнительного рассмотрения в поисках более простого решения хотя бы в духе этимологии А. Зайончковского, видевшего здесь тюркское мастеобозначение *таргыл* "тигровая масть", с чем Е.С. Отин активно полемизирует.

Исследования Е.С. Отина всегда отличает основательность в знании источников и литературы по трактуемым вопросам, поэтому выглядит досадным исключением, несмотря на обстоятельность, статья "Лимнографические термины *Ильмень* и *лиман* в топонимии Восточной Украины и Подонья

---

[2] К сожалению, место первой публикации этой статьи 1995 года в ее выходных данных не указано.

(к вопросу о взаимодействии смежных близкородственных онимичных полей)" (1994), в которой не учтены относящиеся к этой проблематике статьи А.В. Барандеева и Г.К. Валеева [Барандеев 1981; Валеев 1988].

Интересный, иногда даже парадоксальный, фактический материал в оригинальной авторской аранжировке (статьи напечатаны на русском, украинском и немецком языках) компенсирует те трудности восприятия, которые возникают у читателя из-за несколько тяжеловатого стиля изложения, так как автор, стремясь к точности и однозначности выражения, пользуется, возможно не всегда оправданно, большим количеством не стабилизировавшихся терминов.

Книга, выпущенная издательством "Донеччина", в целом радует хорошим оформлением, хотя размещение начала каждой статьи обязательно на нечетной (правой) странице породило немало пустых четных (левых) страниц, что выглядит несколько непривычно и неоправданно.

Есть некоторое количество опечаток, а также недостатков, связанных с компьютерным набором, из которых отметим два.

Статья «Топонимическая метонимия (вид связи "гидроним – ойконим")», впервые напечатанная в 1980 г. [Перспективы... 1980], воспроизведена в "Избранных трудах" без подстрочных примечаний, которые должны были быть напечатаны в конце статьи, но были утрачены при компьютерной верстке.

Можно также отметить несовпадение нумерации ссылок на литературу в статье о гидрониме *Каяла* и в списке литературы при этой статье.

Любопытно отметить, что из 39 статей сборника 3 относится к 60-м годам, 9 – к 70-м, 12 – к 80-м, а 15 – к 90-м, что служит ярким показателем возрастания творческой активности автора. Если к тому еще добавить, что под ответственной редакцией Е.С. Отина начиная с 1994 года почти ежегодно выходит "Восточноукраинский лингвистический сборник" (в 1999 году вышел его пятый выпуск), где в каждом из вышедших пяти выпусков Е.С. Отину принадлежит от одной до четырех статей, то приходится только радоваться столь большой работоспособности автора и пожелать ему дальнейших успехов.

"Избранные работы" Е.С. Отина в представленном виде демонстрируют и широту научных интересов ученого и глубину его проникновения в суть рассматриваемых проблем, но все же не исчерпывают всей его разносторонности, что могло бы быть отражено в библиографии его трудов (желательно аннотированной), которой явно не хватает в этом издании. Так что хотелось бы выразить надежду, что такая библиография будет приложена к другому сборнику работ Е.С. Отина, и в нее войдут в том числе и его разыскания о проникновении арготических слов в русское просторечие, печатающиеся под общим названием "Материалы к словарю субстандартной лексики" в "Восточноукраинском лингвистическом сборнике".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барандеев А.В. 1981 – Ильмень и лиман // РР. 1981, № 6.

Валеев Г.К. 1988 – Откуда "пришли" Ильмены // РР. 1988, № 5.

Отін Є.С. 1977 – Гідроніми Східної України. Київ. Донецьк, 1977.

Отин Е.С. 1996 – Из коннотативного словаря русских онимов (буква Ф) // Восточноукраинский лингвистический сборник. Вып. 2. Донецк, 1996.

Перспективы... 1980 – Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980.

И.Г. Добродомов

***L.N. Zybatow.* Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka.** Harrasowitz–Verlag: Wiesbaden, 1995, 350 S.

Процессы, происходящие в русской речи последнего десятилетия и затрагивающие нормы литературного языка, привлекают к себе пристальное внимание филологов-русистов. Результатом такого профессионального анализа изменений в русской литературной речи явился ряд солидных публикаций последних лет, например, коллективная монография о русском языке конца XX столетия [РЯКДС 1996] или вышедшая уже вторым изданием работа В.Г. Костомарова [Костомаров 1994; 1997]. Ряд работ опубликован за рубежом. Одной из них является книга профессора Биле-

фельдского университета (ФРГ) Л.Н. Цыбатова, посвященная изменениям в публицистическом стиле русского литературного языка, в массовом порядке заявившем о себе с конца 80-х гг. на страницах российской периодической печати.

Автор рассматривает язык российской прессы конца 80-х – начала 90-х гг., исходя из предположения о том, что в основе процессов, приводящих к изменениям в привычном инвентаре номинативных единиц (лексика и фразеология) публицистического стиля, отчасти в его синтаксисе, а также в характере и наборе используемых в нем текстовых жанров (Textsorten), лежат процессы изменения мыслительных и речевых стереотипов в самом широком смысле слова. Сразу же отмечу, что интерес к исследованию роли стереотипов, первоначально характерный для социальной психологии и социологии, распространившись впоследствии и на лингвистику, оказался чрезвычайно плодотворным, и рецензируемая работа подтверждает это. Именно теоретический подход Л.Н. Цыбатова к языку российской прессы и осмысление языкового материала на этой основе прежде всего и делают его книгу интересной для российского читателя.

Общетеоретические позиции автора обоснованы им в главе I «Стереотип, слово и текст», которая посвящена использованию понятия «стереотип» в различных гуманитарных науках. В ее первом разделе рассматривается понятие стереотипа в социальной психологии, социологии, герменевтике, культурологии и литературоведении. При этом стереотип в применении к языковому материалу понимается Л.Н. Цыбатовым как традиционное стабильное обобщение относительно некоторого X, на которое пользующийся данным языком опирается при восприятии и производстве языковых высказываний (с. 23–24). Во втором разделе разбирается соотношение понятия стереотипа как концептуальной величины и лексического значения как лингвистической величины. Автор подчеркивает, что между этими понятиями нет взаимнооднозначного соответствия и что существуют минимум четыре вида стереотипического "прочтения" языковых выражений. Основываясь на этом положении, он предлагает уточненное понимание стереотипа как стабильного обобщения относительно некоторого X, которое ментально представлено приписыванием X определенных свойств (с. 52), и считает необходимым различать четыре вида языковых стереотипов. К ним относятся: 1) семантические стереотипы (Bedeutungsstereotypen), отражающие свойства, которые присущи концептам категорий и определяют их семантическое значение (*чашка – вода*); 2) ассоциативные стереотипы (Assoziationsstereotypen), представляющие собой выражаемые в форме предикаций типичные для данного общества представления (Erwartungshaltungen) о членах категории X; они могут соотноситься, например, с терминами родства и обозначениями социальных в широком смысле групп (*теща, немец, русский, интеллигенция*), а также некоторых предметов (*море, дом, автомобиль*); 3) интерпретационные стереотипы (Interpretationsstereotypen), выражающиеся в приписывании некоему X свойств, вызывающем зависимое от дискурса понимание политических или социокультурных понятий либо предпочтительную интерпретацию многозначного слова (*свобода, демократия, перестройка*); 4) метафоризационные стереотипы (Abbil-dungsstereotypen, буквально – «стереотипы отражения»), представляющие некое понятие X в свете другого, более близкого (*Европа как общий дом*).

Понятийный аппарат, разработанный в главе I, применен к анализу конкретного материала в главе II «Стереотипы и семантические изменения». Наиболее подробно рассмотрены изменения интерпретационных, метафоризационных и ассоциативных стереотипов, фиксированных в слове и его лексико-семантических связях. При этом автор совершенно справедливо исходит из известного положения о зависимости ключевых слов, обозначающих политические и социокультурные понятия, от политической ориентации дискурса, в котором они употребляются. Завершается глава разделом, в котором показывается, как стереотипы создаются и используются в тексте. Рассматривая стереотипные высказывания как оценочные суждения, Л.Н. Цыбатов приводит примеры их выражения с помощью первичных предикаций (предложения типа *Немцы – это великая нация*) и вторичных предикаций (атрибутивные словосочетания типа *трудолюбивые болгары*) и их эксплицитного и имплицитного использования. Интересен анализ индикаторов имплицитно выраженных стереотипов – ряда союзов и модальных частиц. В конце раздела детально разобран текст «Автостопом по Европам» с целью показать, какие именно стереотипы использованы журналистом на разных участках структуры текста и какую роль они играют при восприятии текста читателем.

Глава III «Прагматические изменения» посвящена изменениям, протекающим в языке политического дискурса на страницах российской прессы с конца 80-х гг. Автор рассматривает их с позиций теории Р. Келлера, согласно которой языковые изменения за небольшим исключением представляют собой спонтанный, непреднамеренный и неосознаваемый побочный эффект коммуникативной деятельности (с. 186). При этом он считает, что процессы, происходящие в современном русском языке, еще не позволяют говорить об изменениях языка в целом, а лишь являются разнообразными языковыми свидетельствами частных изменений, которые только могут закрепиться в будущем или снова исчезнут. Изменения в языке современного политического дискурса, особенно заметные на фоне газетного «новояза» советского времени, анализируются Л.Н. Цыбатовым в разделах, составляющих основную часть главы III (с. 213–283).

Для нужд научного описания этих процессов он предлагает концепцию языковых изменений, учитывающую прагматический аспект различных форм существования языка (sprachliche Varietäten) и текстовых жанров. Прилагая эту концепцию к анализу языкового материала, автор разграничивает два вида изменений, характерных для публицистического стиля русского языка наших дней: 1) микроизменения, к которым относятся случаи обогащения используемого журналистами словаря путем заимствования иностранных слов, создания новых слов с помощью различных способов словообразования и использования субстандартных лексики и фразеологии и отдельных синтаксических структур, и 2) изменения текстовых жанров, проявляющиеся в изменениях их коммуникативных деятельностных стереотипов, что выражается в смешении текстовых жанров (Textsortenmischung) и возникновении новых текстовых жанров (Entstehung neuer Textsorten). Как и в предыдущих главах, наряду с русским материалом привлекаются тексты из болгарских, польских и чешских газет, свидетельствующие о протекании аналогичных процессов и в публицистическом стиле других славянских литературных языков.

В заключении автор подчеркивает, что его исследование представляет собой своеобразный моментальный снимок современного состояния русского языка и претендует лишь на выявление отдельных направлений происходящих в нем изменений, дальнейший ход которых, впрочем, сейчас не предсказуем. Завершают книгу библиография, дающая достаточно полное представление о состоянии разработки интересующих автора вопросов к середине 90-х гг., и приложение, содержащее образцы текстовых жанров, характерных для российской прессы конца 80-х – начала 90-х гг.

Работа Л.Н. Цыбатова не только побуждает читателя к совместному с автором размышлению над процессами, происходящими в русской речи на наших глазах и так или иначе затрагивающими всех носителей русского литературного языка. Она приглашает задуматься и над формулировками, подходами и оценками, предлагаемыми в ней. При этом, естественно, российский читатель, а тем более читатель-филолог, не со всем может согласиться.

Прежде всего необходимо отметить, что исследуемые автором процессы происходят не в русском языке в целом, как заявлено автором уже в заглавии работы, но лишь в одном из функциональных стилей русского литературного языка – в его публицистическом стиле, представленном текстами СМИ, в частности, газетно-журнальными текстами. Именно по отношению к этим текстам и мог бы быть уместен вопрос «Камо грядеши?» (с. 1). Однако следует иметь в виду, что эта формулировка при всей ее выразительности все же некорректна и по отношению к данному функциональному стилю, как, впрочем, и к любому другому. Ни один функциональный стиль не меняется сам по себе: он формируется, существует и реформируется в ходе осознанного отбора языковыми личностями (всем языковым коллективом либо той или иной профессиональной группой) соответствующих поставленным целям выразительных средств для создания текстов, в наличии и использовании которых эти языковые личности по тем или иным причинам заинтересованы. Когда же речь идет о публицистическом стиле, то языковые личности (журналисты) руководствуются при этом еще и стремлением использовать такие языковые средства, которые позволили бы максимально эффективно воздействовать на читателя в желаемом для данного СМИ направлении. При этом, отбирая языковые средства, специфические для данного дискурса (политического, спортивного и т.д.) в рамках публицистического стиля, журналисты учитывают общий уровень образованности и языковые ожидания того круга читателей, на который рассчитан данный орган печати, и в результате создают на

базе литературного языка своеобразный «вторичный» микроязык, специализированный вариант литературного языка, позволяющий порождать и однозначно понимать тексты определенного содержания, регулярно помещаемые в соответствии с ним на одних и тех же тематических полосах одного СМИ или многих, объединенных общей политической ориентацией. Естественно, что в словарный состав такого микроязыка в зависимости от потребностей обслуживаемого им дискурса могут включаться номинативные единицы не только собственно публицистического, но и других функциональных стилей, а также устных, в том числе и нелитературных, форм существования языка в той мере, в какой это не будет противоречить ожидаемому совокупным читателем языковому воплощению текстов данного дискурса.

Представляется, что именно эта особенность отношения участников дискурса к языку, в которой как раз и отражается их межгрупповое взаимодействие, недостаточно учитывается автором в главе III, когда он сводит причины появления разговорной, просторечной, жаргонной и даже матерной лексики в текстах русской газетно-журнальной публицистики перестроечного и послеперестроечного времени только к давлению некодифицированных подсистем русского языка на стандартный русский язык (с. 223, 228). Одного давления субстандартной лексики на речь носителей стандартного кодифицированного языка, т.е. ее знания и эпизодического или регулярного использования ими в соответствующих ситуациях, далеко не достаточно для ее появления на страницах периодической печати. Для того чтобы она там появилась, да еще в масштабах, вызвавших вполне понятное беспокойство образованной читающей публики, по крайней мере часть журналистов одного СМИ должна была быть готова употребить эту лексику в своих текстах, а часть читателей должна была быть готова воспринять ее появление в прессе как должное, тем самым признавая его вполне уместным. Такое одновременное совпадение взглядов хотя бы части журналистов и читателей на использование субстандартной лексики на страницах СМИ оказывается возможным в том случае, если и те и другие в равной мере – одни вполне осознанно, другие скорее интуитивно – оценивают ее употребление в печати как явно соответствующее тому феномену, который В.Г. Костомаров назвал языковым вкусом эпохи [Костомаров 1994: 21 и сл.]. Поэтому думается, что вопрос «Камо грядеши?» следовало бы отнести именно к языковому вкусу некоторой части современных российских производителей и потребителей текстов публицистического дискурса.

Другим важным для работы Л.Н. Цыбатова понятием является понятие дискурса, который он определяет как виртуальный корпус текстов, составляемых в соответствии с определенным образом обоснованными критериями (например, с учетом временных, региональных, социальных или относящихся к природе медиума ограничений). Эти тексты соотнесены с какой-либо темой или с каким-либо понятием, а равно – эксплицитно или по крайней мере имплицитно – и друг с другом (с. 71). Автор рассматривает те или иные политические дискурсы как языковые проявления существования коллективных политических субъектов. В соответствии с таким пониманием политических дискурсов Л.Н. Цыбатов считает возможным говорить о наличии в рамках этого родового понятия его видовых спецификаций – дискурсов демократов, либералов, радикалов, западников, деморосcов, консерваторов и т.д. (с. 72). Однако вопросу о языковых различиях между дискурсами различной политической ориентации уделено гораздо меньше внимания, чем он того заслуживает. Так, например, различия между дискурсом демократов и дискурсом консерваторов отнюдь не исчерпываются только различиями в значениях и толкованиях ключевых слов или разным отношением к архаизмам и церковнославянизмам. Сюда же можно было бы отнести, скажем, просматривавшиеся уже в начале 90-х гг. различия в степени использования субстандартной лексики или всевозможных острот, основанных на игре слов. К сожалению, эта сторона дела оказалась вне поля зрения автора.

Оперируя понятием «дискурс» применительно к текстам российской прессы 1989–1993 гг., Л.Н. Цыбатов должен был бы, на мой взгляд, обратить внимание читателя на то, что далеко не все использованные им тексты относятся к политическому дискурсу. Так, текст «Автостопом по Европам. Трудно нашему жить по-ихнему», детально проанализированный на с. 165–181, или текст «Там, где пехота не пройдет», рассмотренный на с. 254–256, представляют собой соответственно путевые заметки и лирический монолог.

Остановлюсь на обсуждаемых автором процессах, протекающих в сфере текстовых жанров публицистического стиля и ведущих к изменениям в ней. Это прежде всего процессы смешения текстовых жанров, в

ходе которых, по Л.Н. Цыбатову, смешиваются: а) письменные текстовые жанры публицистического стиля и текстовые жанры устной словесности или текстовые жанры, существовавшие до 90-х гг. исключительно в устной форме, что, по-видимому, характерно для современного публицистического стиля в целом; б) текстовые жанры публицистического стиля и текстовые жанры научного стиля, что свойственно, по мнению автора, демократическому дискурсу; в) текстовые жанры публицистического стиля и религиозные, фольклорные (былина, сказка) текстовые жанры и текстовые жанры художественной литературы, что истолковывается как отличительный признак консервативного дискурса; и г) текстовые жанры дискурсов различной политической ориентации внутри публицистического стиля.

Автор нигде не дает строгого определения понятию «смешение текстовых жанров», и читатель, основываясь на лексическом значении немецкого существительного *Mischung* и его русского эквивалента *смешение*, вправе предположить, что Л.Н. Цыбатов имеет в виду процессы взаимопроникновения двух смешиваемых объектов, в данном случае текстов различной жанровой принадлежности, на всех уровнях структуры текста. Поэтому тем более неожиданным оказывается понимание автором этих процессов как одностороннего обогащения собственно публицистических текстовых жанров элементами других текстовых жанров, в частности, устных, бытующих в условиях неформальной коммуникации, или письменных, характерных, например, для научного стиля или художественной литературы (с. 235, 258, 259). Результатом такого однонаправленного контакта текстовых жанров различной стилистической принадлежности в рассмотренных автором случаях является проникновение в публицистические текстовые жанры иностилевых лексического материала и (отчасти) синтаксических особенностей. Иначе говоря, речь может идти об изменениях только на лексическом и в определенной мере на синтаксическом уровне, вызванных, если придерживаться ви́дения этих процессов Л.Н. Цыбатовым, регулярным или эпизодическим подмешиванием иностилевой лексики и иностилевых синтаксических структур к традиционным литературно-языковым выразительным средствам, создающим общий фон публицистического дискурса.

Что же касается лежащей в основе каждого текстового жанра и тем самым конституирующей его деятельностной программы или деятельностного стереотипа (Handlungsmuster), то включение в текст иностилевой лексики или предложений с необычными для данного текстового жанра синтаксическими особенностями не нарушает ее, и, следовательно, говорить в этих случаях об изменениях текстовых жанров как таковых (Textsortenwandel), с моей точки зрения, оснований нет. Особенно хорошо это видно на примере уже упоминавшегося и подробно проанализированного в работе в другой связи текста «Автостопом по Европам. Трудно нашему жить по-ихнему», который его автор сам совершенно справедливо отнес к традиционному для русской прессы и литературы жанру путевых заметок несмотря на обилие в нем субстандартной лексики (*бредятины*, *испаряться* в значении «исчезать», *тусовка*, *чернуха*, *сопляк*, *мандражить*, *чмо* и т.п.) и синтаксические конструкции типа *Не то слово*; *Так я же не врубаюсь*; *Всему миру было наплевать на...*

Тем не менее тексты, обнаруживающие признаки разных текстовых жанров и на уровне деятельностного стереотипа, лежащего в их основе, также существуют. Однако, насколько я могу судить, в этих случаях имеет место не перенос отдельных коммуникативных речевых действий из одного деятельностного стереотипа в другой, как полагает Л.Н. Цыбатов (с. 239), а сопряжение двух деятельностных программ в границах одного текста. Таким текстом является, например, частично процитированная на с. 239–240 статья из «Независимой газеты», в начало которой встроен политический анекдот. К сожалению, нельзя пока что сказать, сколь часто российские журналисты обращаются к этому приему создания публицистических текстов и, следовательно, каков удельный вес таких текстов в современном общественно-политическом дискурсе.

Далее автор особо выделяет процессы возникновения новых текстовых жанров (Entstehung neuer Textsorten). К новым для российской прессы текстовым жанрам он относит наряду с листовками, лозунгами, предназначенными для скандирования на демонстрациях, политическими анекдотами, краткими изложениями партийных платформ, брачными и рекламными объявлениями (с. 258) комиксы, объединяющие в себе текст и изображение (с. 264), а также публикации, содержащие критику советской эпохи российской истории или полемику по вопросам современной политической жизни

(с. 257). Основную часть этого списка составляют текстовые жанры, которые действительно не были представлены в российской прессе до конца 80-х гг. Однако комиксы нельзя рассматривать как текстовый жанр, совершенно новый для российской прессы: истории в картинках часто печатались в популярных детских журналах советского времени, так что наполнить их новым содержанием было лишь делом техники. Выделение же последней (не конкретизированной!) группы публикаций как новых текстовых жанров исключительно на основе содержательного признака представляется мне искусственным, так как критику существовавшего политического строя или взглядов своих политических оппонентов могут содержать практически все традиционные текстовые жанры публицистического стиля.

Работа Л.Н. Цыбатова не свободна и от недостатков фактического характера. Остановлюсь на некоторых из них. Так, нельзя усматривать в первом компоненте сложного существительного *бой-баба* обозначение того же денотата, на который указывает второй компонент, как это имеет место в случаях типа *мужчины-джентльмены* (с. 148). Если взятые порознь существительные *мужчина* и *джентльмен* сами по себе каждое обозначают человеческое существо мужского пола, то в случае *бой-баба* обозначением человеческого существа женского пола является только существительное *баба*, тогда как *бой* – в *бой-баба*, *бой-девка* обозначает не носителя качества, а некую совокупность положительных качеств, важных в повседневной жизни. Неверно относить к церковнославянизмам формы творительного падежа единственного числа существительных на *-ою* типа *охотою* (с. 260); они были и в древнерусском языке. Польские существительные типа *Glempizm* не являются патронимическими (sic!) дериватами (с. 281); в этом и подобных ему случаях они обозначают идейные и политические направления.

Отмечу некоторые досадные неточности, связанные с определением времени возникновения отдельных фактов русского языка, появление которых автор относит к последнему десятилетию. Так, производные слова *децентрализация*, *подземка*, *расформировать* существовали в русском языке задолго до периода, начавшегося в середине 80-х гг. (с. 221–222); их можно было найти уже в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова [Ушаков 1935: 701; 1939: 386, 1282]. Сокращения *наробраз*, *компромат*, *хозспособ* также нельзя рассматривать как порождения наших дней (с. 222); первое из них отмечено уже в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» [ССРЛЯ 1958: 446], а остальные появились в русском языке не позднее 60-х гг. и использовались как в произведениях советских писателей на современные темы, так и в текстах публицистического стиля. Слова *авто*, *культуртрегер* были заимствованы русским языком еще до 1917 г. и зафиксированы в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова [Ушаков 1935: 10; 1939: 1547]. Английское *рейтинг* использовалось уже самое позднее во второй половине 70-х гг. в языке прессы по отношению к выдающимся шахматистам, участвовавшим в чемпионатах страны и мира [НСЗ 1984: 629], а с середины 80-х гг. лишь расширило сферу своего употребления.

Как было показано выше, рецензируемая книга дает повод и для плодотворных дискуссий с автором по общетеоретическим вопросам, имеющим для его исследования принципиальный характер, и для достаточно обоснованных претензий, касающихся фактических неточностей. Думается, что и то, и другое окажется полезным для Л.Н. Цыбатова, написавшего одну из наиболее солидных зарубежных работ на обсуждаемую тему, а ознакомление с его книгой представит бесспорный интерес и для отечественных русистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Костомаров В.Г. 1994 – Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994 (2-е изд. Афины, 1997).

НСЗ 1984 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Н.З. Котеловой. М., 1984.

РЯКДС 1996 – Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1996.

ССРЛЯ 1958 – Словарь современного русского литературного языка. Т. 7. М.; Л., 1958.

Ушаков Д.Н. 1935 – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. I. М., 1935.

Ушаков Д.Н. 1939 – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. III. М., 1939.

М.В. Раевский

***D. Dobrovol'skij.* Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung.** Trier, 1997. 288 S.

Изучение фразеологии и идиоматики с позиций когнитивной семантики стало в современном языкознании довольно устойчивым направлением, во многом благодаря многочисленным публикациям автора рецензируемой монографии – Д.О. Добровольского, который в последние годы весьма интенсивно и последовательно разрабатывает когнитивную проблематику в разных научных жанрах – книгах, статьях, словарях, появляющихся в отечественных и зарубежных изданиях (ср. серию его новейших публикаций [Dobrovol'skij 1995; Добровольский 1996; Баранов, Добровольский, 1997; Dobrovol'skij, Piirainen 1996]). В рецензируемой монографии Д.О. Добровольского, изданной в Германии на немецком языке, нашли отражение и дальнейшее развитие идеи автора относительно целей фразеологических исследований и тех методов, которые могут обеспечить получение новых теоретических знаний в области семантики и решение прикладных задач в лексикографии. Оба аспекта всегда находились в поле исследовательских интересов Д.О. Добровольского и сосуществовали синхронно, придавая динамизм его взглядам на явления и процессы, относящиеся к сфере идиоматики.

В рецензируемой книге доминирует когнитивная концепция, которая по глубине своей разработки и убедительности доводов может претендовать на значительный прорыв в теоретическом освещении идиоматики и в способах ее лексикографической обработки. Исследовательский пафос монографии строится на вполне очевидном противопоставлении принципов когнитивного подхода традиционным (структурным) направлениям в лингвистике. Но это противопоставление мыслится автором книги не как отрицание сложившейся системы знаний, а как развитие новых подходов, не укладывающихся в рамки традиционных представлений об идиоматике. При этом неизменной остается изначальная идея, что исследование фразеологии должно быть ориентировано прежде всего на изучение значения идиом и их употребления. Однако способы и аппарат описания (семантический метаязык) идиоматики в когнитивной парадигме отличаются от традиционного инструментария большей операциональностью и объяснительной силой.

Считается, что обращение к когнитивным категориям позволяет проникнуть в ментальные, ненаблюдаемые, структуры знания и когнитивные механизмы, которые скрываются за дискретными языковыми единицами. При этом именно идиоматика в силу своих специфических свойств оказывается идеальным объектом для изучения сложных процессов когнитивной обработки языковой материи в сознании человека. Изучение идиоматики в когнитивной парадигме представляется автору книги одним из возможных способов приближения к естественным, реальным процессам функционирования идиом в речи и усиления объяснительного потенциала теории фразеологии, в частности через моделирование "концептуальных метафор" как форм осмысления действительности. В результате идиоматика из дисциплины главным образом описательно-регистрирующей преобразуется в дисциплину объяснительную, обращенную к глубинным механизмам семантических процессов в языке и многообразным связям языковых единиц со структурами знаний и процедурами их обработки. И если в идиоматике сосредоточено много необъяснимого, даже абсурдного (ср. немецкий идиоматический оборот *Tote Hose* в качестве названия модной поп-группы в Германии, которое в российской прессе передается буквально "Мертвые штаны", тогда как это метафора, обозначающая скуку, зеленую тоску), то это обстоятельство только усиливает аргументы в пользу обращения к ментальным феноменам при объяснении значения идиом и характера их употребления.

Рецензируемая монография выполнена в дискуссионном ключе, что особенно отчетливо проявляется в 1 и 2 главах, где предметом рассмотрения выступают спорные положения теории фразеологии, например, соотношение прямого и переносного значений в идиоматических единицах, характер образности и мотивированности и т.д. Д.О. Добровольский предлагает принципиально новые и нетривиальные модели исследования идиом, которые в значительной степени видоизменяют сложившиеся в лингвистике представления о сущности идиоматики, способах ее описания и лексикографической обработки (главы 3 и 4, а также приложение в виде списка наиболее употребительных идиом современного немецкого языка).

В теоретических главах большое внимание уделяется обсуждению результатов экспериментальных исследований фразеологии, выполненных американскими и

итальянскими психолингвистами в русле когнитивно-психологического направления (русский вариант этого раздела см. [Добровольский 1996]). Не вполне соглашаясь с предлагаемыми в этих исследованиях гипотезами и моделями объяснения образного содержания идиом и характера взаимодействия прямого и переносного компонентов значения в процессе их восприятия, автор обращается к лингвистической интерпретации полученных экспериментальных данных на базе когнитивной семантики, не пренебрегая при этом учетом естественно-языковых реалий и множества собственно лингвистических факторов. Представляется, что значение результатов американских и итальянских экспериментов в книге несколько преувеличено, и привлечение этих материалов скорее можно считать исследовательским приемом, своего рода способом "остранения" комплексной исследовательской задачи, которая заключается в разработке методов экспликации смысла идиом через обращение к когнитивным структурам, а также способов лексикографического толкования этих смыслов.

При этом процедура экспликации смысла и выделения полной информации о значении идиом предполагает прежде всего изучение идиом с опорой на их внутреннюю форму. Именно внутренняя форма, по твердому убеждению автора монографии, наиболее непосредственно сохраняет семантическую связь языковой структуры со стоящей за ней когнитивной структурой.

Помимо внутренней формы идиом как языкового феномена, в работе анализируется набор лингвистических факторов, которые необходимо учитывать при когнитивной интерпретации идиоматики, образующей чрезвычайно гетерогенную группу единиц: степень разложимости идиомы, степень семантической мотивированности, возможность прямого прочтения, завершенность внешней формы синтагматической цепочки, включенность в метафорическую модель, позиция ключевого слова в синтагматической цепи, частотность употребления, контекстуальная включенность, семантические и формальные свойства отдельных конституентов. Столь широкое привлечение лингвистических параметров к изучению идиоматики в когнитивной парадигме объясняется не только "лингвистическим эгоизмом" автора, стремящегося извлечь максимально возможные результаты для развития лингвистической теории, но и естественной необходимостью постоянно держать в поле зрения языковую реальность, которая частично объективирует эвристические построения когнитивной лингвистики.

Изучение фразеологии в когнитивном ключе, несомненно, позволяет Д.О. Добровольскому расширить теоретическую базу лингвистики и предложить операциональные процедуры анализа идиоматики, которые способны при изучении идиоматики сократить разрыв между языковыми фактами, наблюдаемыми в использовании идиом как готовых единиц коммуникации, и когнитивными механизмами их обработки языковым сознанием. Моделируемая в книге теория фразеологии могла бы дать ответы на целый ряд вопросов, которые в традиционной лингвистике часто оставались за рамками этой дисциплины:

1) Что следует понимать под идиомой? Как можно отграничить ее от других сверхсловных знаков? 2) Какие типы идиом выделимы и в какие классы они могут быть сведены? 3) Какие факторы определяют возможности и границы вариативности идиом? Что варьируется, что нет и почему? 4) Какие семантические и прагматические особенности идиом отличают их от других единиц лексикона? Как можно описать эти особенности? Что такое мотивированность идиом и как она проявляется на формальном, семантическом, метафорически обусловленном и символьном уровнях. Эти сугубо лингвистические проблемы рассматриваются в работе с учетом разнообразных фактов ментальной сферы говорящего. Само комбинирование лингвистических и когнитивных аспектов приобретает в работе статус исследовательского принципа, а его последовательное применение позволяет получить при изучении фразеологии нетривиальные результаты. В то же время из работы становится очевидным то обстоятельство, что когнитивная интерпретация не в одинаковой мере приложима к явлениям лингвистического порядка. Так, в типологии идиом ментальный фон присутствует более отчетливо, чем, например, в фактах варьирования идиом, где важной оказывается прежде всего техническая (лингвистическая) сторона изменения языковой формы, а рефлексы ментального в варьировании проявляются на периферии – например, на уровне контекстных трансформаций, словесной игры, оговорок.

Большое место в монографии занимают экспериментальные и прикладные разделы, посвященные идиоматике современного немецкого языка (3 глава). В частности обсуждаются процедуры выделения наиболее употребительных ("живых") идиом языка

как практические задачи лексикографии, перевода, преподавания иностранного языка. "Живые" идиомы – это удачная метафора Д.О. Добровольского, указывающая на когнитивные механизмы обработки идиоматических выражений: "живые" идиомы быстрее обрабатываются сознанием и реализуют актуальное значение, они не требуют пословной интерпретации и более определенно связаны с переносным значением. "Живые" идиомы образуют ядро фразеологии, которое может быть выделено путем опроса и эксперимента. В монографии обсуждаются различные методики таких опросов и экспериментов, а также результаты их обработки. Применительно к немецкому языку выделяется 1500 идиоматических выражений и предлагается нетривиальная схема компьютерной обработки идиом в новой структуре знаний: в 7 зонах располагаются данные об идиомах по таким параметрам, как состав, возможное пропозитивное прочтение, частотность, отношение к ядру идиоматики, семантические дескрипторы, иллюстративный пример. Новая модель словарного толкования идиом дает в компактной форме информацию о структурно-грамматических, категориальных, семантических, прагматических и речевых свойствах идиомы и формирует новый тип лингвистических знаний об идиомах как особых единицах языкового кода. Правда, в эту информацию не входят сведения, традиционно относящиеся к стилистике (нейтральный, книжный, разговорный, вульгарный и т.д.), что делает неполными представления о функциональных параметрах идиомы, которые очень существенны при их употреблении в текстах.

В совокупности самых разнообразных явлений, входящих в словарное описание идиом, без внимания остался феномен вторичной семантизации внутренней формы, в случаях, когда потеряна связь с исконным значением отдельных компонентов идиомы, а новое значение возникает, например, как результат омонимии (ср. *купить по сходной цене*) или как результат семантического развития – ср. *простота хуже воровства*, где слово *простота* несколько видоизменило свое исходное значение. И хотя этот разрыв не регистрируется сознанием и идиомы употребляются согласно "живому" значению их компонентов, словарная помета о такого рода сдвигах могла бы оказаться полезной.

В 4 главе содержатся конкретные исследования по проблемам мотивированности идиом: образно-метафорической мотивированности (на примере идиом, содержащих концепт "страх" в немецком языке), символьной мотивированности (на примере чисел, входящих в идиоматические выражения), "наивной" мотивированности (выявляемой экспериментально на примере немецкой пословицы *Morgenstunde hat Gold im Munde* 'Кто рано встает, тому бог дает' через анализ ее толкования носителями языка). Наиболее полно в этой главе представлены материалы, связанные с анализом образно-метафорической мотивированности в идиомах, содержащих концепт "страх". Этот опыт интересен тем, что в нем чрезвычайно удачно комбинируются идеи когнитивной семантики с приемом полевого подхода структурной лингвистики. Семантика эмоционального концепта "страх" очень разнообразно представлена в немецкой идиоматике, и задача заключается в выделении образных инвариантов, коррелирующих с семантическими особенностями конкурирующих идиом (приводимый в книге список идиом с семантикой "страха" включает 39 единиц). Данный раздел монографии является своего рода когнитивной и лингвистической версией одного из фрагментов немецкого языкового сознания, в котором обнаруживается ряд универсальных и специфических черт (ср. с русскоязычной идиоматикой "страха" в статье [Добровольский 1996]).

В заключительных рассуждениях Д.О. Добровольский как бы заранее предостерегает от типичных опасностей, которые могут возникнуть в случае развития неординарных теоретических идей: отрицание предыдущего научного опыта и претензии на окончательное решение спорных проблем с помощью новых теорий. Автор не только в полной мере осознает это, но и очень умело избегает такого рода крайности. В книге решительно снимаются многие предубеждения, и впервые в эксплицитном виде разрабатывается концепция когнитивной интерпретации семантического потенциала идиоматических единиц языка с позиций современного опыта когнитивно ориентированной лингвистики, имеющей несомненные шансы на бурное развитие в новом тысячелетии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1997 – Постулаты когнитивной семантики // ИАН СЛЯ. 1997. № 3.

Добровольский Д.О. 1996 – Образная составляющая в семантике идиом // ВЯ. 1996. № 1.

Dobrovol'skij D. 1995 – Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik: Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen, 1995.

Dobrovol'skij D., Piirainen E. 1996 – Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus Kultursemiotischer Perspektive // Bochum. 1996.

Н.С. Бабенко

CONTENTS

A.V. Kravčenko (Irkutsk). The semiosis in the light of natural science; T.A. Maisak (Moscow). Grammaticalization of the verbs of movement: an essay in typology; Yu.N. Panova (Vidnoye). The form of the future categorical tense in contemporary Persian: meaning and range of usage; A.N. Baranov, S.I. Yusmanov (Moscow). Negation in idioms: semantic-syntactic restraints; L.M. Savosina (Moscow). Transformational paradigm of the sentence and its correlation with actualizing paradigm; S.V. Kniazev (Moscow). On the origin of akanje in Russian; G.M., Bogomazov (Moscow). The existence of two phonological systems in child-language; A.M. Kuznetsov (Daugavpils). Glagolitic alphabet: between Greek and Latin; G.P. Neščimenko (Moscow). Some thoughts on the new grammars of the Czech language; N.R. Dobrušina (Moscow). A study of back-channel items in American linguistics; **From the history of science.** A.V. Barandejev (Moscow). Terminological problems in the works of E.M. Murzayev (1908–1988); **Reviews.** I.G., Dobrodomov (Moscow). *E.S. Otin.* Selected works; M.V. Raevskij (Moscow). *L.N. Zybarow.* Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka; N.S. Babenko (Moscow). D. Dobrovol'skij. Idiome im mentalen Lexikon.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.10.99 Подписано к печати 17.12.99 Формат $70 \times 100^1/_{16}$

Офсетная печать. Усл.-печ.л. 13,0 Усл.-кр.-отт. 18,8 тыс. Уч.-изд.л. 15,8 Бум.л. 5,0

Тираж 1420 экз. Зак. 3213

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.

в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП «Типография «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 6